Н. И. Астров

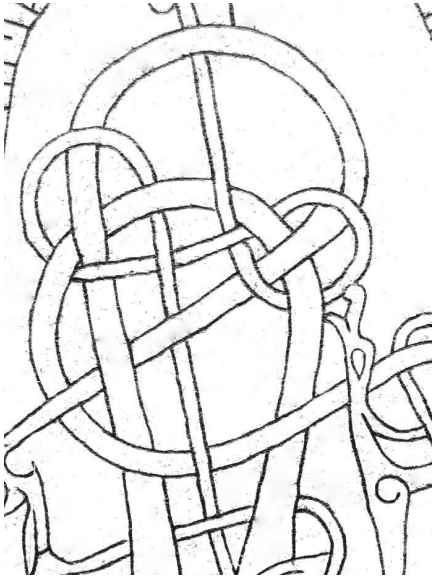
Воспоминания

материалы по истории позднеимперской России
том 25

издательство Упыря Лихого
2025

Наше издательство названо именем **Упыря Лихого** (Эпир Неробкий, Öpir Ofeigr), первого русского переписчика книг, имя которого мы знаем.

Соратник нормано-русских князей, священник, переписчик книг и рунорезец, Упырь Лихой своим примером напоминает нам о том, как важно без робости распространять знания и красоту среди варварства и тьмы.



орнамент на камне U-104 в Уппланде, созданном Упырем Лихим

Николай Иванович Астров

Воспоминания

Издательство Упыря Лихого

2025

Настоящая книга повторяет оригинальное издание 1940 года, Париж, YMCA Press

Оглавление

Часть первая 1

Глава I. Семья 2

Глава II. Семья и гимназия 86

Часть вторая 240

Глава I. Университетские годы 241

Глава II. Московский окружной суд 271

Глава III. Мировой съезд 287

Глава IV. Смерть отца 301

Часть третья 313

Глава I. Московская Городская Дума. 1897-1905 314

Глава II. Репетиция революции (октябрь, ноябрь и декабрь 1905 г.) 420

Глава III. Первая Государственная Дума 451

Часть первая

Глава I. Семья

Смерть матери

Небольшая квартира из четырех маленьких комнат в большом, как называли тогда, казенном доме. Это было Разумовское отделение для малолетних Николаевского института в Москве, на Гороховом поле. Своими крыльями дом выходил на улицу, а средняя его часть стояла глубоко во дворе, за высокой металлической решеткой копьями. На дворе большая куртина с густо разросшимися кустами сирени и бузины. В боковых крыльях ворота под сводами. Через них ход во внутренние дворы громадной усадьбы Екатерининских времен. Это дворец графа Л.Разумовского.

Вход в нашу квартиру на втором дворе, во втором этаже, был в глубине длинного коридора. По стене коридора несколько дверей, обычно запертых тяжелыми висячими замками. Иногда одна дверь была полуоткрыта. Возвращаясь с прогулки, мы заглядывали в эту дверь. В очень большой, светлой комнате стояли рядами длинные, белые столы с наложенными на них кучами сильно пахнущего, только что вымытого и выглаженного белья. Это была «бельевая» Малолетнего отделения. Большая комната привлекала наше внимание не столько столами с бельем, сколько большим черным зевом громадной русской печи, стоявшей почти посредине бельевой. Этот черный зев особенно резко выделялся на фоне белой и очень светлой бельевой. Приводившая нас с гулянья кормилица моего младшего брата Володи, Ульяна, указывая на полуотворенную дверь, говорила:

— Вона черная печь-то! В ней Баба-Яга живет и капризных детей таскает!

Белая бельевая так и сохранила в нашем детском представлении жутко-таинственное значение, несмотря на милую и

ласковую Матрешу, которая, гремя большими ключами, смело ходила по этой бельевой, будучи помощницей нашей мамы, которую называли странным именем «кастеляншi».

Наша мама… Воспоминания о ней смутны и ускользающи. Несколько запечатлевшихся черт живого образа сливаются с изображением старой фотографии. Рассказы о ней застилают собственные представления.

В моем воспоминании мама, Елизавета Павловна, представляется мне высокой, очень худой, с печальными глазами. Помню ее худые, тонкие руки, с тонким, чуть слышным звуком колец на ее исхудалых пальцах. Помню, как эти руки ласкали нас, детей, как ее пальцы нежно перебирали и гладили наши волосы. Помню ее постоянный кашель, который бывал иногда так мучителен, что наш отец, доктор, приказывал уводить нас из дому. Тогда нас двоих старших, брата Пашу и меня, поспешно одевали в «чепанчики», подпоясывали красными кушаками, надевали кругленькие шапочки с павлиньими перьями и уводили. Уводя нас гулять, няня Акулина говорила кормилице, что барыне очень плохо и что, помилуй Бог, она умрет. Мы становились тихими и покорно шли с няней в Разумовский сад.

Это был старый, громадный сад с высокими, вековыми деревьями, на берегу реки Яузы. В саду был небольшой пруд, затянутый зеленой тиной, ряской. Мимо прудика шла наша дорожка. Прудик внушал нам, детям, жуткое чувство. В нем утонул мальчик, сын столяра… Проходя мимо пруда, мы неизменно спрашивали няню Акулину: «А почему утонул мальчик?». Ответы были неясны и не успокаивали нашей тревоги. Оказывается, что мальчик шалил, не слушался… Всего этого было недостаточно, чтобы понять жуткую тайну зеленого пруда, проглотившего мальчика.

Иногда нас водили гулять на двор, сплошь заставленный поленницами осиновых дров. Помню острый запах этих дров. Этот двор был для нас новым миром. Дети, бегавшие по этому двору, были иначе одеты, чем мы, и были совсем другие. Глядя на них, вспоминался зеленый пруд, поглотивший мальчика. В конце двора был деревянный забор с воротами. У ворот сторожка, а около нее, на лавочке с трубкой во рту сидел старый старик. Это был сторож, как няня говорила, Николаевский солдат. У него было бритое лицо и желтые усы. Но самое интересное было внутри маленькой сторожки. Там, на деревянном столе, были грудами навалены леденцы и карамели, которые старик сторож обертывал в цветные бумажки. Тут же были и красные петушки из леденцов — цель нашего путешествия на далекий дровяной двор. Мы уходили от старика с петушками и долго сохраняли в памяти запах осиновых дров и махорки, дым которой заполнял сторожку.

В плохую погоду нас уводили из дома к Пронщевым. Об этой милой семье на всю жизнь сохранилось воспоминание особенного очарования. Варвара Петровна, старушка, в большом кружевном чепце, в широком платье. Няня говорила, что это кринолин. Она была такая добрая, ласковая, приветливая, у нее были такие лучистые ясные глаза, такие маленькие, пухлые ручки, она так ласково и приветливо встречала нас, что мы бывали очень довольны, когда нас водили к ней. В ее небольшой квартирке было очень уютно. Пахло чем-то теплым и душистым. Столики, комоды, кресла были покрыты белоснежными вязаными скатертями и салфеточками. На полочках и на круглых столиках стояло очень много очень интересных вещиц и фигурок из фарфора. В комнатах у Варвары Петровны было всегда много цветов и среди них, в клетке, заливалась канарейка. Все нас прельщало у Варвары Петровны, и фигурки на столиках, и канарейка, и чернослив, которым нас угощали. Но

особенно радостно становилось нам, когда из соседней комнаты выбегали к нам две миловидные девушки, Варя и Надя. Одна с пушистыми белокурой волосами, другая с большой черной косой. Они шумно и весело завладевали нами, показывали интересные картинки, заводили игры. Даже всегда серьезный Паша улыбался и становился веселым.

Изредка нас водили гулять по улицам. Любимой прогулкой была дорога к церкви Вознесенья на Гороховом поле, а потом, через церковный сад, к Елизаветинскому институту. На этой дороге было много интересного. Весной, мимо тротуаров, с шумом сбегали ручьи. Ручьи увлекали за собой щепки и наши кораблики, низвергаясь в широкие, темные отверстия, проделанные около тротуаров. Это были стоки в речку Чечеру. А если был легкий морозец и края потоков вдоль тротуаров были покрыты тонким ледком, то высшее наслаждение было пяткой проломить этот ледок. Это было запрещено няней. Но это было так хорошо. Интересно было поглядеть в щели забора около Чечеры. Там через пустыри и огороды, речка Чечера несла свои вешние грязные воды к Яузе. Там, за забором, было что-то совершенно новое, незнакомое для нас, маленьких горожан. Там были глубокие ямы, рытвины, овраги, горы грязного, тающего снега, пригорки, обнаженные от снега, с чуть зеленеющей травой. А вдали большие, старые деревья, как лес.

Домой мы возвращались через кухню, чтобы не шуметь. Анисья, старая кухарка, встречая нас, говорила:

— Идите, идите, детки! — И обращаясь к няне, добавляла: — Барыне теперь полегчало, а то думали, что Богу душеньку отдаст.

Мы входили в наши комнаты, полные смутной тревоги. Тревога усиливалась, когда нас встречал папа, озабоченный и печальный. Он спрашивал, куда мы ходили гулять и говорил

нам, чтобы мы не шумели, что мама больна, что она уснула и что ее нужно беречь.

Мы старались ходить на цыпочках, не шуметь и не говорить громко. Но не всегда это удавалось. Брат Саша, у которого постоянно болела нога, часто неудержимо плакал. Его лечил от «золотухи» старичок Д.П.Лодыгин, приносивший ему «спуск» и красивого, красного цвета «декокт». Старик не был доктором, но, по словам няни, знал «секрет» и в конце концов вылечил Сашу, несмотря на то, что врачи говорили, что ему придется «отнять ногу». Плакавшего Сашу уносили тогда на кухню. А я как-то поссорился с братом Пашей из-за красных вожжей, которыми собирался запречь стул. В споре я стал шуметь и топать ногами. Спор еще далеко не был разрешен, как вдруг я оказался поднятым на воздух и, через несколько мгновений, к моему величайшему ужасу, оказался в бельевой, перед зевом громадной печи. Это отец, желая прекратить крик, отнес меня в бельевую. Дверь за мной затворилась, и я остался один в большой, пустой комнате с черной печью, в которой, по словам Володиной кормилицы Ульяны, живет Баба-Яга. Я затих. Меня охватила пустота и тишина. Я уставился на черное жерло печи, на котором странно белела чашка с расписанным на ней цветком. Тишина комнаты, таинственная печь подавили меня. Кажется, больше всего угнетала меня тишина. Ее нужно было одолеть. Я поднял неистовый крик. Вскоре появилась няня Акулина, которая, уняв меня и взяв обещание, что я не буду больше кричать и беспокоить маму, освободила меня из заключения в таинственной комнате.

Было весеннее, солнечное утро. Мы еще лежали в кроватках, когда к нам в комнату вошла Юлия Михайловна, невысокая круглолицая девушка, приглашенная к нам в дом смотреть за нами, детьми, во время болезни мамы. Юлия Михайловна

была уже причесана и одета. Лицо ее, обычно ласковое и улыбающееся, было теперь серьезно. Глаза были полны слез.

— Дети, вставайте скорей. Не шумите и одевайтесь. Мама зовет вас. Она хочет вас благословить.

Все было необычайно и в тоне Юлии Михайловны, и в ее словах, и в ее торопливости. Из-за дверей слышались какие-то сдержанные голоса, шёпот, какое-то движение. Кто-то посторонний был в нашей квартире. Что-то проникло к нам небывалое. У нас что-то случилось. Молча, торопливо нас умывали, одевали, причесывали. Вбежала заплаканная няня Акулина с Сашей на руках. Появилась кормилица Ульяна с Володей. Каким-то суровым, необычным тоном она спросила:

— Готовы что ли? Пора вести детей.

Что-то случилось непоправимое. Мы с братом Пашей приумолкли. Вместо обычной утренней молитвы, довольно длинной и сложной, Юлия Михайловна сказала нам:

— Помолитесь, дети, чтобы Господь сохранил вам вашу маму. Помолитесь о маме, вашей Елизавете.

Мы стали на колени. Повторили слова Юлии Михайловны. Смущение все более овладевало нами.

Юлия Михайловна взяла нас с братом за руки и повела в папин кабинет. В столовой мы увидали тетю Машу, которая никогда не бывала у нас в это время дня. Нас ввели в кабинет. Кабинет был полон народу. Я заметил тетю Лену, тетю Наташу, мою крестную мать.

На диване, в подушках, лежала мама.

Я никогда не видал ее такой. Она была совсем белая. Ее черные волосы резко выделялись на белой подушке. Глаза были полузакрыты. Руки бессильно лежали на одеяле. Она тяжело дышала. Папа сидел на краю дивана и держал мамину руку. До меня долетели чуть слышные слова папы:

— Лиза, вот дети, благослови их.

Мама широко раскрыла свои большие глаза. У нее никогда не было таких больших и темных глаз. Мы с братом замерли. Отец положил мамину руку сначала на голову Паши, потом на мою. Мне показалось, что мамины пальцы ласково пошевелили мои волосы. Мы невольно опустились на колени. Потом Саша заплакал. Кормилица, тяжело дыша, опустила Володю на диван к маме. Потом мама застонала. Мы встали. Мама сделала слабое движение рукой.

— Уведите их, — сказала тетя Лена.

Я еще раз взглянул на маму. Слезы скатывались по ее впалым щекам.

Нас поспешно увели. Не знаю, как мы прошли комнаты, прошли кухню и очутились в сенях. Юлия Михайловна посадила нас на окно, крепко обняла нас с братом, и мы все залились горючими слезами, без слов, без жалоб. Это были слезы первого детского горя. Это было первое прикосновение неведомого, таинственного, неотвратимого.

Потом нас, старших, отвезли к нашим кузинам, Виноградовым. Наташа, Саша и Сима были с нами особенно ласковы. Пытались чем-то нас занять. Но ничто не клеилось. Помню, как с Наташей мы ушли в угол палисадника и там я произнес впервые слова, которые другие произносили у нас дома:

— Знаешь, Наташа, наша мама умирает…

И только теперь, когда я сам произнес эти слова, я как-то вдруг ощутил их страшный смысл, именно ощутил всем телом, всем своим существом. Слезы закапали на руки, на лопатку, на ведерко, которые совала мне в руки тоже плакавшая Наташа.

Вернувшись домой, мы не узнали своей квартиры. Там было все по-небывалому. Ходили какие-то чужие люди, не

снимая верхнего платья. О чем-то переговаривались громким шёпотом.

Отец, встретив нас, протянул нам руки, поцеловал нас и мы услыхали для нас новое слово:

— Сироты!…

В столовой не оказалось обеденного стола. Комната стала большой, неуютной, чужой… Двери в гостиную были затворены. Из-за них раздавались какие-то тоже необычные звуки. Женский голос что-то говорил или читал медленно, отрывочно и безостановочно, не так, как все.

Пришли священники. Отец встретил их. Они что-то говорили. Старый священник гладил свою седую бороду, качал головой и со вздохом говорил:

— Вот и моя супруга скончалась от чахотки. Видно, на все воля Божия.

Священники вошли в гостиную. В отворившуюся дверь я увидел то, что поразило меня, но что не нарушило того странного состояния, в котором проходил весь этот страшный день.

Среди комнаты на столе, на нашем обеденном столе, лежала наша мама. Четыре свечи в подсвечниках, такие, какие мы видали в церкви, стояли по сторонам стола. У стены стояла монашенка из Алексеевского монастыря. Священники надевали ризы. В комнату вошли люди в пальто и мальчики с тетрадями под мышкой.

Юлия Михайловна, оправив наши рубашки и кушаки, повела нас в гостиную. Там уже были наши тетки и старик Лодыгин. Вид посторонних развлекал нас. А когда дьякон стал разжигать пучок восковых свечей и они запылали ярким, красивым пламенем, когда и нам дали по зажженной свечке и в комнате запахло ладаном от задымившегося кадила, все внимание сосредоточилось на кадиле, на свечах, на ризах священ-

ников. Свечи горели спокойно, изредка потрескивая. Некоторые оплывали и капали на пол.

Папа стоял все время на коленях, у самого стола, и тихо плакал. Мы его никогда не видали таким. Мне было жалко и маму, лежащую на столе, и плачущего папу. Жалко становилось и самого себя. А когда все стали на колени и вокруг раздались всхлипывания кормилицы и няни, заплакал и я. Но слезы были недолги. Когда мы встали с колен, я увидал, что у брата Паши свечка оплыла больше, чем у меня. Я мысленно сравнил их и решил, что у меня свечка больше, чем у Паши.

Снова солнечный, весенний день. Небо ослепительно голубое. Комната залита солнцем. Нас одевают в новые костюмчики. Так жарко на воздухе, что нас ведут в церковь без пальто.

Сегодня хоронят маму. Страшное содержание этих слов как-то расплывается в ликующем окружении весеннего пасхального дня. Сегодня один из первых дней Пасхи. Над городом стоит звон колоколов. Наша приходская церковь Вознесения на Гороховом поле, красивая, большая церковь, ярко освещена солнцем и утопает своими куполами и крестами в синеве неба. Нас ведут за гробом. Идут вместе с нами съехавшиеся родные. Старый дедушка, генерал Павел Денисович Кобелев, все мамины сестры с их детьми — все тут. В церкви очень много народу. Душно. Нас выводят из церкви в церковный сад. Из церкви доносится пение. Выходит народ. А вот выходят и священники в белых ризах. Певчие. Выносят лиловый бархатный гроб с золотыми позументами. Все ярко, все залито солнцем. Глазам больно. Глаза полны слез. Пение, звон колоколов, солнце, много, много народу. Все смотрят на мамин гроб. Брат Паша тихо плачет. Я заливаюсь слезами. Там наша мама. Мама наша умерла. Мамы больше нет с нами…

Маму схоронили в Алексеевском монастыре. С этих пор Алексеевский монастырь стал нашим монастырем. Там наша мама.

Сон дедушки Павла Денисовича

Наша мама происходила из семьи Кобелевых. В Энциклопедическом словаре читаем следующие строки: «В 1700 году Кобелев, боярский сын, сибирский атаман, был отправлен с казаками для наказания восставших коряков. Он разорил кояжский город Кохча, восстановил Верхне-Камчатский острог и положил основание Большерецкому острогу, при впадении реки Быстрой в Большую. В 1701 и 1702 г.г. Кобелев состоял начальником Камчатки».

Имели ли восходящие моей матери отношение к упомянутому воинственному сибирскому атаману и начальнику Камчатки — сведения в нашей семье не сохранилось. Но несомненно лишь то, что предки матери несли военную службу. Ее отец, Павел Денисович Кобелев, старый заслуженный генерал, помнил, как говорили, француза.

В хронике семьи Кобелевых хранилось воспоминание о вещем сне Павла Денисовича. Рассказ этот не устанавливает, к сожалению, даты события и не указывает точно места происшествия, но все это не лишает его достоверности. Для моей крестной матери, тети Наташи, от которой я слышал этот рассказ, это была не таинственная история, а подлинное происшествие, реальные результаты которого долго хранились в семье Кобелевых.

Дело происходило в одном из южных городов России, где дед занимал видную должность начальника одной из дивизий. Однажды ночью он проснулся от поразившего его сна. Ему приснилось, что к нему в дом приехал сам Государь Николай

Павлович. Сон был, как наяву. Дед разбудил свою жену и повелáл ей о своем странном сновидении. Оба подивились сну, перекрестились и снова мирно заснули. Но не успел дед заснуть по-настоящему, как снова увидел тот же сон, но в чертах еще более отчетливых. Тут он проснулся окончательно, поспешно встал с постели, разбудил жену и приказал ей немедленно вставать и одеться в самое лучшее праздничное платье. Недоумевающая бабушка, не смея ослушаться мужа, ворча, стала подыматься с постели. Между тем, сам дед надел парадный мундир и все ордена. Поднял весь дом на ноги. Приказал зажечь все свечи и лампы, засветить все люстры и шандалы, накрыть стол, как бывает для приема самых почетных гостей. Все это происходило среди глубокой ночи, когда весь провинциальный город погружен был в непробудный сон. Люди в доме переполошились. Заспанные, они исполняли приказания барина, который торопил их, а сами искоса поглядывали на него, — не рехнулся ли барин. Бабушка, не привыкшая к таким странностям и ночным беспорядкам, не знала, что и думать. Одетáя в нарядное платье, сидела она на диване в гостиной, с тревогой озираясь на мужа, не смея ни спросить, ни противоречить. Но хуже всего было положение самого деда, поставившего весь дом вверх дном и в парадной форме расхаживавшего ночью среди ярко освещенного, пустого дома. Минуты были томительные. Более или менее достойного выхода из положения не было видно. Его уверенность стала колебаться. Но сон был так ярок, Государь, как живой, был в этих самых комнатах…

И вот слух стал улавливать звуки отдаленных почтовых колокольчиков. Колокольчики приближались. Их позванивание становилось все явственнее и отчетливее. Напряженному слуху как-то не особенно верилось. Но вот колокольчики совсем близко. Они резко оборвались у самого подъезда ярко

освещенного дома. Вслед за тем резкий звонок у парадного крыльца. В передней появляется офицер. Осведомившись, чей это дом, офицер направляется к деду. Это царский фельдъегерь. Следом за ним едет Государь Император, изменивший свой маршрут. Офицер объяснил деду, что остановился у его дома только потому, что увидал его ярко освещенным среди города, погруженного в темноту.

Дед был потрясен и в полном изумлении. Однако, для приема Государя все было готово.

Через несколько минут дед принимал у себя Государя, который, в свою очередь, был немало изумлен и приемом, и рассказом, как об его приезде было получено таинственное предуведомление.

Рассказ этот относился к первой половине царствования Николая I.

Насколько точно рассказ отражает действительное событие, насколько тут добросовестного вымысла, сказать трудно. Но это точное воспроизведение того, что мне приходилось неоднократно слышать от моей крестной матери, тети Наташи, родной дочери Павла Денисовича. А в подтверждение рассказанного перечислялись подарки, сделанные Государем деду и бабке за их радушный прием среди ночи.

В семье Кобелевых, по-видимому, была некоторая склонность к визионерству, тому ясновидению на расстоянии, которое так поражает воображение мистически настроенных людей. Этим свойством обладала в свои молодые годы тетя Наташа. Она сама рассказывала нам, как она поразила всех близких, рассказав до мельчайших подробностей, в каком туалете выезжала на балы в губернском городе ее старшая сестра Елена, когда ее в первый раз вывозили на дворянские выборы. Туалет этот был сделан в городе, а сестры Елены проживали в то время в деревне и не могли видеть нового

платья сестры. Но главное было то, что она, глядя на зеркало, перед которым были поставлены две зажженных свечи, видела, как к сестре Елене подошел чрезвычайно высокий человек, выше всех ростом, и, облокотясь на рояль, стал о чем-то с ней разговаривать. О виденном в зеркале, конечно, было тотчас же рассказано сестрам и всем домочадцам. Вскоре из губернии вернулась сестра Елена, которая оказалась невестой, просватанной за некоего Г.К.Виноградова. Удивлению и восклицаниям не было конца, когда оказалось, что Г.К.Виноградов был необычайно большого роста, что он сделал предложение тете Лене, стоя у рояля, и что среди новых платьев тети Лены, привезенных из города было именно то, с маленькими цветочками, которое тетя Наташа видела в зеркале. Не менее волнующий случай произошел с той же тетей Наташей, когда она, просыпаясь после какого-то забытья во время болезни, вдруг заволновалась и стала настойчиво требовать, чтобы их кузина Мари немедленно возвращалась к себе домой, так как ее сестра тонет. Беспокойство тети Наташи и ее восклицания были совершенно непонятны окружающим, так как кузины Мари не было с ними. Она жила в своем имении за добрый десяток верст. А тетя Наташа продолжала волноваться и взывать, чтобы Мари немедленно возвращалась домой. Именно в это время во двор усадьбы въезжала кузина Мари, приехавшая без предупреждения проведать своих двоюродных сестер. Ей тотчас же передали слова тети Наташи. Зная свойства своей кузины, она повернула лошадей и поскакала домой. На берегу пруда она нашла толпу крестьян, откачивавших ее сестру.

Дедушка Павел Денисович умер в семидесятых годах прошлого столетия. Последние годы он, со своей третьей женой, Екатериной Сергеевной, и младшей дочерью Лизой (в его семье было две дочери Елизаветы от разных браков) жил в Москве на Сивцевом Вражке. Раза два в год нас, детей, возили

к дедушке с бабушкой. Эти поездки с Горохового поля, а впоследствии от Никиты Мученика на Старой Басманной, на Сивцев Вражек, через всю Москву, в карете, были целым событием. К поездке готовились заблаговременно. Папа задолго говорил Юлии Михайловне, что детей нужно везти к дедушке, что он выражает желание их видеть. Наш детский слух улавливал оттенки при упоминании о дедушке и бабушке. О дедушке говорили просто и ласково. Тон слов становился сдержанным при упоминании имени бабушки. И мы, дети, охотно шли к дедушке и боялись бабушки.

Наш отец был доктором в Москве и преподавателем Военно-фельдшерской школы на Гороховом поле. В те отдаленные времена доктора в Москве имели свое особое обличье и как бы обязательно установленный внешний вид. Из окна нашей квартиры мы видали высокого, несколько сгорбленного старика в большом цилиндре, в длинном черном пальто, из-под воротника которого виднелся большой белый кружевной воротник. Худое и желтое лицо старика было гладко выбрито и только на щеках оставались небольшие седые бачки. Это был старый московский доктор Ленгольд. Аккуратно, в определенный час, к его подъезду подавалась извозчичья карета, запряженная парой вороных худых лошадей. И с не меньшей аккуратностью из подъезда выходил старый доктор, с трудом забирался в карету и уезжал «на визиты».

Наш отец был молод, высок и статен. Он не носил кружевного воротника. Но зато на нем неизменно был надет белый галстук. На визиты он ездил в черном сюртуке и, несмотря на скудость средств, должен был завести и себе, для выезда на практику, извозчичью карету и пару лошадей.

Вот в этой-то карете, с плохо затворявшимися дверцами, с дребезжавшими стеклами, с продранной местами синей штофной обивкой — нас и везли к дедушке с бабушкой на Сивцев

Вражек. На козлах кареты сидел кучер Виктор, угрюмый человек с бельмом на глазу. Иногда поездка, к нашему огорчению, внезапно откладывалась, ввиду того, что кучер Виктор оказывался пьян и едва держался на козлах. Это обнаруживалось в ту минуту, когда мы уже были на крыльце. Отец бранил Виктора. Виктор доказывал, что он «ни в одном глазу». В нашем огорченном сознании как-то странно связывалось представление о неудаче, о состоянии опьянения, с бельмом на глазу кучера Виктора.

Но иногда мы выезжали благополучно и, задев несколько раз нашей каретой за проезжавшие по улицам многоместные линейки, добирались до Сивцева Вражка. По дороге кто-нибудь из нас нараспев твердил эти два слова: «Сивцев» — «Вражек», «Сивцев» — «Вражек»... От частого повторения первого слова мы, по созвучию, начинали твердить «Сивку-Бурку». Бражки превращались в овражки. Нам рисовались овраги, горы и долы, через которые перелетала Сивка-Бурка из «Конька-Горбунка». И мы с братом Пашей начинали декламировать стихи нашего любимого «Конька-Горбунка».

Наконец, наша карета останавливалась у подъезда низенького, одноэтажного белого дома. Мы замолкали и нам становилось как-то не совсем по себе. Жесткие, накрахмаленные отложные воротнички как-то вдруг начинали больно давить и царапать шею. (Ах, эти крахмальные воротнички! Сколько слез из-за них было пролито!). Нам делались последние указания, как мы должны вести себя, как должны поздороваться, что должны ответить на вопросы дедушки и бабушки, чего не должны делать. Тем временем, кто-нибудь из старших дергал ручку звонка. Раздавался дребезжащий звук, слышный с улицы.

Двери отворяла старая женщина, которую звали девушка Марфуша. Она приветливо оглядывала нас и певучим голосом

говорила, что детки чтой-то забыли дедушку с бабушкой и давненько не были у них в гостях.

Потихоньку, прижавшись к старшим, мы проходили светлые сени и попадали в большую полутемную переднюю. В передней было много больших сундуков и ларей, покрытых коврами. Здесь пахло шубами, пылью и чем-то особенным, запах чего всегда сопровождал дедушку с бабушкой. Это была смесь запаха табака, герани, одеколона и старых вещей, вынутых из старых сундуков, и еще чего-то. Оправив наши костюмчики и еще раз наспех повторив правила, как нам следует вести себя, нас вводили в зал.

Я очень хорошо помню эту комнату, оклеенную белыми обоями, с натертыми, как зеркало, полами, по которым пробегала белая полотняная дорожка. Посреди комнаты висела, чуть позванивавшая своими стеклышками, хрустальная люстра. Комната казалась очень большой. В ней не было никакого убранства. Только стулья чинно стояли по стенам. Но в этом зале было нечто, поглощавшее наше внимание. Это была золотая арфа, стоявшая в углу белой комнаты. При виде красивой арфы все правила хорошего поведения сразу вылетали из памяти. Нас приходилось подталкивать, чтобы мы шли вперед, в гостиную, где нас ждал дед.

Навстречу к нам выходила тетя Лиза, задумчивая, высокая. Это она, тетя Лиза, играла на арфе. Мы глядели на нашу тетю с особым почтительным восторгом и одинаково любили и задумчивую тетю Лизу, и ее золотую арфу. Обе они были очаровательны для нас. Но очарование исчезало быстро. Нас брали за руки и вводили в гостиную.

На большом диване в глубине комнаты сидел дедушка Павел Денисович. Это был высокий, сухощавый старик, с седыми, немного как бы подвитыми спереди волосами и седыми усами. На нем был надет старый генеральский мундир.

Мундир был расстегнут. В руках деда был длинный чубук и палка-костыль. Дед имел внешне суровый вид. Но, при нашем появлении, на его морщинистом лице появлялась улыбка и он шутливо, по-военному, приветствовал нас:

— Здорово, молодцы! Совсем забыли деда! Вот и хорошо, что приехали навестить старика.

Мы подходили к дедушке, здоровались с ним, целовали подставленную им колючую щеку и в смущении чувствовали, что какие-то правила надлежащего поведения уже нами нарушены. Нам надо было поцеловать дедушке руку. Но это как-то не вышло, так как дедушка тискал нас своими руками и сам подставил нам свою щеку. Не успевало исчезнуть смущение от встречи с дедушкой, как в гостиную вплывала бабушка Екатерина Сергеевна. Невысокая, довольно полная старуха в широком, темном шелковом платье, с шалью на плечах и в черном чепце с лентами.

Бабушка была совсем не так приветлива, как дедушка. Она говорила какие-то мало понятные для нас слова, обращенные к папе и особенно к Юлии Михайловне. Мы плохо усваивали смысл этих слов, но чувствовали в них что-то неприятное. Эти визиты происходили уже после смерти нашей мамы, и замечания бабушки касались как-то нас, которых она оглядывала с ног до головы своими острыми и не очень добрыми глазками.

Мы целовали бабушке ручку и не знали, что нужно делать дальше. На выручку приходила тетя Лиза и вела нас в белый зал. Нам запрещено было прикасаться к арфе. Но соблазн был неудержим. Кто-нибудь из нас, Паша или я, чуть дотрагивались до одной из струн. Нежный, звенящий звук на мгновение заполнял комнату. Чувство радости и очарования смешивалось с сознанием нарушенного запрещения. Было и радостно, и неловко. Тетя Лиза, улыбаясь нам, быстро перебирала струны,

брала несколько аккордов на золотой арфе. Мы, с открытыми от восторга ртами, не сводили с нее глаз... А тут из столовой доносился голос бабушки, звавшей нас к чаю. Жалко было уходить от арфы. Так хотелось еще раз дотронуться до ее звучащих струн.

В столовой, за столом с самоваром уже сидели дедушка и бабушка, папа и Юлия Михайловна. На столе стояло варенье в вазочках, печенье в корзинках, на блюдечках и тарелках были разложены чернослив, винныя ягоды, изюм, финики, разноцветный мармелад, кедровые орешки, грецкие и американские орехи. Всего было так много, что глаза разбегались. Мы садились за стол на высокие, мягкие стулья. Тетя Лиза подкладывала нам самые вкусные вещи, которые мы с удовольствием уплетали. Папа что-то рассказывал дедушке. Дедушка громко смеялся. А бабушка, хмуря брови, все что-то говорила Юлии Михайловне, которая с тревогой поглядывала на нас и лишь изредка отвечала бабушке.

Чай подходил к концу. Дедушка приказывал вынести кучеру Виктору стаканчик водки. С окончанием чая кончался и наш визит. Начинались долгие прощания. Последний взгляд на арфу по дороге в переднюю. В передней наставительные слова бабушки, и мы снова в карете.

В карете невесело. Отец перекидывается с Юлией Михайловной словами, в которых мы узнаем слова, произнесенные бабушкой. Слова эти, очевидно, обидели нашу Юлию Михайловну. У нее появляются слезы на глазах. Папа говорит, что не стоит обращать внимания на ворчание глупой старухи, и хвалит дедушку. Мы молчим. С Сивцева-Вражка увозим сложное чувство очарования от арфы и от тети Лизы и смущения при воспоминании о бабушке, которая как-то обидела нашу Юлию Михайловну. Дедушка внушал нам чувство почтения. А его расстегнутый мундир как-то странно заставлял

вспоминать волновавшую нас историю о дяде Сереже, убитом на дуэли из-за «чести мундира», как нам говорили.

Дядю Сережу, сына дедушки Павла Денисовича, мы не видали в живых. В мамином альбоме, с деревянной резной доской, слегка обуглившейся с края во время пожара, среди фотографий родных, была фотография красивого юноши в кавалергардском мундире, с каской в руке. Этот красивый юноша был дядя Сережа. О нем говорили, что он заступился за честь мундира своего полка и был убит на дуэли. В этом рассказе, который мы часто слышали и сами повторяли, перелистывая мамин альбом, нас не интересовали имена и подробности. Мы не спрашивали, что такое дуэль. Наше воображение было целиком поглощено странным для нас противоречием, которое мы так чувствовали между поступком дяди Сережи, защищавшего честь, и фактом убийства дяди Сережи. В нашем воображении не вязалось представление о героическом поступке и об убийстве, как следствии этого поступка. Все было в этом рассказе смутно и непонятно. А судьба красивого дяди Сережи казалась странной, непонятной и несправедливой. А тут еще какая-то честь мундира... Какого мундира?.. Вероятно, такого, что был на дедушке.

С Сивцева-Вражка мы увозили смутные чувства. Это было прикосновение к чуждой нам жизни с ее тайнами и загадками. Домой возвращались усталые, невеселые. Карета укачивала. Впечатления дня завершались вечером капризами и слезами. Соприкосновение с жизнью не давалось легко и не проходило даром.

Дедушка Павел Денисович умер, когда мне было шесть лет. Его хоронили в Новодевичьем монастыре. Были войска. Играла военная музыка. Над его могилой стреляли из пушек. Все это наполняло наши детские души волнением и гордостью.

Вскоре умерла и наша милая тетя Лиза. Что сталось с ее золотой арфой — мы так и не узнали.

У тети Наташи остался написанный масляными красками портрет дедушки. Портрет этот после смерти тетки перешел ко мне. На портрете был изображен молодой, красивый генерал. Без особого труда можно было разглядеть на портрете, как на полотне подрисовывались новые ордена и перекрашивались ленты, по мере продвижения деда по службе.

Переезд на новое жилье

После смерти мамы мы переехали из Разумовского на Гороховом поле в другой казенный дом. Из большого дома, желтого, с белыми колоннами, в большой дом светло-зеленого цвета, тоже с белыми колоннами. Это была Школа межевых топографов у церкви Никиты Мученика, на Старой Басманной. Впоследствии эта школа слилась с Константиновским Межевым Институтом. Наш отец получил должность врача в этом заведении, и мы переселились на новое жительство, в новое помещение, к новым людям.

Наша квартира была в нижнем этаже главного здания. Как раз перед окнами, через улицу, была громадная, стройная церковь Никиты Мученика с высокой, красивой колокольней. Церковь была окружена большим садом со старинными деревьями. Большой колокол Никиты Мученика, когда благовестили, издавал такой сильный звук, что в ответ ему дрожали и позванивали стекла в больших рамах наших окон. Няня говорила, слушая благовест и глядя на колокольню Никиты Мученика:

— Чуть-что поменьше Ивана Великого и Царя-колокола.

Через Гороховский переулок, огибавший церковь, как бы прижавшись к усадьбе Межевого Института стояли домики

церковного причта. Словно деревенские домики, весьма плохо сочетались они с широким размахом церкви и Института.

У каменной ограды церкви, у каменного водостока, неизменно стоял слепой нищий. Он приходил в определенный час, ощупывая дорогу палочкой, становился у желоба и стоял часами. К вечеру он исчезал, чтобы утром снова появиться на прежнем месте. Мы, дети, подрастали, становились гимназистами, а слепец все приходил на свое место у каменного желоба. Бабушка Авдотья Ивановна говорила нам, что подать милостыню бедному — значит сделать Божье дело. И мы клали копеечки в шапку слепого, проходя по переулку. Было и радостно, и смутно. Копеечка, слепой, Божье дело... Копеечку и слепого мы видели, а Божье дело заполняло сердце какой-то радостной теплотой и тишиной.

Окна на улицу выходили из папиного кабинета и из залы, которая казалась нам очень большой. Кабинет был устлан войлочным ковром. Пол был очень холодный. На письменном столе отца стояли большие черные мраморные часы, большая бронзовая чернильница с бронзовыми крышечками, издававшими тонкий звон при соприкосновении со стеклом чернильницы. На столе лежали тетради, бумаги, счеты, «Русские Ведомости», трубочки и молоточки, которыми папа постукивал больную маму, а иногда и нас. На столе, около часов, были высокие, черные чугунные подсвечники, изображавшие танцующих одалисок, чугунная пепельница с приделанным ножом для обрезания сигар, спичечница в виде маленького чуланчика с надписью: «Pour hommes». Впрочем, спичечницу эту ставили в самый дальний угол стола, чтобы она не попадалась на глаза. Хотя иногда, если спички не попадались под руку, нам говорили:

— Дети, сбегайте к папе в кабинет и принесите «Пуром» со спичками.

На столе была еще другая небольшая чернильница, перешедшая впоследствии к нам в детскую, когда мы стали «большими» и стали учиться. На крышке этой чернильницы из желтой бронзы был изображен задорный мальчишка с книжкой под мышкой, швыряющий в кого-то камень. Как чуланчик с французской надписью, так и эта чернильница были подарками отцу от его больных. Над столом висела сумка для бумаг, с вышитыми розами по проколотой дырочками бумаге.

Рядом с кабинетом — зала, она же приемная для папиных больных. Там стояла мягкая мебель, обитая красной материей. Перед диваном — овальный стол, покрытый вышитой скатертью. На столе высокая лампа с матовым абажуром в виде лилии с просвечивавшимися рыцарями и дамами. Под лампой круглое плато из желудей и шишек. Впоследствии, когда мы стали «большими» и нас начали обучать музыке, в зале появилось пианино темно-красного цвета, из магазина Дюбюк.

Комнаты наши были под низкими, тяжелыми сводами. В папин кабинет и в залу нас пускали редко. Там были больные. Там был занят наш отец.

Наши комнаты выходили окнами во двор Института. О, этот двор был много интересней улицы! На дворе, по нашему представлению, была сосредоточена вся жизнь всего Института. По двору проходил директор Института, строгий генерал Апухтин, с седыми усами и сигарой в зубах. Во двор выходили окна квартир инспектора Ламовского, воспитателей Института. По двору проходили все проживающие в Институте.

А в весенние дни, в теплую погоду, в 12 часов раздавался звонок и из распахнувшихся дверей Института высыпали воспитанники. Это было особенно интересно. Шум, гам мигом заполняли весь громадный двор. Воспитанники в черных куртках, а летом в парусиновых блузах, частью устремлялись в институтский сад, частью разбегались по двору. Мы, сидя на

окне, были в полном восторге, глядя на оживший двор. Глаза разбегались. Не знали, на кого смотреть. Так все было интересно, ново и увлекательно.

Начинались игры, одна интереснее другой. Тут была и лапта, и цыганка, свечи, городки, попы, чижи, свайка, салки, соловьи-разбойники. В углу двора стояли гигантские шаги, на которых летали с заносом.

Среди играющих воспитанников мы отмечали самых ловких, самых быстрых, кто давал свечи выше всех, удачнее других «салил» мячом или ловчее всех увертывался от мяча. У нас были свои любимцы, свои герои. Несравненно ловок был маленький Пасхалов. Выше всех давал свечи Пожарский. Лапта Пожарского считалась особенно удачной. Но не всякий мог с ней справиться — она была тяжела и очень скользкая. Чтобы ударить этой лаптой по мячу, Пожарский сначала поплевывал себе на ладонь. Стали и мы поплевывать себе на ладони, когда нужно было взять что-нибудь тяжелое. Изумление старших было неописуемо!

— Что это за безобразие, дети! Откуда это вы взяли плевать себе на руки?

— А это как Пожарский, — отвечали мы не без гордости.

Приемы Пожарского были нам строго запрещены.

Время «перемен» было для нас восхитительным временем. Оторвать нас от окна не было возможности. Мы любовались, восхищались, восклицали, казалось, живейшим образом участвовали в жизни институтского двора.

Но вот снова раздавался звонок. Игры, оживление как-то сразу спадали, как подсеченные. Шум и гам сразу теряли свою звучность и напряженность. Режущий звук звонка побеждал шум, движение, веселье.

Воспитанники строились по возрастам и поротно в правильные ряды. Это тоже было интересно. Потом раздавалась команда, и ряды быстро превращались в колонны. А после новой, короткой команды воспитателя колонны мерным шагом шли по двору и, начиная с самых маленьких, втягивались в ворота и исчезали в черном пространстве сводчатых коридоров главного корпуса. Институт поглощал шумную толпу воспитанников. Двор сразу затихал.

Но через несколько минут все окна всех этажей заполнялись рассыпавшимися по классам воспитанниками. Теперь шум и гомон несся из открытых окон.

Но вот опять отдаленный, врезающийся звук звонка. Окна почти одновременно закрываются и шум смолкает. Наступает полная тишина. Это начало ученья...

Что это такое ученье? Это тишина после шума. Это остановка движения после бега и веселья. С некоторым разочарованием слезаю с широкого подоконника. Брат Паша уже достает с полочки книжку и начинает читать. Он сам научился читать. Это вышло как-то само собой, незаметно для всех.

Когда двор затихал, нас водили в Институтский сад. Это был большой, старый сад с прудом в высоких берегах. Посреди пруда был насыпан круглый, высокий остров с мраморным памятником посредине. Памятник был поставлен в ознаменование посещения этого места какою-то императорской особой. На остров вели два деревянных мостика без перил, по которым из-за их ветхости запрещено было ходить. Вокруг пруда шла широкая аллея, обсаженная серебристыми тополями. Поверхность пруда была часто задернута тиной, которая периодически переходила с одной его части на другую. Пруд в высоких берегах похож был на громадную корзину, на дне которой лежала черно-зеленая неподвижная ткань.

Зимой с высоких берегов устраивалось катанье на санках и на коньках. На пруду расчищался каток. И горы, и каток были привлекательнейшими местами сада зимой. Радости зимнего спорта пришли позднее, когда мы стали подрастать и уже стали ходить в гимназических кепи с серебряными лаврами и с монограммой «М.2.Г.».

А пока, в раннем детстве, наше внимание в Институтском саду привлекало старое-престарое дерево с громадным черным дуплом. Дерево было в конце сада и прижималось к высокому деревянному забору, выходившему в глухой переулок за садом. Нам говорили, что в старом дупле живут совы и филины. С этими птицами у нас соединялось представление о чем-то таинственном. Совы и филины живут в развалинах старых замков. Нам об этом читала Юлия Михайловна. Они плачут по ночам, и крики их предвещают несчастье.

Но вот однажды нам принесли из сада крошечных совушек, только что вылупившихся из яйца. Они были как шарики, были очаровательны. Всю таинственность, окружавшую их, как рукой сняло. Черное дупло старого дерева, в котором вывелись совята, перестало пугать.

За садом виднелись трубы газового завода. Из-за него доносились иногда резкие, иногда протяжные железнодорожные свистки. Это был Курский вокзал. Глядя в сторону, откуда доносились протяжно зовущие свистки, няня Акулина, вздыхая, говорила:

— А вон там наша Тульская сторона... Там наша деревня.

Фраза обрывалась не то вздохом, не то подавленным всхлипыванием.

Мы смотрели в сторону Курского вокзала, видели там, вдали, далекую церковь с куполами. С этой церковью, с железнодорожным свистком, жалобным и зовущим, с печалью

нашей няни Акулины — связывалось первое представление о деревне, о какой-то Тульской стороне, где были господа Брещенские, у которых наша няня была какой-то крепостной... Няня наша не любила рассказывать о деревне. Она говорила, что теперь она «отрезанный ломоть» и что ей возвращаться в деревню некуда. Няня вздыхала, а из глаз ее капали слезы. Видеть эти слезы мы не могли спокойно. Прижавшись к няне Акулине, мы тоже тихо плакали. Эти слезы сближали нас, детей, с нашей няней Акулиной, и наша дружба, становившаяся все более тесной, сохранилась надолго.

Против окон нашей квартиры, через большой двор, была квартира одного из воспитателей Института, Н.И.Юденича. В семье Юденич, с которой мы, дети, довольно скоро познакомились и подружились, была наша сверстница, девочка Кавочка. Кавочка стала нашей общей любимицей. Прогулки по двору или в саду утрачивали интерес, если Кавочка почему-либо не выходила гулять. Когда младший брат Володя, еще на руках у кормилицы, начинал плакать, Ульяна, его кормилица, подходя к окну громко заявляла:

— Буде плакать-то! Эна Кавочка идет!

И Володя переставал плакать.

В семье Юденичей был Коля Юденич, стройный, красивый юноша. Он был много старше нас. Смотрел на нас свысока. Мы же любовались им и все, что он делал или говорил, казалось нам непререкаемым. Нашему восторгу не было конца, когда Коля Юденич однажды появился на институтском дворе юнкером Александровского Военного Училища. Через два года мы уже видели его в гусарской форме. Это было интересно и исполняло нас гордостью.

— Коля Юденич, с нашего институтского двора, стал гусаром.

Потом жизнь развела нас в разные стороны. И только великая война и кавказские подвиги ген. Юденича заставили снова испытать чувство радости...

— Ведь это Коля Юденич, с нашего институтского двора!

Межевой двор помнит еще одну «знаменитость».

Наше внимание нередко привлекалось восклицанием все той же Володиной кормилицы Ульяны, которая большую часть дня проводила сидя у окна с Володей на руках. Кормилица замечала:

— Вона, опять Настенька пошла!

Не заметить Настеньку на Межевом дворе было невозможно. Она так выделялась на его суровом и довольно однообразном фоне.

Это была молоденькая девушка, всегда ярко и нарядно одетая. На головке шляпка с перьями, а иногда с целой птицей. Платье в оборках и бантах. Башмачки на высоких каблучках... Все подробности костюма Настеньки громко перечислялись кормилицей и няней. Они обе восторгались Настенькой и искренне любовались ее костюмом.

А когда через некоторое время, по тому же двору, проходили в сад Настенька и кончавший Межевой Институт молодой, красивый воспитанник Вербицкий, — няня и кормилица приходили в полный восторг.

— Вот это парочка, так парочка! — восклицали они, любуясь красивой, стройной девушкой и не менее красивым юношей с вьющимися черными волосами.

Это была Настенька Зяблова и Вербицкий, украшение хора Межевого Института, прелестный тенор, исполнявший все сольные партии в церковном хоре. Кто мог бы тогда помышлять о «Ключах счастья», о грядущей известности... Счастье юности было тогда так прекрасно.

Соприкосновение с жизнью нового казенного дома было особенно значительно в церкви Института.

Как только тоненький звук маленького колокола доносился до слуха старших, нам объявлялось, что пора собираться в церковь. Занятия прерывались. Мы поспешно убирали разбросанные вещи и игрушки, мыли руки, переодевали свои костюмы и готовились идти в церковь. Особенно приятно бывало ходить в церковь вместе с бабушкой, которая как-то вся преображалась, готовясь идти к церковной службе.

Домовая церковь Межевого Института находилась во втором этаже главного здания. Из швейцарской нужно было подниматься по широкой лестнице, марши которой меня всегда смущали. Они были выкрашены в черную краску, покрыты черным графитом и блестяще натерты воском. Поднимаясь по лестнице, я неизменно сравнивал ее черные ступени с черной икрой.

Церковь помещалась в большом двусветном зале, была светла и просторна. Высокий дубовый иконостас имел несколько рядов образов, написанных яркими красками. Тут и благостный лик Спасителя, и Божия Матерь с Младенцем, простирающим руки к народу, Константин и Елена, водружающие крест. Воинственный Архистратиг Михаил попирает ногой и поражает мечом «врага человеческого».

Мы становимся у правого клироса. Это наше обычное место.

Вскоре до слуха доносятся отдаленные мерные звуки. Мы их узнаем. Это по дальним залам Института идут в ногу воспитанники в церковь. Оглядываться не полагается в церкви, но и поглядеть на входящих воспитанников очень хочется. За воспитателем вплотную, парами идут самые маленькие, как мы. Потом все больше и больше. Воспитанники вливаются в церковь, заполняют ее стройными рядами. За воспитанниками

идут «инженеры», эти идут уже немного вразвалочку. Это уже старшие. За воспитанниками появляется директор, воспитатели не дежурные и их семьи. Клирос заполняется воспитанниками-певчими, со старичком-регентом Алабушевым во главе.

В церковь Межевого Института приезжали из дальних концов Москвы послушать хороший хор, исполнявший лучшие образцы духовного пения. В составе хора были очень хорошие голоса. Вербицкий и Зиновьев славились своими тенорами, Кремнев и Коренев — дискантами.

Среди постоянных посетителей церкви Института была семья кн. В.М.Голицына, впоследствии Московского Губернатора и Московского Городского Головы.

В этой церкви мы вырастали. Здесь слагалось наше религиозно-нравственное воспитание. Здесь отвлеченное приобретало реальные формы. Здесь реальность вступала в борьбу с отвлеченным. Здесь, после ясных и безмятежных детских настроений, ощущались душевные колебания...

В первые же годы посещение церкви Межевого Института в полной мере гармонировало с тем, что мы почерпали из общения с нашей бабушкой Авдотьей Ивановной.

Бабушка Авдотья Ивановна

Наш отец, Иван Николаевич, был сыном священника села Пичины, Шацкого уезда Тамбовской губернии. О происхождении нашей фамилии бабушка рассказывала следующую историю. Восходящие нашего отца носили раньше фамилию Островских, по названию села Островское, и все были духовного звания. Однажды на архиерейском экзамене один из наших родичей поразил архиерея, любителя астрономии, своими познаниями в области движения небесных светил. Восхищенный владыка похвалил юного астронома и сказал:

— Отныне ты именуйся не Островским, а Астровым, по имени небесных светил, ибо движение их твой пытливый ум постигает.

В сороковых годах прошлого столетия отец был отдан в духовное училище и оттуда перешел в семинарию. В естественном порядке вещей он должен был по окончании семинарии стать священником или идти в духовную академию. Но в те времена уже многие семинаристы, не теряя связи с корнями духовного воспитания, шли в университеты и избирали себе специальности по собственному влечению. Отец решил стать доктором. О своем решении он сообщил своему отцу, священнику Николаю Яковлевичу. Не без некоторого разочарования отнесся к этому решению сына старый священник. Но благословил его, дал на дорогу серебряный рубль и отпустил в Москву устраивать по-новому свою жизнь.

Наступили тяжелые времена для отца. Голодание, нужда. Только позднее появились грошевые уроки и переписка. Однако, отец всегда бодро и охотно вспоминал это время тяжелой борьбы за существование. С особенным удовольствием он вспоминал свои встречи с русскими писателями. Ему приходилось переписывать некоторые рукописи Толстого, Григоровича, Островского и др.

По окончании университета, молодым врачом, он поступил преподавателем в Военно-фельдшерскую школу в одном из громадных флигелей Разумовского малолетнего отделения. Там и сложилась наша семья.

Изредка из села Пичины приезжали повидать нас, а иногда и полечиться, наши дедушка и бабушка. Дедушка Николай Яковлевич, сельский священник, поражал нас своим громадным ростом. Когда ему понадобилось однажды сшить новые сапоги, то у сапожников в округе не оказалось готовой колодки на его исполинскую ногу. Об этой истории с колодкой часто

вспоминали, говоря о дедушкином росте. Дедушка был молчалив и, привыкнув к своей деревенской жизни, как-то не совсем уютно чувствовал себя в большом городе. Он не долго оставался в Москве. Закупив для Пичинской церкви нужные предметы и облачения, возвращался назад в свое село, где он был, поистине, пастырем добрым своего духовного стада.

Бабушка Авдотья Ивановна загащивалась у нас иногда подолгу.

Бабушка! Воспоминание о ней — одно из самых светлых и очаровательных воспоминаний моего детства и юности. Я не помню человека, который бы так всегда, неизменно оставался самим собой во все минуты жизни, во все переживания. Какая-то светлая тишина окружала ее. Это было излучение глубокой сосредоточенности ее внутренней духовной жизни.

Невысокого роста, всегда в черном гладком платье, состоявшем из юбки с большим количеством мелких сборок, шедших от пояса книзу, и недлинной прямой кофты. Голова ее была повязана черной шелковой косынкой, убранной гладким, тугим повойником, закрывавшим ее волосы и уши, по-вдовьи. Тихая, неторопливая поступь, полная сдержанности и достоинства. Тихая плавная речь, мелодичный голос, как-то удерживаемый в переливах своих звуков, подчиненный все той же чарующей тишине, составлявшей ее стихию. Красивое, кроткое, озаренное лицо. Даже в минуты волнения и гнева, — а чувство, подобное гневу, охватывало ее, когда до слуха ее долетала чья-либо гадкая брань или «черное слово», — оно не теряло озаренности. Напротив того, в те минуты оно становилось особенно ярким, заставляя смущенно умолкать нарушителя душевной тишины. Ее прелестные голубые глаза, тонкие черты лица довершали образ.

Мы всегда любили нашу бабушку и радостно отдавались тому тихому свету, который исходил от всего ее духовного

существа. Ее приезд к нам в Москву был для нас всех, больших и малых, истинной радостью. В семье с ее появлением повышалось настроение. Все как-то становились лучше и всем становилось лучше. С ее появлением все инстинктивно ощущали, что к нам входило что-то новое, что-то такое, что только она одна умела принести с собой.

Милая бабушка! Много душевного очарования связано с воспоминанием о ней. Ее прикосновение к детской душе вызывало смутные ощущения какого-то иного мира, в котором она духовно жила. Ее рассказы о святых, о чудесах, о подвигах отшельников, о героизме мучеников, об усопших, о смерти, о загробной жизни, ее слова о Боге, ее ясная мысль, не допускавшая колебаний вера — устанавливали целое миросозерцание, в котором все было ясно, законченно, гармонично и полно неизъяснимого очарования. Загробный мир, о котором говорила бабушка простыми словами, был для нее бесспорной реальностью, отражение которой она видела и ощущала в церкви, особенно после исповеди и причастия. Умереть — значило, по словам бабушки, предстать перед лицем Божиим. Так все ясно, просто, непререкаемо. Церковь — это преддверие «того мира», где нет печали и воздыхания, где святые, где наша мама, где Бог...

Мое очарование бабушкой выразилось однажды конфузливо сделанным ей признанием.

Я был тогда еще подростком-гимназистом и мечтал стать художником. Сидя на ступеньках крылечка деревенского дома около бабушки, которая рассказывала о своем путешествии в Киев к преподобным Антонию и Феодосию Печерским, я залюбовался выражением ее лица, озаренного косыми лучами склонявшегося к закату солнца. В саду высились и горели мальвы. Листья деревьев были пронизаны косыми лучами солнца. Издалека, из-за Цны, из Чернеевского монастыря,

слышался далекий звон к вечерне. Рассказ бабушки, вся ее фигура, выражение ее лица, так гармонировали с тишиной вечера.

Когда бабушка замолкла, я неожиданно для себя сказал:

— Бабушка, я хочу быть художником.

Заявление мое было несколько неожиданным. Она знала, что я люблю рисовать, и даже раз просила, чтобы я нарисовал ей церковь того села, в котором несколько десятков лет служил настоятелем ее покойный Николай Яковлевич, и она не пропускала ни одной службы, разве только болезнь удерживала ее в постели.

— А я думала, что ты будешь доктором, как твой папа. Сколько облегчений от страданий приносит доктор! Это Божье служение. Почему ты хочешь стать художником?

— Знаете, бабушка, я хочу научиться писать красками, как художники. Тогда я напишу Спасителя, а потом Николая Чудотворца, а потом вас, бабушка. Мне это очень хочется...

Я смутился своему признанию. Но оно имело смысл. В моем представлении названные мною имена принадлежали к явлениям одной и той же категории.

Бабушка учила нас молиться. Вернее, она вносила в нашу молитву нечто новое, особенно интимное. Она говорила нам, что после всех молитв, которых мы много знали и которые охотно произносили перед сном, нужно вспоминать о том, что было сделано дурного в течение дня, вспоминать о тех, кто нуждается в помощи, думать, как им можно было бы помочь, и поверять Богу и Ангелу Хранителю печали и заботы, которые беспокоят и смущают.

Каждый из нас, детей, по-своему совершал свои вечерние молитвы. Брат Саша, воспринимавший все с особенной живостью и страстностью, будучи еще очень маленьким, наслу-

шавшись чтения Майн Рида и страшных сказок о разбойниках, по собственному почину включил в свою вечернюю молитву новый член. Однажды, проходя через детскую младших братьев, Саши и Володи, я услыхал, как Саша своим звонким голосом произносил свою молитву:

— Господи, спаси и помилуй папу, маму, бабушку, Пашу, Колю, Володю и меня, тетей, дядей и всех православных христиан. Дай мне быть хорошим человеком и избави нас от разбойников и орангутангов.

Помянув затем покойную маму нашу Елизавету, дедушку и всех усопших православных христиан, он юркнул в постель.

Я, как старший, заметил ему:

— Чего ты молишься об орангутангах? Ведь их у нас не бывает!

— Нет, бывает! Они детей таскают! Я их не люблю. А бабушка сказала...

Но в наш спор вмешались старшие, заявляя, что детям спать пора. Саша был настойчив и не скоро сдавался. Завертываясь в одеяло и натягивая его на ухо, он заявлял:

— А я все-таки буду молиться про орангутангов и разбойников.

Милый Саша, видно рано перестал ты молиться об избавлении от разбойников и орангутангов. Они завелись у нас и погубили тебя. Да и не одного тебя...

Бабушку никогда не покидало ровное и ясное настроение духа. Только один ее рассказ выводил ее из равновесия и вызывал в ней глубокие переживания и страдания. Она все могла объяснить волей Божьей и всему подчиниться с христианской покорностью. Одно до конца ее дней волновало ее и не укладывалось в ее цельное жизнепонимание. Это был простой, самый простой житейский случай, вспоминая который она

закрывала лицо руками и слезы текли между ее тонкими пальцами.

Случилось это простое событие в ее счастливые молодые годы. Она — молодая «матушка», беззаветно любящая своего мужа, отца Николая. Любящая и любимая. Любующаяся его благородным видом, гордая его служением перед престолом Всевышнего. Однажды, в престольный праздник церкви, настоятелем которой был ее муж, в дом батюшки съехались со всей округи гости. Здесь были и отец благочинный, и батюшки из окрестных сел, местный помещик, староста и вся сельская аристократия. Все уже сидели за столом. Отец Николай Яковлевич поднялся со своего стула, приветствуя вновь прибывающего гостя. В это самое время молодая матушка появилась в гостиной, высоко держа в руках испеченную кулебяку. Гости встретили матушку и кулебяку шумными приветствиями. Подходя к столу, матушка ногой отодвинула мешавший ей пустой стул и торжественно, при восклицаниях гостей, поставила кулебяку на стол. Отец Николай, угощая гостей и не зная, что его стул отодвинут в сторону, опускаясь на свое место, грузно упал и растянулся во весь свой богатырский рост. Произошло смятение. Однако, все тотчас же поняли, что произошло. Быстро все было обращено в шутку. Но чуткое сердце матушки так до конца дней сохранило жгучую боль от того, что она оказалась невольной причиной падения своего любимого мужа.

От бабушки мы узнавали некоторые черты из жизни и быта сельского духовенства.

Для нее служитель алтаря, служитель престола Всевышнего, был превыше всех званий, должностей и состояний. В этом служении высшее назначение человека. Поэтому ее рассказы о быте сельского духовенства были всегда благообразны и полны высокого уважения к духовному сану. Но она в

своих рассказах не обходила и теневых сторон быта. Отмечая эти стороны жизни сельского духовенства, бабушка выступала не строгой обвинительницей, а кроткой печальницей о человеческих слабостях. В этих случаях, давая неодобрительный отзыв о духовном лице, она неизменно прибавляла смягчающую формулу: «помимо его священства». Иногда мы чувствовали чуть заметную шутливую нотку в ее воспоминаниях о близких ей людях, с которыми прошла вся ее жизнь. Особенно милы и забавны были ее воспоминания о дьячке Пичинской церкви, старике Ермилыче, который свековал всю свою жизнь до глубокой старости в церкви села Пичины.

Это был большой, сухощавый старик с седенькими волосами, заплетенными в косицу. Он был нрава строгого и угрюмого. Слыл блюстителем нравов. Но когда ему доводилось выпить лишнюю рюмку, он приходил в возбуждение и гремел своим зычным басом, понося грешников и супостатов.

Однажды он шел вместе с отцом диаконом с поминок, с села домой. По дороге они повздорили. Дьякон был во хмелю придирчив и язвителен. Ермилыч почувствовал себя задетым и обиженным. Обращаясь к дьякону, он грозно заявил, что если дьякон не прекратит глумиться над ним, он проклянет его. Продолжая поносить старика, дьякон сказал, что он еще раньше проклянет Ермилыча. Как раз в это время они подходили к своей церкви во имя Пятницы Прасковеи. Тут дьякон воззвал:

— Матушка Пятница Прасковея, прокляни дьячка!

Наступила минута молчанья. Но небеса остались безгласными и безответными. Ермилыч остался на своих слегка пошатывавшихся ногах. Нетвердыми шагами они продолжали свой путь.

В свою очередь и Ермилыч громоносно воззвал:

— Но и Фрол — Лавер храбер! Батюшки отцы, Фрол — Лавер! Прокляните дьякона!

И что же? Произошло нечто потрясающее... Дьякон вдруг покачнулся, ахнул и провалился сквозь землю.

Ермилыч остановился. Посмотрел своим мутным взором кругом. Убедился, что дьякона и взаправду нет больше на земле. Почесал ниже поясницы, крякнул, пробормотал нечто невнятное о превратности судьбы и побрел домой. Шел Ермилыч и поматывал седой головой. Совершилось действительно нечто небывалое, единственное в своем роде. Суд Божий. Дьякон и дьячек прокляли друг друга, и Фрол-Лавер, к которым воззвал Ермилыч, поразили бесчинного дьякона.

Хмурым, угрюмым и задумчивым прибрел Ермилыч домой. Дьяконица с крыльца своего дома, завидя Ермилыча, кричала ему:

— А где мой-то? Дьякон-то мой где? Куда он запропастился?

Ермилыч мрачно молчал и только поднимаясь на ступеньки крыльца своего старенького, покосившегося домика, сумрачно буркнул:

— Твой дьякон сквозь землю провалился. Я его проклял.

Больше ничего нельзя было добиться от Ермилыча. Он ушел в свой дом и предался мрачным размышлениям насчет того, что произошло, насчет гибели дьяконской души.

Дьяконица, ворча и на мужа, и на Ермилыча, от которого не могла добиться толку, накрывшись большим платком, пошла на поиски запропастившегося мужа. Розыски были долгие и безуспешные. Дьякон пропал, и следов его не стало.

Скликали мужиков и пошли искать дьякона по дороге из села на погост. Заглядывали в овраги, в старые заброшенные

ямы. В одной из них, глубокой и заросшей крапивой, оказался дьякон.

Оказалось, что выпивший дьякон, как раз при провозглашении Ермилычем анафемы, ввалился в яму, в которой по осени мужики сберегали капусту. Яма — дошник — была глубока, с отвесными краями. Выбраться из нее охмелевший дьякон не мог.

Так спасен был дьякон. На следующий день протрезвившихся пришлось мирить. Мир состоялся. Священник пожурил их обоих. Но общественное мнение села было на стороне Ермилыча. Дьякона на селе недолюбливали. Ермилыч пользовался общим расположением.

Заканчивая этот рассказ, бабушка улыбалась и произносила своеобразно построенную фразу:

— Что смеху-то тут положили!

Вспоминала она и другие истории из жизни Ермилыча. Образ старика рисовался грубоватым, но цельным и законченным, крепко вросшим в крестьянскую среду, часть которой он составлял.

Как-то по осени, он стоял на своем обычном месте на левом клиросе. Привычным, скучно-однообразным низким голосом бормотал он прекрасные слова прекрасного псалма: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззакония моя...»

Слова псалма разматывались непрерывной лентой, без остановки, без повышения или понижений звука. Слова журчали, как ручей, лились нерасчлененными и, казалось, неосмысленными, как тем, кто их произносил, так и теми немногими, кто был в церкви. Крестьяне, взмахивая, широко крестились, с глубокими вздохами клали поклоны под успокаивающий, утешающий и умиротворяющий звук псалма.

Говорком и наизусть, произнося давно знакомые слова псалма, Ермилыч засмотрелся в окно церкви на высокие, желтеющие березы в ограде церкви, на кресты могил, на дорогу, на далекое поле, на синеющую даль... Его старые дальнозоркие глаза вдруг уловили увлекательное зрелище. Помещичьи борзые, неподалеку от церкви, гнали зайца. Заяц, что есть духу, удирал от погони. Собаки, стелясь, настигали зайца. Расстояние между зайцем и собаками становилось все меньше.

Ермилыч бормочет псалом, а сам весь поглощен зрелищем.

— «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона и да созиждутся стены Иерусалимские.

«Тогда благословиши жертву правды... возношение... и всесожжение... Тогда возложат...».

Расстояние между собаками и зайцем все меньше и меньше.

У Ермилыча дух замирает... Он машинально твердит слова псалма, которые неожиданно для него самого переходят в быстро произносимые слова:

— «Догоняют, догоняют, догоняют...»

Священник с беспокойством выглядывает на него из алтаря...

Но собаки в эту минуту догнали зайца...

— «Цап-царап!.. на алтарь Твой тельцы» — неожиданно для себя и для всех заканчивает Ермилыч чтение псалма.

Уклад нашей семьи

Мы росли в скромной обстановке весьма небогатой семьи. Каждое утро и каждый вечер наш отец поднимался в «лазарет»

Межевого Института, где происходил прием заболевших воспитанников и было несколько палат для больных. Днем он был всегда занят. Или принимал больных у себя в кабинете, или уезжал «на практику». Мы видели его только за завтраком, не всегда за обедом, и редко, редко вечерами, когда он бывал дома. Но когда он оставался дома и, как говорил, «благодушествовал», нам становилось особенно хорошо. Он был ласков с нами и принимал участие в возне, которую мы устраивали в его кабинете. Там Саша звенел своим пронзительным голосом, оглушая больших и малых. Он возился с одушевлением и отдавался веселью без удержа и оглядки. Раскрасневшийся, он быстро покрывался испариной, становился весь мокрый и выводился из игры, чтобы успокоиться. Но где тут было успокоиться! Нетерпеливо восклицая: «Мозно, мозно, я успокоился...», он бросался на ковер и снова оказывался в самой гуще возни.

Даже серьезный Паша оживлялся и катался по ковру с увлечением. Мы с ним по очереди изображали холмогорских коров. Становились на четвереньки, выгибали спины горбом и сажали на спину маленького Володю. Володя заливался хохотом и ездил на холмогорских коровах, не жалуясь в случае падения с не в меру быстрых коров.

Приятно было ходить к папе в кабинет прощаться перед отходом ко сну. Это делали Паша и я, старшие, когда папа возвращался рано домой. Окончив день, мы шли к нему сказать:

— Bonne nuit, papa!

Обычно папа сидел за своим письменным столом и читал «Русские Ведомости» или газету «Врач». Он курил папироску, которая была вставлена в небольшой янтарный мундштук. При нашем появлении он откладывал свое чтение, обнимал нас и спрашивал, что мы делали в течение дня. Паша начинал рас-

сказывать про то, что привлекло его внимание. А я как-то не мог ничего найти интересного из того, что промелькнуло за день. Я напрягал память, но ничего не вспоминал интересного. Пытался придумать. Ничего не выходило. Завидовал Паше, как это он хорошо проводит день и так хорошо умеет об этом рассказать. Папа крестил нас и целовал. От него всегда хорошо пахло. Какой-то особенно приятный запах всегда сопровождал его. Это было соединение запаха табака, одеколона и «филиокома», которым он слегка покрывал свои волосы.

Но такие встречи с отцом были все же не очень часты. Чаще он был озабочен, утомлен и невесел. Иногда до нас долетали обрывки разговоров папы и Юлии Михайловны. Из этих обрывков мы составляли себе представление, что Юлия Михайловна говорит, что нужны деньги на хозяйство, на нас, детей, а папа озабоченно считал на счетах и говорил, что денег не хватает. Такие разговоры были часты. После них Юлия Михайловна говорила нам: «Папу нужно беречь, он трудится целыми днями, все для вас, детей».

Жизнь складывалась так, что между нами, детьми, и отцом установилась связь через посредство Юлии Михайловны. Она, действительно, заменила нам нашу умершую маму. Повседневная жизнь проходила под ее руководством и попечением. Авторитет отца был бесконечно высок. Но он был поглощен работой и не мог принимать непосредственного участия в нашей жизни. Юлия Михайловна с величайшим тактом и деликатностью становилась все больше и больше основным стержнем нашей семьи.

Первое время после смерти мамы, по желанию ее сестер, к нам поселилась тетя Маша. Она прожила с нами недолго. Помню, как для всех, даже для нас, маленьких, это сожительство было трудно.

Тетя Маша была маленькая, пожилая женщина, худенькая, с тонкими чертами лица, всегда с крепко сжатыми губами. Она никогда не улыбалась. Курила она тонкие «пахитоски» и как-то особенно прищуривала один глаз, когда выпускала дым. Она была молчалива. А когда начинала говорить — это означало, что она делает кому-то выговор или замечание. Эти замечания относились и к папе, и к Юлии Михайловне, и к няне Акулине, и к нам. Всем было как-то неловко в присутствии тети Маши.

Няня и кормилица Володина говорили про тетю Машу, что она была вдова, была несчастна с мужем, что теперь она злая старуха.

Мы боялись тетю Машу. А когда она говорила нам, что мы забываем нашу маму, мы недоумевали. Мы каждое утро и каждый вечер молились об упокоении мамы нашей Елизаветы, мы часто ездили в Алексеевский монастырь на мамину могилку. А в минуты безотчетной печали я забивался в угол за диваном, где стоял мой ящик с моими игрушками, и тихо плакал, пока Юлия Михайловна не извлекала меня из моего угла и лаская старалась определить причину моих слез. Я не знал, как объяснить свое состояние. Никто меня не обижал, никаких особенных поводов к слезам не было. Я говорил тогда: «Маму жалко...». Этими словами определялись не изжитые еще настроения, вызванные смертью мамы. Поэтому указания тети Маши, что нужно помнить маму, указания, делаемые как бы с укором, что маму уже начали забывать, заставляли удивленно поднимать на нее глаза.

Иногда приходилось замечать, что после разговора тети Маши с папой, последний выходил расстроенным и как-то особенно печально глядел на нас, и снова мы слышали часто произносимое им слово: «сироты».

Если случалось, что тетя Маша уезжала от нас на несколько дней погостить к одной из своих сестер, для нас всех насту-

пали радостные дни. Всем становилось легко. Папа становился веселым, разговорчивым. Юлия Михайловна улыбалась. Няня шутила. В эти дни иногда решали поехать за город покататься.

Кучер Виктор подавал очень большую коляску, запряженную парой разных по росту и масти лошадей. Одна была высокая, тонкая, буланая, другая темная, поменьше. Буланая шла большим шагом. Ее называли донцом. Другая шла мелкой рысью, как-то смешно подкидывая зад. Но все это было приятно и весело. Ни у кого из встречных экипажей не было такой золотистой лошади, как наша буланая, которую мы любили и которой гордились.

Иногда, по дороге, до нас долетали замечания извозчиков или лавочников:

— Ишь, подобрал под масть! Ловко!

Или мы слышали приветствия:

— Никак докторские! Здрасте, Иван Николаевич, господин доктор, погулять собрались с семейством!

Так мы выезжали в Сокольники, в Богородское, в Перово. Поездки эти «на дачу» были очень занимательны. Отец закуривал сигару и благодушно шутил. Все были веселы и довольны. Всем было хорошо и от того, что мы ехали все вместе «на дачу», и от того, что с нами не было тети Маши, а были и папа, и Юлия Михайловна. Все были довольны. Даже угрюмый кучер Виктор ухмылялся и, показывая с козел кнутовищем, говорил отцу:

— А вот мы тут с вами, Иван Николаевич, лечили. Только теперь они переехали отсели за Москва-реку.

В Сокольниках прогулка обыкновенно кончалась чаепитием у самоварщиц. В роще под старыми соснами были разставлены или, вернее, врыты в землю столики и скамейки. Тут-

то и происходило чаепитие у самоварщиц на чистом воздухе. Еще в роще нас встречали самоварщицы возгласами:

— Чайку, чайку-то покушать не угодно ли! Под тенью! Самоварчик кипит! Ко мне пожалуйте!

По мере приближения к столикам такие приглашения становились все чаще и громчей. А у самых столиков поднимался настоящий гвалт.

— Ко мне, ко мне чайку покушать! Ко мне пожалуйте! У меня-то самовар кипит!

Завидя отца, к нему подходила худая женщина с печальными глазами. И низко кланяясь, каким-то совершенно непохожим на других голосом, говорила:

— Батюшка, Иван Николаевич, уж пожалуйте ко мне, окажите милость. Живо самоварчик будет готов.

Это была наша Матреша из Разумовского. Мы здоровались с ней и направлялись к ее столику. Матреша проворно накрывала стол пахнущей мылом, свежей тканой красной скатертью, расставляла чашки и стаканы, приносила крынку молока, черный хлеб, нарезанный толстыми ломтями. Юлия Михайловна развертывала узелки с чаем, сахаром, ватрушками, крутыми яйцами и прочими закусками. Появлялся кипящий самовар, и начиналось чаепитие на чистом воздухе. Для нас, маленьких горожан, это было большим наслаждением. Все было особенно вкусно на свежем воздухе. А из трубы самовара валил от сосновых шишек густой белый дым, который приятно пахнул и, как говорили, отгонял комаров.

Отец закуривал сигару. Матреша, подпершись рукой и склонив свое печальное лицо, полушепотом говорила отцу:

— А мой-то, все пьет. Душу мою вымотал. Все, что заработаю, пропивает... и детей не на кого оставить... а дочка все

кашляет... Уж вы, батюшка, Иван Николаевич, не оставьте... Он только вас одних и слушает...

— Присылай, присылай его ко мне. Пусть придет. А ты, Матреша, не кручинься. Он у тебя человек хороший. Бог даст и образумился. А дочку проведать заеду.

Соседние столики заполняются все более и более. Кое-где поднимается шум, начинается кое-где нескладное пение, где-то раздаются визг и громкий хохот...

Юлия Михайловна поспешно завертывает чай и сахар. Все это, вместе с остатками закусок, оставляется Матреше. Матреша отказывается взять от отца деньги. И только после настойчивого требования, застенчиво опускает в карман полученные деньги.

Чаепитие кончено. Мы выходим к краю Сокольничьей рощи, где стоят «собственные экипажи». Находим Виктора сладко, дремлющим в коляске. Усаживаемся и отправляемся домой.

Вскоре тетя Маша оставила нашу семью. Укладывая свои вещи, она шумно вздыхала, и до нас долетали ее слова:

— Бедные дети!..

После отъезда тети Маши в нашей семье стал прочно укладываться новый строй, стали укрепляться новые отношения, которые остались до конца. Центром нашей жизни стала Юлия Михайловна. Нам говорили, что мама, умирая, поручила нас, детей, заботе и попечению Юлии Михайловны, и это поручение, данное умирающей матерью, было свято выполнено.

Все дальнейшее в нашей семье связано с Юлией Михайловной и в значительной мере определялось ее умным, и добрым влиянием. Естественно поэтому, и для нас, детей, както даже мало заметно, через несколько лет, именно в 1878

году, положение Юлии Михайловны в нашей семье закрепилось ее браком с нашим отцом.

С отъездом тети Маши и после смерти дедушки Павла Денисовича, к нам иногда приезжала проведать нас бабушка Екатерина Сергеевна Кобелева. Ее приезд имел целью посмотреть, как, растут дети и все ли в порядке в нашей, семье.

Бабушка появлялась к нам в карете, в сопровождении какой-нибудь совершенно бесцветной приживалки. В зимнюю пору, после резкого звонка, на который бежали со всех ног и прислуга, и няня, в переднюю медленно вползала шарообразная фигура, укутанная в салоп, шали, платки, капор и капюшон. Фигура эта ворчала, пока ее раскутывали. Ворчала на то, что ей долго не отпирали, что на дворе, лютый мороз, что напрасно она вздумала ехать в такую даль в этакую стужу... с Сивцева Вражка к Никите Мученику. Процедура освобождения бабушки от теплых одежд продолжалась довольно долго. В это время торопливо нас, детей, приводили в порядок, осматривали, наставляли, как вести себя с бабушкой.

Между тем бабушка входила в залу и усаживалась посреди дивана. Приживалка передавала ей в руки шкатулку и пододвигала под ноги скамеечку. Бабушка ставила шкатулку подле себя и старалась не снимать с нее руки. В этой шкатулке, как говорили, были все драгоценности бабушки. Она не расставалась с ними ни при каких обстоятельствах жизни. В гости она ездила, с этой шкатулкой, вызывая насмешки и едкие замечания нашей няни.

Бабушка осматривала нас. Именно осматривала. Она нас ни о чем не спрашивала, никогда нам ничего не говорила, а переводя свои недобрые глазки с одного на другого, жевала губами и что-то ворчала. Нам было неловко при таком осмотре, и мы радовались, когда нас отпускали от нее. Мы опроме-

тью убегали под защиту нашей детской, куда бабушка не заходила.

Бабушке носили чай с вареньем в залу. Временами торопливо выходила Юлия Михайловна и, волнуясь, делала какие-нибудь распоряжения.

Через несколько томительных часов бабушка собиралась в обратный путь. Начиналось долгое одевание в платки, шали, в салоп. Долго натягивали высокие бархатные сапоги на заячьем меху. За всем этим мы подглядывали из нашей детской, забравшись на стулья и отогнув кончик занавески, закрывавшей стекло, вделанное в верхней части двери.

Проводив бабушку, няня с горничной Анютой делились впечатлениями. Мы узнавали от них, что бабушка злая старуха, что она старая ведьма, скряга, что она повыдала своих падчериц за плохих мужей, за пьяниц и кутил... что покойный дедушка был хороший, но у нее под башмаком... Узнавали мы и многое другое, например, что бабушка боялась простуды и говорила, что сорок лет не была в бане... Эти разговоры смолкали, когда в детскую входила Юлия Михайловна. Но и она бывала расстроена приездом бабушки.

Иногда и со стороны наших теток, сестер покойной мамы, производился как бы контрольный смотр нас, детей. Иногда сами тетки являлись к нам, иногда нас возили к тете Наташе, моей крестной матери, или к Виноградовым. К тете Наташе мы ходили с удовольствием. У нее всегда чувствовалось хорошо и уютно. Особенно хороши были у нее сладкие финики и фарфоровые статуэтки на подзеркальниках. Тут был раненый француз, опирающийся на оседланную лошадь, тут были маркиз и маркиза, танцующие менуэт, желтый мопс, приподнявший одно ухо и склонивший на сторону свою морду, и многое другое.

Эти смотры нас перестали смущать, ибо правила благопристойного поведения нами были уже усвоены. Но все же не обходилось без неожиданных недоразумений. Однажды мы были у тети Наташи. Там были и тетя Лена, и тетя Маша. Мы чинно поздоровались с тетками, поцеловали им ручки, ответили на все вопросы, в том числе и на вопрос, помним ли мы маму, и начинали уже чувствовать себя вне опасности. Но тут подвел Саша. Он забрался между двух кресел и, облокотившись на их локотники, стал раскачиваться между ними. Поведение оказалось не благообразным, и Саша получил замечание. Но ему, очевидно, не везло в этот вечер. Вдруг, неожиданно для всех, он стал стягивать с ноги сапог. Тетки вытаращили глаза. Юлия Михайловна бросилась к нему с тревожным вопросом:

— Саша, Саша, что ты делаешь?

А он, стянув-таки с своей ноги сапог и улыбаясь своей очаровательной улыбкой, невозмутимо ответил:

— А что ж, когда она почесалась...

В нашей семье рано появились гувернантки-француженки. Еще в Разумовском, при маме Елизавете Павловне, у нас появилась мадемуазель Клэр, которая пробыла недолго, оставив по себе милое впечатление своей кротостью, ласковостью, своими рассыпанными по плечам локонами и своей неприспособленностью.

После смерти мамы, исполняя ее желание, чтобы дети приучились говорить по-французски, у нас в семье жили француженки. В то время поставщиком гувернанток-француженок в небогатые семьи был часовщик Тьебо, имевший небольшой часовой магазин на Мясницкой, близ Златоустинского переулка. У него постоянно находили приют оставшиеся без места француженки и швейцарки.

Первый опыт с рекомендацией г. Тьебо был не из удачных.

В нашем доме появилась маленькая француженка в очень высокой прическе с буклями, завитушками и начесом на лоб. Она была вся в бантиках и ленточках и внесла в нашу тихую семью какой-то шум и суматоху. Она громко смеялась и еще громче неприятно пела какие-то французские песенки. Особенно выразительно у нее выходил припев, который она часто повторяла:

— «Vous voulez posséder mon cœur!».

Мадемуазель Сешо не долго прожила у нас. Она быстро исчезла после того, как появилась однажды из сада Института с растрепанной прической, в помятом костюме, в слезах, и с громкой жалобой на то, что воспитанники Института обошлись с ней очень нехорошо. Всхлипывая, она говорила:

— Ah, comme ils sont vilains, ces jeunes gens! Comme ils sont malhonnêtes!

Но восклицания мадемуазель Сешо не вызывали сочувствия у няни. Няня была возмущена поведением француженки. Авторитет м-ль Сешо пал безнадежно. Она исчезла с нашего горизонта.

На ее место появилась полная ее противоположность. Если Сешо была маленькая, кругленькая, вертлявая, в завитушках и бантиках, то ее заместительница, мадемуазель Жозефин, была высокая, темноликая, с низким грудным голосом, суровая по виду, по манерам и по всей осанке. Сначала Жозефин внушала нам чувство страха. Жозефина «черная», высокая как гренадер, так ее сразу прозвали у нас в семье. Но очень скоро из-за суровой внешности на нас выглянуло доброе и милое существо доброго и хорошего человека.

Не знаю, насколько она был искусным педагогом, но мы быстро к ней привязались все, и малые, и большие, и она стала настоящим членом нашей семьи. Особенно дружила она с мосье Додо или Додоки, как она называла нашего маленького Володю. Дружба эта стала обоюдной и неразрывной. Французский язык зазвучал в нашей семье. Маленькие братья как птицы защебетали по-французски. Произошло забавное смешение двух языков, русского и французского.

Саша решительно заявлял, глядя в окно и обращая внимание на странно перетянутый костюм проходившей по улице дамы:

— Этой даме очень не комодно.

Он говорил, играя в куклы, что наденет на свою куклу «un jupon crachmalon» (крахмалон).

Показывая отцу свой рисунок, он старался втолковать недоумевавшему отцу, что рисунок его изображал мальчика, который «песит» (ловит рыбу).

С Жозефиной черной мы прочитали много книжек из Bibliothèque Rose: «Les malheurs de Sophie», «Jean qui grogne et Jean qui rit» и многое другое. Нам было приятно, что эти рассказы написала Comtesse de Ségur, née Rostoptchine. Жозефина научила нас петь: «Malbrouc s'en va-t-en guerre», «Au clair de la lune», «Frère Jacques», «Est-il rien sur la terre qui soit plus surprenant que la grande misère du pauvre juif errant» и еще и еще разные французские песенки.

Временами из разных углов, на разные голоса раздавались французские стихи. Саша звенел: «De ta tige détachée, pauvre feuille dessechée, où vas-tu?» и т.д.

Причем эти «де-та-тиж-де-та-ше» сыпались, как горошины на стол, доставляя нам чисто звуковое наслаждение.

Не успевали еще насладиться звуками «де-та-тиж-де-таше», как хором начинали произносить «La Cigale et la Fourmi», в которой особенно нравились звуки «dame nature lui fit tout». Эти «фи-ту» мы распевали подолгу. Кто-нибудь вставлял фразу из «Le bon roi Dagobert, qui mit sa culotte à l'envers». Далее шел «pont d'Avignon» и многое милое, наивное другое.

Шум, французский шум, достигал такого напряжения, что иногда приходилось водворять порядок. Растворялась дверь из папиного кабинета, и раздавался голос:

— Тише, дети, вы мешаете!

— Тише, тише, дети! У папы больные. Они подумают, что попали в сумасшедший дом! — повторяла Юлия Михайловна.

Мы умолкали или переходили на стихи, которые произносились обыкновенно тихо и плачевно. Я особенно любил: «C'est la petite mendiante, qui vous demande un peu de pain».

Любили мы и другой стишок, который декламировали с выражением и с жестами: Это было:

Te souviens-tu, disait un capitaine

Au vétéran qui mendiait son pain,

Te souviens-tu, qu'autrefois dans la plaine

Tu détournas un sabre de mon sein?

Жозефина стала нашим настоящим другом, и мы привязались к ней хорошей и крепкой детской привязанностью. Она прожила у нас несколько лет и ушла, поступив в большой меховой магазин Эггерс на Кузнецком мосту, только тогда, когда сочтено было, что мы уже достаточно усвоили французский язык и что нам пора переходить на немецкий. К концу своей жизни Жозефина черная снова разыскала нас и умерла от рака, окруженная заботами Юлии Михайловны и няни Акулины.

Во время отъезда Жозефины во Францию на несколько месяцев, она была заменена у нас русской институткой, Лидией Павловной, которая должна была обучать нас русской грамоте, французскому языку и другим наукам.

Лидия Павловна промелькнула в нашей семье, оставив смутное воспоминание какого-то сочетания шумной веселости и воплей отчаяния, громкого, неудержимого смеха и не менее неудержимых слез и рыданий.

Нам мало были понятны причины ее веселости и печали. Мы только отмечали эти быстрые переходы и невольно связывали их с некоторыми событиями и явлениями. Так, однажды, после долгих слез и каких-то признаний, сделанных быстрым шепотом Юлии Михайловне, Лидию Павловну усадили перед зеркалом и стали причесывать. Ей завили локоны, для чего навертывали ее золотистые волосы на круглую перекладину от ножек стула. Мы с любопытством следили за этой операцией, делая свои замечания насчет стула и перекладины, пока нас не прогнали в детскую. Оказалось, что Лидия Павловна собралась на бал, где должна встретиться с женихом.

Веселая, радостная, смеющаяся, в рассыпавшихся по плечам локонах, Лидия Павловна исчезла, напутствуемая какими-то предостережениями Юлии Михайловны и няни Акулины.

На следующее утро мы нашли Лидию Павловну заплаканной, печальной. Ее локоны утратили прежний веселый вид и, казалось, тоже плакали. Опять порывистое шептание, всхлипывание и неудержимый рассказ о чем-то очень важном и волнующем. До нашего слуха долетают отдельные слова: он... жених... художник... не может без нее жить... беден... не может жениться... Вдруг неожиданный прилив радости, шумного веселья. Лидия Павловна вскакивает с места. Начинает целовать Юлию Михайловну. Подхватывает на руки Володю.

Кружится с ним. Проделывает то же с Сашей. Бросается к столу. Садится писать и пишет, пишет весь остаток дня.

Однажды Лидия Павловна особенно волновалась и поглядывала на часы в столовой. На каждый звонок в передней она выбегала сама. Пока она куда-то отлучилась, из кухни отворилась дверь и в столовой появился неизвестный человек, вид которого всех поразил и привел в смущение. Это был человек среднего роста, в очень длинном пальто с пелериной. В руках он держал черную шляпу с громадными полями. Вошедший был невероятно худ, с большой лысиной, длинными волосами, жиденькими прядями спадавшими на пелерину. Острая бородка делала еще более заостренным его худое лицо. Вошедший остановился у дверей и, переминаясь с ноги на ногу, сконфуженно оглядывал нас, сидевших за столом.

— Вы к Лидии Павловне? — спросила Юлия Михайловна.

В это время в столовую вбежала Лидия Павловна и тоже сконфузившись, стала что-то поспешно говорить. Нас отправили в детскую. Няня, идя за нами и затворяя в столовую дверь, ворчливо бросила:

— Ну, уж и жених! И выбрала себе орла! Мокрая ворона!

После этого посещения, жених стал появляться каждый день. Он поражал нас тем, что садился в самый угол комнаты и просиживал часами, не произнося ни одного слова и едва отвечая на вопросы. Он усиленно курил, свертывая своими желтыми пальцами, с длинными нечищенными ногтями, толстые папиросы. Весь он был осыпан табаком и пеплом. Ему давали есть. Он ел с жадностью, как-то неопрятно и грязно.

Жених видимо смущал и стеснял всех. Им начали тяготиться. Лидия Павловна волновалась и говорила, что скоро все кончится.

И, действительно, скоро все кончилось.

Однажды жених явился в необычайном состоянии. Он говорил без удержу, говорил громко, размахивая руками и восклицая. Понять его было невозможно. Во всяком случае, мы ничего не понимали. Он говорил о погибающем таланте, о человеческой несправедливости, о глухоте и слепоте людей... Жених был какой-то странный. Лидия Павловна плакала и старалась его успокоить. Жених утихал, чтобы снова начать еще более негодовать и выкрикивать кому-то угрозы.

Он курил папиросу за папиросой. Закуривая одну из них, он поднес к лицу зажженную спичку вместе со спичечной коробкой. Коробка вспыхнула и опалила лицо, волосы и руки несчастного жениха-художника.

Комната наполнилась запахом горелого волоса. Горящая коробка спичек полетела на пол. А опаленный жених со стоном опустился на стул и затих. Весь его гнев и все раздражение мигом исчезли. Он был жалок и безобразен.

Всю эту сцену мы наблюдали из соседней комнаты. Дверь поспешно затворили и нам приказали заниматься и не бездельничать. Появившийся отец осмотрел жениха. Ожоги оказались незначительными. Только обгорели бородка и жиденькие пряди волос и бороды. Оказалось, что жених явился к своей невесте пьяным.

Жених ушел и больше не являлся. Лидия Павловна рыдала и тоже скоро оставила нас.

После этого у нас долго не было гувернанток. Мы были рады вновь оказаться в тесном общении с нашей няней Акулиной.

Целым событием, привлекавшим общее внимание всего населения нашей квартиры, было появление у нас татарина или «князя», как звали татарина с узлом. Появление «князя» нару-

шало обычное течение жизни и долго служило предметом оживленных разговоров.

Из кухни вбегала в столовую горничная Анюта и громко, радостно заявляла:

— Князь, князь пришел!

Следом за ней с большим узлом на одном плече в столовую входил татарин, а иногда и два. Ловким движением плеча он сбрасывал узел на пол. Узел глухо падал, отчего дрожали и позванивали стаканы в буфете. Татарин ловко и быстро развязывал бичевку, прикрепленную к концу толстого полотнища, в котором был завернут его товар, садился на корточки и начинал его показывать. Это были куски шерстяной материи разных цветов и узоров. Он ловко развертывал и прикидывал на руке материю, молча выжидая впечатления. Когда же Анюта, поджав губы, говорила:

— Ну, какое старушечье показываешь, князь, ишь, чем хвастаешь! — татарин отбрасывал материю, которая не произвела впечатления, и еще быстрее развертывал кусок яркой материи с цветами и разводами.

Анюта ахала. К материи протягивались руки. Ее щупали, разглядывали со всех сторон, смотрели на свет. Опять ахали. И, наконец, как бы нехотя, осведомлялись о цене.

Татарин тоже, словно нехотя, отводя глаза в сторону, называл цену.

Тут поднимался настоящий гвалт:

— Да что ты, князь, да побойся ты Бога! Да где такая цена видана! Да у нашего Ванюши в галантерейной лавке надысь я приценивалась...

Покупщицы наперебой возмущались ценой и принимали обиженный и разочарованный вид.

Хранивший молчание князь вдруг начинал быстро-быстро произносить какие-то маловразумительные слова. Краснел, сдвигал свою ермолку то на одно, то на другое ухо, хлопал себя по коленям, потрясал в воздухе материей и, вытянув вперед скуластое, потное лицо, клялся и божился, что цена самая дешевая, самая настоящая, что в городе так не купишь, что материя так идет к Анюте, что лучше и на свете нет...

Так перебирались все материи князя. Азарт торга все увеличивался. Пот градом катился с князя, выхваливавшего свой товар. А окружающим татарина доставляло большое удовольствие и разглядывать товар, и спорить с князем, участвовать в какой-то борьбе из-за обладания куском материи.

В конце концов, кто-нибудь после ожесточенной борьбы покупал-таки несколько аршин материи. Татарин быстро накидывал материю на деревянный аршин. Няня строго говорила:

— Эй, ты, князь, ты чего это натягиваешь! Так нельзя! Ты по чести меряй!

Татарин опять принимался уверять, что не перетягивает, ни, ни, ни...

Торг кончался. Куски материи снова завязывались в узел. Татарин спрашивал, нет ли «шурум-бурум», и, легко вскинув на свои могучие плечи тяжелый узел, кланялся, немного приседая, и уходил, сопровождаемый возгласами, чтобы приходил еще с новыми товарами.

Потом еще долго рассматривали покупку. Обсуждали цену, находили ее вовсе не дорогой. Материю прикидывали на Дуняше, и, насладившись вдоволь, завертывали в старую газетную бумагу и бережно укладывали в красный кованый сундук. Когда сундук отпирали или запирали, тогда раздавался приятный и мелодичный звон замка с музыкой. Из сундука

приятно пахло камфорой и табаком, которые клались туда от моли. Крышка сундука была изогнута и оклеена изнутри картинками, портретами царей и генералов. Мы с большим интересом разглядывали эти картины, пока нас не отзывали к нашим прямым занятиям, прерванным приходом татарина.

А занятия наши были очень разнообразны. Тут были и всевозможные игры, игрушки, оловянные солдатики, куклы, кубики, лото. Были и книги с картинками. Среди этих книг особенное наше внимание и любопытство привлекали две книги: одна, как мы говорили, «с эскимосами», а другая латинская. Книга с эскимосами была большая и тяжелая, в толстом, темном переплете, на толстой синеватой бумаге. Эта книга была полна картин, изображавших представителей разных народностей. Картины были в красках. Тут были и великороссы, и казаки, и белорусы, лезгины, лопари, самоеды, эскимосы, мордва, киргизы, чехи, словаки, сербы, черногорцы... Все в своих национальных костюмах. Особенно нам нравился эскимос в шубе, с веслом и большой рыбой, которую держал за хвост. Эта книга давала нам первое представление об этнографии. Синеватые листы этой книги вспоминаю и сейчас с удовольствием.

Другая книга была еще больше и еще тяжелее. Только Паша и я могли поднять ее. Младшие братья ее поднять не могли, так как она была велика и тяжела, как евангелие в церкви. Это была латинская книга в желтом кожаном переплете. Чего, чего только в ней не было... Здесь были какие-то необыкновенные звери и птицы, какие-то знаки и чертежи, изображение странных людей в остроконечных высоких шапках, какие-то уроды, близнецы... Мы часто, когда не знали, что делать, брали эту книгу, перелистывали ее, восклицая над изображением уродов. Книгу эту с особым удовольствием и гордостью показывали мы нашим гостям, таким же маленьким

книговедам, как и мы. Сравнение рисунков «наших» детских книг с изображением латинской книги приводило нас к заключению, что это книга особенная и чудная. Юлия Михайловна говорила нам, что эта книга очень старая и относится к далеким векам, что это редкая книга и что папа купил ее под Сухаревкой.

В эту раннюю пору мы были хорошо знакомы с рассказами Водовозова и Чистякова. «Родное Слово» было нашим любимым чтением. С увлечением и слезами иногда слушали мы чтение вслух Юлией Михайловной сказок Андерсена про Аллелукоя, про Дюймовочку, Маленькую русалочку, Снежную королеву, Оловянного солдатика и др. Любили «Хижину дяди Тома», «Киску Беляночку» и многое другое, раскрывавшее перед нашим воображением новые миры и вызывавшее новые настроения. Чтение вслух было магическим средством, прекращавшим всякие капризы и своенравия.

Очень любили мы вечера, когда папа и Юлия Михайловна уезжали в театр, а мы оставались с няней. Мы охотно отпускали Юлию Михайловну, зная, что на следующий день нам будет подробно рассказано о том, что «представляли» в театре. Слушать эти рассказы было большим наслаждением. Мы знали по рассказам Юлии Михайловны содержание целого ряда итальянских опер. Знали хорошо «Фауста», «Норму», «Динору», «Линду да Шамуни», «Марту», «Травиату», «Аиду», «Севильского Цирюльника», «Пуритан», «Гугенотов», «Пророка». А папа иногда, когда бывал в хорошем расположении духа, напевал арии из разных опер. Отдельные музыкальные фразы были нам хорошо известны, и мы, изображая на ковре папиного кабинета целые оперы, пели по-своему и «Марта, Марта, где ты скрылась», и «Милая Аида, с тобой я пошутила», и «У Карла есть враги», и многое другое... Подражая нам, старшим, одевшись в нянины платки и шали, Саша и Володя

распевали собственные арии, повторяя имена итальянских артистов и названия итальянских опер, которые часто произносили папа и Юлия Михайловна. Володя распевал: «Зибель, Фауст, Маргарита»... Саша звенел своим колокольчиком: «Строцци, Зимероски, Патти»...

Тогда же мы слышали имена Крутиковой, Кадминой, Радонежского. Знали хорошо содержание русских опер «Жизни за Царя», «Руслана и Людмилы», «Русалки», «Рогнеды». Но чаще всего произносились названия итальянских опер и итальянцев. Аделина Патти, Нильсон, Лукка, Скальки, Строцци, Падилло, Джамет, Николини, Капуль — все это были знакомые нам имена.

Пока папа и Юлия Михайловна были в театре, няня Акулина занимала нас рассказами. Она была веселая и сама от души смеялась своим выдумкам. Но не менее непосредственно отзывалась она на чувствительное. Она всхлипывала, когда ее собственный рассказ или пение касались чувствительных вещей.

Она неизменно утирала слезу, когда пела: «Под вечер осени ненастной в пустынных дева шла местах и плод любви своей несчастной держала в трепетных руках». В ее репертуаре оказывались иногда песни, которые мы впоследствии находили у Кольцова. Она пела про «Хуторок», пела «Два прощанья». Она же замечательно выразительно пела:

Парашенька, мамашенька, пожалуйте ручку...

— Прочь, прочь отойди, какой беспокойный,
На Парашу не гляди, ее недостойный...

Пела про терем, в котором:

Там огонек, как звездочка,
До полночи горит,

А ветер занавесточкой
Тихонько шелестит.
Какая-то сила тайная
Меня туда влечет,
Какая-то там красавица
В том тереме живет.
Она чувствительно пела:
Над серебряной рекой,
На златом песочке,
И я девы молодой
Все искал следочки.

Пела няня Акулина про Хлою, которая «старика седого захотела обмануть и вместо парня молодого приласкать и в гости звать»; старик ставит лесенку к окошку и поднимается к Хлое. Она же подставляет ему зеркало, после чего старик

И полетел он как и гром
И пересчитал ступеньки лбом.
Слышали мы, как Марфуша была в театре, как
Музыка тарарахнула,
И занавес взвился.
Марфуша так и ахнула.
Слезами залилась.

Но вот однажды нам было объявлено, что нас повезут в театр. Какое первое представление мы видели, я точно не помню. Знаю только, что это был балет в Большом театре. Театр завладел нашим воображением настолько, что отец решил повременить с этими развлечениями. Мы только и говорили, что о театре. Ночью вскакивали с постелей и бредили театром. Только после длительного перерыва нас вновь повезли в театр. На этот раз это была опера «Руслан и Людмила».

Сначала Юлия Михайловна прочитала нам «Руслана и Людмилу» Пушкина. Потом рассказала содержание оперы, предупреждая, что мы увидим на сцене Черномора и большую голову, что этого бояться не нужно и т.д. Словом, мы были подготовлены к восприятию эстетического наслаждения.

Сидели мы в ложе. Любовались на занавес театра, любовались громадной люстрой, низко спускавшейся среди залы. Поражались количеством людей в театре и чувствовали себя гордо и весело.

Музыка не очень останавливала наше внимание. Мы больше следили за дирижером Бивиньяни, который размахивал палочкой. Наблюдали за большими трубами и турецким барабаном. Но вот началось самое представление. Занавес поднялся. Пение, пир — все это было, однако, что-то не то. Мы ждали чего-то другого. И вот наступила тьма. Прокатился гром. Барабаны оживились. Юлия Михайловна шепнула нам:

— Вот сейчас появится Черномор...

— Где Черномор? — громко и с некоторым волнением спросил Саша. Ему зажали рот руками. Он замотал головой и стал сопротивляться.

Мы были отвлечены этим происшествием в ложе и так и не видали, как Черномор похитил Людмилу.

В дальнейших действиях нам больше нравились танцы. Пение как-то задерживало действие.

Но вот наступило самое страшное действие. Руслан на поле, усеянном мертвыми костями. Он долго поет что-то и отыскивает себе меч по руке. Вдруг из тумана стала вырисовываться громадная голова. Она становится все яснее и отчетливее. У меня сердце начинает биться все чаще и чаще. Юлия Михайловна схватывает Сашу обеими руками и что-то шепчет ему. А

голова все ясней и ясней... Вот она вся открылась... Шевельнулись веки, открываются глаза, зашевелились губы...

Я делаю над собой усилие, чтобы улыбнуться. Но ничего не выходит. Твержу себе мысленно, что это не взаправдашное, что это только так... Но в это время Саша громко, на весь театр, заявляет:

— Не хочу больше... Мне надоело...

А Володя отвернулся от сцены и спрятал свою мордочку, прижавшись к папе.

Уговорить Сашу остаться и дождаться конца не было возможности. В антракте нас увезли домой.

Усаживая нас в карету, папа говорил:

— Эх, вы, театралы! Головы испугались!

— А зачем она моргает! — решительно заявил Саша.

Перед гимназией

Мы стали подрастать. Про брата Пашу и про меня уже стали говорить, что мы большие. Нас называли старшими, противопоставляя нас Саше и Володе, маленьким, младшим. До нас стали долетать слова отца:

— Скоро нужно будет готовить Пашу в гимназию. Коля еще может подождать... Эти его изводящие лихорадки... А Паше уже пора.

Гимназия! Это слово было полно значения. Это что-то очень важное и серьезное, немного страшное. Это вовсе не Межевой Институт с его воспитанниками. Те ничего не стоят перед гимназистами.

Мы знали одного гимназиста. Он жил у нас на Межевом дворе. Это был Миша Соснин. Большой мальчик, очень серьезный, в очках. Он никогда не бегал по двору с другими. Мы

часто видали его в Институтском саду. Всегда с книжкой, всегда серьезный, но очень с нами приветливый и внимательный. Про него все наши всегда говорили очень хорошо.

— Вот Миша умница. Это серьезный молодой человек, развитой и умный, не то, что здешние лоботрясы-межевики.

Почему Миша умный, а межевики — лоботрясы, мы не знали, но как-то это связывали с гимназией.

О гимназии мы знали еще кое-что. Наш двоюродный брат Гига Зависецкий вышел из гимназии с несколькими своими товарищами, не желая, как говорили у нас в столовой, кончать гимназию. Гига с чем-то не был согласен, чему-то не желал подчиниться. Какую-то реформу какого-то графа Толстого считал дурацкой. Он вышел из старших классов гимназии и поступил в юнкерское училище.

А авторитет Гиги Зависецкого был очень велик в наших глазах. Мы, конечно, всецело были на его стороне и презирали и реформу, и графа Толстого. Гига был для нас недосягаемым совершенством... Тем более, что на стене его комнаты висело много всякого оружия. Тут были ружья, сабли, кинжалы, ятаганы, пистолеты, рапиры, эспадроны и многое другое, от чего мы не могли оторвать восторженных взоров. Мы созерцали эти предметы, преисполненные величайшего почтения к их счастливому обладателю.

Наш Паша, так же, как Миша Соснин, был всегда серьезен и всегда занят каким-нибудь делом. Бывало, что всех нас оставляли на его попечение, когда случалось, что старшие отлучались из дома. И в это время брат Паша был настоящим взрослым. Его авторитет мы все признавали охотно, без возражений.

Готовить Пашу в гимназию был приглашен студент-медик Н.Н.Афанасьев. Николай Николаевич не был похож ни на кого

из тех, к которым мы привыкли и которых знали. Это был очень высокий блондин с длинными волосами почти до плеч, в синих очках. Он был так высок и подслеповат, что ходил сильно сутулясь и как бы разглядывая перед собой дорогу. Зимой он носил большой плед, в который прятал свои уши и нос. Плед был накинут поверх пальто и заменял собою воротник. И зимой, и летом на Николае Николаевиче была широкополая черная шляпа, а в руках большая дубинка. Николай Николаевич был угрюм и очень застенчив. Но когда он привыкал к людям и переставал дичиться, становился веселым и даже благодушным, хотя и веселость его была всегда грубовата и несколько неуклюжа.

Как шли его занятия с Пашей, я не очень помню. Знаю, что Паша сам прекрасно учился и сам, казалось, без труда постигал все, что должен был ему внушить Николай Николаевич. Помню больше, как Николай Николаевич возился с маленьким Володей, таскал его на своих плечах и называл его медвеженком... Помню, как после занятий с Пашей он иногда оставался у нас пить чай или обедать. Тогда начинались нескончаемые разговоры между ним, Юлией Михайловной и ее братьями. Вскоре все начинали горячиться. Завязывался спор, в котором Николай Николаевич высказывал какие-то вещи, с которыми не соглашались другие. На него махали руками, его называли красным, нигилистом и еще как-то... А он, посмеиваясь, говорил:

— Вот увидите! Этим дело и кончится. Других способов нет...

Далее следовали слова: рабы, цепи, тираны...

— Ну да, ну да, но только не так нужно действовать. Вы Бог знает, что говорите. Так говорят только красные...

Что именно говорят только красные, мы не очень знали. Поглядывали на Николая Николаевича, на его светло-желтые

волосы, на его синие очки... Ничего красного у него не было, и мы плохо понимали, в чем дело. Но чувствовали, что Н.Н. говорит какие-то страшные вещи, с которыми совершенно не соглашаются Юлия Михайловна и ее братья.

Наконец, наступил давно жданный час. Как-то осенью, утром Пашу повели в гимназию. К завтраку он вернулся сияющим. Он прекрасно выдержал вступительный экзамен. И что важнее всего, он явился домой в синем гимназическом кэпи с лавровыми ветками и буквами «М.2.Г.», а за плечами его был ранец. Серьезный Паша был полон внутренней радости, которая светилась в его глазах. Он весь сиял. После завтрака он попросил разрешения пройтись погулять по двору Института. Получив это разрешение, он поспешно надел свое новое кэпи и пустой ранец и стал прогуливаться вдоль всего громадного Институтского двора.

Так началась новая полоса жизни в нашей семье. Гимназия стала постепенно втягивать нас и поглощать наши интересы. Кончилось все ясное, бесспорное, несомненное. Начались столкновения неожиданные, непонятные, между нашей жизнью, между правдой нашей жизни и новой жизнью, которая олицетворялась гимназией. Мы выходили из-под защиты семьи и вступали в непосредственное соприкосновение с новыми людьми в новой обстановке. Для этих новых людей законы нашей семьи часто были чужды, смешны и непонятны. Начиналась новая жизнь.

С поступлением в гимназию стало отпадать из нашего семейного уклада то первобытное, что было так очаровательно и о чем вспоминаешь теперь с такой радостью.

Перестали нас возить в карете на вербу... А эти выезды были так занимательны и интересны.

К подъезду подавали большую карету, почему-то всегда с плохо затворявшимися дверцами. В карету садились отец,

Юлия Михайловна, четверо нас, детей. Иногда с нами бывала наша милая Соня Ильина, наша ровесница и верный друг. Карета со Старой Басманной, от Константиновского Межевого Института, медленно двигалась по Покровке, Мясницкой и Ильинке к Красной площади. Однажды она так и застряла в невылазной грязи у «Троицы, что на грязях». В карете что-то сломалось, и нас, детей, на руках вынимали из кареты и выносили на сухое место на тротуаре. Было много шума, брани, плача. Но делать было нечего. Пришлось пешком возвращаться домой.

У Красной площади, после перебранки с городовыми, наша карета въезжала в круг блестящих экипажей и медленно двигалась в веренице нарядных выездов московской знати и замоскворецких купцов.

У нас глаза разбегались. Все было интересно, все возбуждало. И толпы гуляющих, и красные шары, и продавцы, выкликавшие самые неожиданные вещи: чертики в баночках, погремушки, трещотки — все на мгновение приковывало внимание и немедленно отрывало его для нового радостного восклицания. Этим восторженным восклицаниям не было конца в нашей карете. Громче и неудержимее всех был Саша.

— Соня, Соня, смотри, какой змей!..

— Где, где змей?..

— Да не там! Ах, какая ты, прозевала!

— А смотри, какие птицы! Это взаправдашные?.. Папа, я хочу птицу на ветке...

— А я видела, как шары улетели! — восклицала Соня, хлопая в ладоши.

— Где, где шары улетели? — восклицал Саша.

— Да вон, они зацепились за Василия Блаженного. Да смотри же, смотри!

— Где зацепились за Василия Блаженного? — недоумевал Саша.

— Ах, ты, зевака-ворона. Они уже отцепились. Вон как высоко.

— Сама ты зевака-ворона! — ворчал Саша, вывешиваясь из окна кареты.

— А вон алебастровый фонарь! Юлия Михайловна, папа, купите алебастровый фонарь! Это так интересно.

Карета быстро наполнялась шарами разных цветов, свистульками, трещотками и другими прелестями, составлявшими полноту детской души. Ликованию не было конца. Младшие братья и Соня бросались от одного окна кареты к другому. Нам, старшим, было приказано крепко держать дверцы кареты, чтобы они не растворились. Проезжали мимо Минина и Пожарского, возвышавшихся над морем человеческих голов и пучков красных шаров, мимо Лобного места... Наконец, усталые и счастливые возвращались домой. По дороге Володя засыпал, а Саша все щебетал, допрашивая Соню — видела ли она настоящего медведя, разноцветных бабочек. Дома начинался оглушительный писк и треск. Это воспроизводилось вербное гулянье. Красные шары к вечеру сморщивались и не так упруго ударялись о потолок. Цветы блекли. Но радостное чувство вербы оставалось надолго.

Особенно памятны путешествия на грибной рынок у стены. Это путешествие совершалось на первой неделе Великого Поста. Если все дети были здоровы, то всех нас забирали с собой на грибной рынок. Уходил весь дом, т.е. вся женская его половина и дети. Забирали с собой горничную Дуняшу и кухарку с корзинками и кулечками. Шли закупать постную провизию на Великий Пост.

И чего, чего только не было на этом грибном рынке! К Кремлевской стене и ниже, по течению реки Москвы, по набережной тянулись палатки и розвальни. Сюда съезжались из дальних деревень и дальних монастырей крестьяне и монахи со всяким добром, заготовленным впрок к Великому Посту. Тут главным образом были грибы. Отсюда и название рынка. Горы сушеных грибов! Нанизанные на веревки или на мочалки, от крупных до самых мелких, грибы висели в палатках или лежали целыми горами на розвальнях. Целые чаны, кадки, кадушки с солеными груздями, рыжиками стояли длинными рядами вдоль набережной. Сушеные фрукты, моченые яблоки, соленые огурцы, квашеная капуста, варенье разных видов, рыба, селедки разных сортов, чудовищных размеров белуга. Изобилие меда в сотах и без воска. Наконец, воск белый и желтый и восковые свечи. Горы глиняной и деревянной посуды. Все это было в изобилии и поражало яркостью красок. Продавцы лихо выхваляли свой товар. Монахи бесшумно, но проворно продавали, укладывали в мешочки и кулечки свой товар, быстро сдавали сдачу и со словами: «Спаси Христос!» — отпускали покупательницу. Сбитенщики приглашали погреться горячим сбитнем. А толпы народа с кувшинами, лукошками, кулечками и мешечками нескончаемыми вереницами двигались между рядами соблазнительного товара. Вся Москва перебывала на этом грибном рынке. Под ногами образовывалось какое-то месиво из грязного снега, пролитого рассола и отбросов громадного рынка. Над рынком стоял какой-то острый запах — рассола и сушеных грибов и чего-то не особенно приятного. Шум, говор, восклицания не смолкали, пока в вечернем воздухе не раздавались унылые, протяжные звуки великопостного колокола, призывавшего к вечерне. Тогда рынок замирал как-то разом. Монахи крестились и быстро

кончали торговлю. Рынок затихал, чтобы завтра с утра раннего начать снова с новой силой и неутомимостью.

И мы с Юлией Михайловной, няней, Дуняшей и кухаркой ходили по рядам, пока все кульки и корзины не были наконец заполнены. Но скоро рынок и горы грибов утомляли наше внимание. Мы начинали заглядываться на Кремль, на Кремлевские стены, башни, на золотые главы соборов. Навсегда сохранилось в памяти сочетание впечатлений зрительных и слуховых. Чуть вечереющее мартовское небо тихо догорающего дня. Светло-зеленоватое небо с протянувшимися на нем длинными и узкими лиловатыми облаками. На этом фоне кремлевские башни и зубцы стен. А в воздухе, прорезая шум и гул города, печальный великопостный благовест московских колоколов. Детская душа заполнялась неразгаданными настроениями и радости, и печали... Вечереющее небо и звуки церковного колокола...

— Ах, батюшки, а постного-то сахара мы и не купили! — восклицает няня Акулина.

— Какой это постный сахар, няня? — спрашивает Саша.

— Да такой, желтый. Да смотри же себе под ноги, Саша!

— А почему, няня, этот сахар постный? А наш разве скоромный? Разве наш скоромный, няня?

— Да отвяжись ты, какой, право! Смотри себе под ноги, Саша! Опять в лужу попадешь. Тут вон, как растаяло... Ну, этот желтый, а тот белый.

— А почему желтый постный? — продолжает допрашивать Саша, ухватив няню за руку.

— Ну, потому, что наш через кость прогоняют, а этот нет. А вот смотрите, это Тайницкая башня. Здесь был тайный ход...

— А куда этот тайный ход, няня?

— Ну, дети, пора домой. Небось устали.

И мы все с кулечками, полными провизии, и переполненные новыми впечатлениями, возвращаемся домой, долго подряжая нескольких извозчиков, которые должны отвезти нас, уставших, и всю закупленную постную провизию.

В нашей семье, как и в целом ряде московских семейств, особенно старо-московских, коренных, соблюдался благочестивый обычай принимать у себя на дому икону Иверской Божией Матери. Раз в год, а иногда и чаще, по случаю какого-нибудь события в семье, радостного или вызывающего тревогу, «приглашалась Иверская Божия Матерь на дом». Такова была обычная сокращенная формула. Задолго отец, бабушка Авдотья Ивановна и мама Юлия Михайловна сообща решали вопрос, когда удобнее «принять» Иверскую. Отец ехал к Воскресенским воротам «записаться». Там, над воротами, где помещалась часовня Иверской Божией Матери, перервинские монахи принимали запись. Это в их заведовании была Иверская часовня, и немалые доходы от приношений и доброхотных даяний шли на содержание Николо-Перервинского монастыря под Москвой.

К приему иконы подготовлялись. А вместе с приготовлениями поднималось и настроение. Об этом событии извещались наиболее близкие родные и знакомые. К назначенному часу в нашем зале собиралось довольно много народу. По этому случаю зал принимал необычайный вид. Всю мягкую мебель выносили в соседние комнаты, ковер заворачивали в большую трубку. В углу, под образком, ставили два крепких деревянных стула и накрывали их белой скатертью. В сторонке раскрывали ломберный стол, который тоже накрывали белой скатертью. На стол ставилась белая миска, наполненная чистой водой. Около сосуда с водой, в маленьких подсвечниках, стояли три восковые свечки.

Икону привозили в разное время. Иногда это было ранним утром, иногда поздно вечером. Раз как-то икону привезли среди ночи.

Икону развозили по Москве в громадной карете, выкрашенной в синий цвет. На дверцах кареты был какой-то золоченый герб. Икона помещалась у задней стенки кареты. Монахи в облачениях сидели на передних сиденьях, лицом к иконе. Карету вез четверик очень худых и невзрачных лошадей, а впереди пара таких же кляч с форейтором без шапки, повязанным красным платком, как деревенская баба. На высоких козлах сидел кучер, и в зиму, и в лето тоже с непокрытой головой, иногда в скуфейке, иногда же повязанный платком. Карета двигалась по городу медленно, грузно. Прохожие, завидев ее, останавливались, снимали шапки и крестились. Таковы были благочестивые обычаи еще недавнего прошлого.

Икону поджидали еще на улице. И вот с улицы доносилось:

— Едут! Едут!

Тогда в доме все приходило в движение и устремлялось к парадным дверям. Откуда-то появлялись какие-то старушки. В передней широко раскрывались обе входные двери. В комнаты врывался холодный зимний воздух. А вместе с холодом в залу входили монахи в красно-малиновых шелковых облачениях. Они потирали руки с морозу, клали на стол с миской металлический крест и евангелие, а диакон раздувал кадило. В комнате распространялся приятный запах ладана и восковых свечей. Все приготовления делались в полном молчании.

В это время по лестнице с трудом вносили большую и очень тяжелую икону. Обычно несли ее отец и несколько из служащих Института. В это время наша прислуга и неизвестные старушки поспешно бросались перед иконой на землю, нагибались очень низко, так, чтобы икона прошла над ними.

Это были стародавние знаки почитания священной иконы. Несшие икону тяжело дышали. Эти простирания перед иконой мешали и затрудняли движение. Нужно было так следить, чтобы икона не задела больно усердствовавшую старушку, особенно, когда некоторые из особого усердия норовили выгнуть спину или приподнять голову так, чтобы икона непременно коснулась их.

Когда икону ставили на покрытые скатертью стулья, начинался молебен с водосвятием. Молебен служили быстро, скороговоркой. У монахов был обычно усталый и равнодушный вид. Воодушевления заметно не было. А приезжавшие с ними служители с фонарем и свечами имели вид угрюмый и скучающий. Это все не очень вязалось с возвышенным настроением ожидавших икону.

Отец и бабушка усердно молятся. Молится и брат Паша. А я поглощен новым зрелищем. Рассматриваю большую икону в золотой ризе, смотрю на большой фонарь на большой, толстой палке, прислоненный к стене в углу. Когда же монах начинает читать: «От святыя иконы Твоея, о Госпоже Царица и Владычице, исцеления и цельбы подаются обильно...», мы все становились на колени. Потом освящали воду. Отец брал миску и шел впереди монаха, который кропил освященной водой по всем углам. Так обходили всю квартиру. Прикладываются к иконе. Монахи получают установленное даяние и уходят в карету. При выносе иконы проделывается то же метание старушек.

Икону увезли. В комнатах еще долго остается приятный запах ладана и восковых свечей. Запах чего-то металлического сохраняется повсюду. У всех старших, да и у нас, несколько размягченное настроение. Никто не говорит громко. Все тихи и ласковы друг с другом. Бабушка, обращаясь к папе, говорит:

— А что, сынок, — она всегда так называла нашего папу — икона эта древняя? Она ведь прибыла в Москву с Афона?

Отец рассказывает бабушке историю о том, как в царствование царя Алексея Михайловича точная копия иконы Иверской Божией Матери была доставлена с Афона в Москву, как царь и патриарх встречали эту икону у Воскресенских ворот, как сначала икона была поставлена в монастыре Никола-Большая Голова, на Никольской улице, и лишь потом перенесена в часовню у Воскресенских ворот. А бабушка вспоминала священное предание о том, что давно-давно к Афону чудесно прибыла по морю икона Божией Матери. Икона принята была Иверским монастырем и помещена на внутренних вратах монастыря, именуясь «Вратарницей».

Много и других тихих и благочестивых рассказов слышали мы от нашей бабушки. Настроение тишины и благочестия долго сохранялось в этот день. Будто нашу семью посетил исключительно дорогой и чтимый гость.

Еще одно воспоминание раннего детства связано с семьей.

Мы почти каждый год всей семьей ездили в Троице-Сергиеву Лавру, к преподобному Сергию Радонежскому. К поездке готовились заблаговременно, и настроение создавалось у нас по-детски сосредоточенное. Но поездка сама по себе была полна захватывающего интереса. Во-первых, нужно было ехать по железной дороге. Ехать долго, несколько часов. А это само по себе было великим удовольствием: пить чай в вагоне из чайников, которые наполнялись кипятком в Пушкине, пить чай не из чашек, а из особых, дорожных кружек. Это все так интересно! Мы брали с собой в дорогу самые необходимые для нас вещи. Паша брал книжку. Я — перочинный ножик и тетрадочку с декалькомани, с которой не расставался. Саша — игрушечный пистолет «для разбойников» и самую любимую

куклу. Володя был еще мал, и его самого захватывали, как спокойную вещь.

Железная дорога — это предмет наших постоянных мечтаний. Локомотивы, свистки, вагоны, кондуктора, звонки на станциях — все это волновало, настораживало и увлекало своею силой и предопределенностью, неизменным порядком. Вагон 3-го класса полон крестьян и богомольцев. В вагоне жарко и пахнет чаем, черным хлебом, одеждой и махоркой. В те далекие времена на Ярославской ж.д. еще ходили вагоны старого типа, без сквозных проходов, с боковыми дверцами из каждого отделения вагона. Кондуктора должны были проходить по узенькой доске, прикрепленной к наружной стенке вагона, и через окна проверять билеты. Это было страшно, и кондуктора нам казались особенно храбрыми.

У Троицы нас поражало то, что Лавра была обнесена стенами с башнями, как наш Кремль, и вызывало особое благоговейное чувство то, что за этими стенами покоился преподобный Сергий, почитание которого было особенно велико в нашей семье. Ощущение чего-то таинственного и святого и в то же время чего-то своего, близкого, родного, особенно чувствовалось именно у Троицы. Фигуры монахов. Тихая беседа с ними отца. Какие-то слова, полные глубокого значения. Тон этих слов, произносимых старцами, немного суровый, но в то же время и ласковый, полный печали и упования. Все это приближало к чему-то великому, светлому, новому, необычному, всепоглощающему.

А всенощные у Троицы под большой праздник! Большой храм полон народа. Внизу все залито золотисто-красноватым светом, живым, переливающимся, колеблющимся. Это особый, живой, движущийся свет от тысяч восковых свечей. А наверху, под сводами, в глубине куполов — мрак, среди которого лишь местами просвечивают сияния около ликов святых. Громадное

паникадило среди храма чуть движется. У «праздника» много больших подсвечников и неисчислимое количество восковых свечей. От них жарко. Их свет отражается и дрожит на окладах икон и золотых облачениях духовенства.

Все это очаровательно и значительно. А люди в тесноте, нестройными рядами стоят в этом торжественном храме, усердно молятся. И у всех этих людей сосредоточенные лица. У одних напряженные, у других светлые, восторженные. Залитой светом храм и таинственный сумрак куполов создает настроение не совсем ясное, которое, вместе с усталостью, мы уносим в номер гостиницы, где будем пить чай и ночевать. Ночлег в гостинице у Троицы тоже интересен. Благочестивое настроение ничем не нарушается.

Утром встаем рано. Идем к обедне. Покупаем очень много просфор. Для всех родных и знакомых. В просфорне пахнет теплым тестом. После обедни служим молебен у мощей преподобного Сергия. Прикладываемся к его мощам. Прикладываемся к его гробу. Он весь изгрызан молящимися. От зубной боли помогает, говорила наша няня. Идем в ризницу. Богатая ризница впечатления не производит. Разговор отца с монахом, показывающим ризницу, слушаем без внимания. Устали. Становится скучно. Начинаю, как говорила Юлия Михайловна, загребать землю носками. Это верный признак усталости.

После обеда в гостинице едем к Черниговской. В скиту завершается наше паломничество. Пещеры как-то смущают и не нравятся мне. В скит пускают только мужчин. Мы, мальчики, испытываем некоторую гордость — вот, мол, нас, мужчин, пускают, а Юлию Михайловну не пускают.

Обратный путь в Москву менее интересен. Сказывается усталость. Везем, кроме просфор, много образков и иконок. А что особенно интересно, везем целую Троице-Сергиеву Лавру. Это маленькие деревянные церковочки, окрашенные в те

самые цвета, что и на самом деле. Эти церковочки и колокольню можно расставить так, как они стоят у настоящей Троицы. Можно окружить их белыми стенами. Это занятие тихое, овеянное воспоминаниями о поездке к преподобному Сергию.

Вот мы снова на Ярославском вокзале. Выходим на вокзальный двор. Что тут делается! Стоит оглушительный крик и гам. Что это такое! Мы жмемся к отцу и к Юлии Михайловне. Они спокойны и продвигаются вдоль пролеток извозчиков. Завидев нас с узелками, извозчики поднимают оглушительный крик:

— Эй, купец, ваше степенство, ваше сиятельство, со мной, со мной! Вот на резвой!

— Барин, барин, вот со мной до Сухаревки, на порядочной!

— Со мной, со мной изволили надысь ехать! Эх, барин!

Крики, восклицания со всех сторон. Извозчики суют отцу в руки медные ярлыки с номерами, тянут за рукава.

Отец отмахивается. Сговариваемся с двумя извозчиками к Никите Мученику на Старую Басманную за четвертак. Усаживаемся на пролетки. Отъезжаем. Возницы чмокают губами, понукают. Лошади вяло и нехотя трогают с места. А нам вслед летят крики, шутки, прибаутки и угрозы.

— Эх, растеряет половину! С ними, купец, не доедешь! Вон она-то с норовом, а та по дороге сдохнет!

Мы выезжаем с вокзального двора. Пролетки стучат по булыжникам московских мостовых. Останавливаемся у запертого шлагбаума. Перед нами медленно проходит длинный-предлинный товарный поезд. Мы считаем вагоны. Им счету нет. Наконец шлагбаум открывается, и мы едем дальше. Вот Красные ворота, церковь Трех Святителей, Запасный Дворец.

Вот и Старая Басманная. А вот и Никита Мученик. А там и наша квартира в Межевом Институте.

— Приехали!

Русско-турецкая война

Когда старший брат Паша был уже в приготовительном классе гимназии, а я начинал готовиться к поступлению в гимназию, наше общее внимание, больших и малых, было поглощено войной с турками.

Сначала в нашу детскую стали проникать и вторгаться новые, непривычные, неслыханные раньше слова. Турки, башибузуки, паши турецкие, Балканы, Сербия, Болгария, Босния, Герцеговина, Черногория, братушки... Это были пока слова, восклицания, негодование. Но вскоре отдельные слова перешли в связные рассказы о мучениях христиан, о зверствах башибузуков над славянами. Рассказы не прекращались и с новой силой возобновлялись каждый день. Мы уже ненавидели турок. Башибузук стало поносительным словом. Это слово вошло в обиход. Если кто из нас учинял какую-нибудь беду, разбивал что-нибудь, торопясь заявить, что «оно само разбилось», то няня кричала нам: «Эка ты, башибузук настоящий! Вот я тебе...»

Рассказы приходили из папиного кабинета, где он читал газеты по утрам, а по вечерам дочитывал то, что не успевал прочесть раньше. Рассказы о турках и славянах он приносил из Межевого Института, привозил с «визитов». Наконец, рассказы в изобилии шли из кухни, от кухарки Анисьи, которая приносила самые свежие новости с рынка у Земляного вала и еще больше от мясника Морозова и из булочной Семенова.

Нужно ли говорить, что все наше самое горячее сочувствие было на стороне славян?

А когда в «Ниве» стали появляться картины Каразина, изображавшие турецкие зверства, когда мы, затаив дыхание, смотрели на картину, на которой были изображены несчастные болгары, привязанные к деревьям, под которыми были разложены пылающие костры, когда мы видели обезумевшую мать, отгонявшую палкой орлов и хищных птиц, нападавших на ее сыновей, распятых турками — мы содрогались, и не было предела нашему детскому негодованию, гневу и жалости...

Но все это были пока только рассказы и картины. Это волновало и мучило, но как-то не облекалось еще в реальные формы.

Но вот дома заговорили, что ужасы на Балканах выносить больше нельзя. Пора вступиться за наших братьев-славян. До нашего слуха стало чаще доноситься имя Аксакова, который призывал к защите братьев-славян. Вдруг появилось имя генерала Черняева. Говорили, что ему кто-то мешает воевать и вступиться за славян. Потом мы услыхали новое для нас слово «волонтеры». Слово понравилось, и мы сами объявили себя волонтерами, собирающимися идти защищать правое дело. Услыхали имя купца Хлудова, который на тройке поехал с Черняевым на Балканы защищать славян. Все это было смутно и не очень понятно. Турки, Балканы... и у нас в Москве, около Самотеки, есть Балканы... Почему Хлудов поехал на тройке на Балканы?.. Но вскоре все стало ясно для нас, детей, ясно и просто. Детское чутье быстро разобралось в сути дела и установило точную и определенную точку зрения на вещи, которую не поколебали впоследствии никакие конгрессы, трактаты и «европейские концерты».

А об «европейском концерте» мы тоже имели достаточно определенное представление. Инженер Транковский, собиравшийся в «волонтеры», принес нам однажды складную картинку. На ней в три ряда были изображены портреты всех дипло-

матов и министров всех европейских государств. Тут были и Дизраэли, и Бисмарк, и Гумберт, и Горчаков, и много других важных лиц. Бумажку эту нужно было сложить в несколько раз так, чтобы нос одного министра приходился к уху другого, глаз третьего ко лбу четвертого и так далее, пока не получался небольшой квадрат, на котором появлялась отвратительная турецкая рожа. Наверху этого листка было написано: «Европейский концерт». Так мы и знали, что «Европейский концерт» обозначает скверную рожу. Но еще лучше мы знали, что мы, русские, должны заступиться за братьев-славян.

И вскоре мы узнали, что это совершается, что русские уже вступились за славян. Чувство радости, гордости и некоторого волнения охватило нас. Теперь, конечно, все скоро кончится, и русские победят турок. Вот будет большое сражение. Русские и турки будут сражаться. Русские, конечно, победят турок. Победа! И все кончено. Славяне освобождены. Все так ясно, просто, так несомненно.

Генерал Черняев и волонтеры стали нашими героями. Портрет М.Г.Черняева появился в нашей детской. Мы ходим на Курский вокзал провожать волонтеров и радостно кричим «ура» отходящим поездам.

Но конца все нет. Все новые и новые рассказы, картины и портреты осложняют такую ясную и бесспорную для нас схему: турки мучают славян, славяне наши братья. Поэтому нужно помочь славянам и победить турок. Что можно было возразить против такой логики? Но кто-то мешает это сделать. Царь хочет пойти и победить турок. Но что-то мешает царю воевать. Так, по крайней мере, мы понимали разговоры, происходившие в столовой. Опять что-то неясное вторгается в наше понимание и разрушает ясное течение и строй наших мыслей и чувств.

Но вот однажды, вернувшись из лазарета, папа громко сказал:

— Ну вот, наконец, Государь объявил войну Турции! Что-то будет! Как бы нам опять не помешали.

Теперь все жило войной. Скоро мы ощутили, что такое война. Со двора Института многих «забрали» на войну. Кое-кто ушел добровольцем. В церкви стали читать особые молитвы о даровании победы. У нас дома стали кроить и шить белье для раненых солдат, а вечерами к нам приходили «институтские дамы», жены воспитателей, «щипать корпию» для раненых. На стене папиного кабинета появилась большая карта Балкан, на которой стали отмечать города и местечки, в которые вступали русские войска. А в квартире Юденича была громадная карта во всю стену. На ней сам Николай Иванович Юденич, с помощью сына своего Коли, особыми флажками отмечал положение русской и турецкой армий. Это передвижение флажков было очень интересно, и мы, приходя к Кавочке Юденич в гости, с любопытством рассматривали эти флажки и спрашивали у Коли Юденича:

— Скоро ли мы победим турок?

На это мы получали утешительный ответ:

— Скоро, скоро! Мы этих мерзавцев разобьем вдребезги!

Но конца все не наступало. Картины «Нивы» и еще более ярко-грубые литографии, выставленные в лавочках-ларьках по Старой Басманной, все больше и больше расширяли в нашем представлении явление войны. Здесь был и переход через Дунай русской армии у Систова. Здесь был и взрыв турецкого монитора «Люфти-Джелила» лейтенантами Шестаковым и Дубасовым. Здесь были и портреты Императора Александра II, великих князей Николая Николаевича Старшего, Михаила Николаевича и других. К великим князьям мы были равнодуш-

ны, а Александра II, с усталыми и печальными глазами, мы любили. Зато генералы Гурко, Радецкий, Тотлебен, князь Имеретинский, а вскоре Скобелев, были нашими героями и любимцами. Конечно, у нас шли споры, кто лучше — Скобелев или Гурко. Портреты обоих генералов, вырезанные из приложений к журналам, висели над нашими кроватями и были почти в равной мере ценны для нас и дороги, как образки над изголовьем. Споры о том, кто лучше — Скобелев или Гурко, и чей Скобелев и чей Гурко, скоро прекратились. Мы признали, что оба очень хороши и оба — общие. А там картины — геройская смерть майора Горталова, поднятого турками на штыки, когда он остался один на редуте. А там переход через Балканы, Шипка, гора св. Николая, Орловский полк повсюду, Ловча, Зеленые горы, Карс, Эрзерум, наконец, страшная и упорная Плевна. Все это мы знали по-детски отчетливо и ясно, знали и переживали вместе со взрослыми, с волнением и захватывающим интересом.

Не менее известны были нам и имена Сулеймана-паши, Османа-паши, Реуфа-паши и других.

Однако смысл войны, страшной и жестокой, раскрылся нам не столько в рассказах и картинах. Этот смысл почувствовался и отозвался настоящей болью, овладевшей всем существом, когда мы впервые увидали раненых солдат.

Мимо станции Люблино, где мы жили на даче, уже часто пролетали, не останавливаясь, санитарные поезда имени царской фамилии. Мы видели эти поезда. А старшие говорили:

— Какие роскошные поезда! Какое удобство! — И тут же добавляли: — Счастливчики те, что попадают в эти поезда. Но много ли таких счастливчиков! А вот все остальные, несчастные, тянутся в товарных вагонах. Тем невыносимо! Те в ужасных условиях!

Вот такой-то товарный поезд с ранеными мы и вышли встретить однажды на нашу люблинскую платформу. Тут дачницы хотели напоить раненых чаем и раздать им мешочки с табаком, чаем и сахаром, передать им «гостинцы».

Вот тут-то и ощутилось то, что не передавалось ни в рассказах о войне, ни на картинках. Тут почувствовался смысл войны с какой-то новой стороны. Смысл подавляющий, жуткий, невыразимый...

Около платформы были приготовлены столы с кружками для чая и большими кипящими самоварами.

Товарные вагоны были открыты. В них на соломе лежали и сидели люди в грязном оборванном белье и в рваных солдатских шинелях. Лица у этих людей были изможденные, худые, серые. У некоторых были забинтованы руки, ноги, головы. Особенно, что смущало нас, это тяжелый запах, который несся из вагонов. Искалеченные люди были мрачны и молчаливы. Сердце сжималось, когда мы глядели на них... Узелочки с «гостинцами», которые мы принесли с собой, у нас взяли и роздали солдатам. И тут мне стало как-то неловко, как-то стыдно моего узелочка при виде этих мрачных и измученных людей.

После этого поезда часто, часто стали проходить мимо Люблина другие товарные поезда, переполненные такими же искалеченными людьми. Это была война, которую мы видели уже не на картинках. Это была настоящая война...

Скоро пошли поезда с военнопленными. Мы видели опять оборванных людей в товарных вагонах. Это были турки в фесках, чалмах или просто в красных платках, которыми были повязаны головы. Лица у них были смуглые, глаза черные. Как-то особенно сверкали их зубы и белки глаз. Они были голодны, протягивали руки за хлебом и что-то бормотали. Странное дело! Это были те самые турки, которых мы яростно

ненавидели, а при виде этих людей чувство жалости закрадывалось в сердце. Глядя вслед уходящему поезду, мы оставались с недоумевающим чувством: как же это так? Ведь это турки! А почему же мне их жаль?

Это детское чувство нашло скоро полное подтверждение и в чувствах, которые мы усмотрели у нашей няни, у нашей горничной Анюты, у нашей кухарки, да вообще у всех тех, кого называли простыми людьми.

Как-то раз к нам в нашу классную комнату вбежала горничная Анюта с восклицанием: «Видела, видела!»

Оказалось, что она видела целый табор пленных турок, которых под конвоем провели по улицам Москвы.

— Какие они страшные! Глазищами так и ворочают! Зубы скалят... Ух, какие!..

— Да чего же ты плачешь? — спросила няня, видя, как Анюта отирает слезы.

— Да уж больно жалко! Такие они жалкие!

Это было новое восприятие войны, которое окончательно сбивало нас с толку. Можно ли жалеть турок, которые мучают братьев-славян?

А время шло. Война балканская порождала новые впечатления. Среди нас появились маленькие детишки с живыми черными глазами. Это были болгары-сироты. Сколько их было? Кто знает. Но все чаще и чаще мы слышали, что та или иная семья брала к себе на воспитание болгарских сирот. Монастыри оказывали приют десяткам таких мальчиков и девочек. Мы видели этих детей. А слово «сироты» приобретало особое значение, когда нам говорили, что родители их замучены и убиты башибузуками.

В семействе Гурскаленых появился мальчуган-болгарин, Манолов, принятый в семью как родной сын. С Маноловым мы подружились, и эта дружба продолжалась всю гимназию.

Война все затягивалась. А наше отношение к ней, осложнявшееся впечатлениями от соприкосновения с ранеными, с пленными, с сиротами — оставалось все же неизменным: русские должны победить турок.

Помню наше общее негодование, когда до нас долетели чьи-то слова о том, что «мы зря вмешались не в свое дело». Помню оживленный спор старших по этому поводу в столовой. Наше детское сочувствие было целиком на стороне тех, кто негодующе отвечал этим скептикам, называя их «нигилистами».

Мы хотели окончания войны. Мы чего-то ждали от этого конца. Чего? Конечно, победы! Какой? Что такое победа? Как на картинках!.. Нет, нет! Какой-то другой победы. Что-то должно восторжествовать. То самое, что побудило русских вступиться за славян.

И большое, глубокое разочарование овладело и нашим детским сознанием, когда оказалось, что русские войска остановились в виду Константинополя, не войдя в него, что кто-то помешал русским победить и спас турок. Мы не знали, в чем дело. Плохо разбирались в том, что говорилось в столовой. Но чувство разочарования, даже какой-то малоосознанной обиды было воспринято и нами, детьми.

Это были первые впечатления от первой войны и первое ощущение национального чувства.

Глава II. Семья и гимназия

Вступление в гимназию

Наша гимназия, а это была 2-я Московская классическая гимназия, помещалась на Разгуляе, в доме, когда-то принадлежавшем гр. Мусину-Пушкину. Это был большой, старый барский особняк с классическим фасадом начала прошлого столетия. Трехэтажное здание было украшено по фасаду красивыми колоннами, покоившимися на выступавшем в средней части нижнем этаже со сводчатыми нишами. Здание гимназии занимало целую усадьбу с большим садом, по краю которого протекала под деревянным настилом речка Чечера.

Наша гимназия помещалась на скрещении двух Басманных улиц, Старой и Новой, неподалеку от Елоховской площади, на которой высился прекрасный монументальный храм Богоявления в Елохове. Этот храм был знаменит в двадцатых годах прошлого столетия своим «вольнодумным» проповедником-обличителем, послушать которого съезжалась вся Москва. Вся эта местность называлась «Разгуляем» — старинное название, сохранившее воспоминания отдаленных времен. Здесь Москва справляла широкую, пьяную, разгульную масленицу.

Дворец гр. Мусина-Пушкина, уступивший место классическому просвещению, был в числе усадеб вельмож, которые стали заселять пути от центра города к Яузе, Немецкой слободе, Преображенскому и Семеновскому. Заселение этих путей относилось к петровскому времени и к временам Императриц. Это были времена упадка Московского Кремля и расцвета Лефортова.

Я переступил порог гимназии, еще не будучи настоящим гимназистом. Старший брат Паша был уже в приготовительном классе и гордо носил синий мундирчик с серебряными пуговицами и серебряным галуном на стоячем жестком ворот-

нике. Это он водил меня по воскресеньям в гимназию на уроки рисования, к которым допускались и не поступившие еще в гимназию мальчики. В качестве такого любителя рисования я и переступил впервые порог 2-й гимназии.

Размеры помещения гимназии, большая швейцарская, широкая парадная лестница не поразили меня. Я привык к «казенным зданиям» и имел для сравнения Константиновский Межевой Институт, Разумовское отделение для малолетних на Гороховом поле. В гимназии мне не понравился швейцар, к тому же встретивший нас не особенно приветливо. У него был вид не такой, как у швейцаров в Разумовском и Межевом. Те были большие, с густыми седыми бакенбардами, важные, а в своих ливреях даже великолепные, поражавшие наше воображение. А этот был маленький, сухенький, с жидкими усиками, сердитый.

Нам указали путь по парадной лестнице. И она оказалась не такой удобной, как в Разумовском и Межевом Институте. Там были широкие, большие ступени, а тут они оказались как будто немного покаты, а на поворотах у массивных столбов ступени так сужались, что трудно было поставить ногу. Это мне тоже не очень понравилось.

Лестница вела в приемную. Это была довольно большая, узкая комната, заставленная шкафами с книгами. Паша сказал, что это фундаментальная библиотека гимназии. Это было ново. Я знал только нашу педагогическую библиотеку на Старой Басманной в доме Прьятелева. Мое внимание сосредоточилось на рисунках, выставленных в некоторых шкафах, и на гипсовых фигурах. Паша сказал, что лучшие рисунки учеников выставляются в приемной комнате гимназии. Итак, вот цель нашего прихода в гимназию. Мы пришли учиться рисовать. Кто знает? Может быть, и я нарисую когда-нибудь вон ту голову, не с бородой и волосами, а ту, красивую, того юноши.

С бородой трудно, а ту — легко... Может быть, и мой рисунок будет за стеклом в приемной гимназии, и все его будут видеть.

Паша обращает мое внимание на высокие белые двери. Они заперты. Там, говорит он, актовый зал, там кабинет директора, там производятся экзамены, собираются учителя, происходит педагогический совет. Там решается судьба всего. Я чувствую, что сердце у меня начинает биться более усиленно. Мне хочется заглянуть в этот актовый зал и в то же время я начинаю чувствовать к нему некоторое нерасположение, нечто вроде страха перед закрытыми дверями, перед неизвестностью.

Из коридора выходит высокий старик с седой бородой. Осведомившись, зачем мы пришли, он отпирает большим ключом класс, куда мы и входим. Паша шепчет мне, что это восьмой класс, самый главный. Я опять смущаюсь. Как это мы такие маленькие, попали сразу в восьмой класс. В большом классе много света. Желтая кафедра, черная доска, а по стенам несколько картин, изображающих какие-то развалины. Мы пришли первыми. Тот же старик вносит гипсовые фигуры и ставит их на кафедру. Кто же это? Паша шепчет мне, что это Ксенофонт-Анабазис и что он дает звонки в гимназии.

В классе, да и во всех помещениях, которые мы прошли, какой-то особенный запах. Это запах как будто графита или сырой полотерной мастики или жидкого столярного клея. Это был запах гимназии, который не покидал ее во все последующие годы.

Стали подходить гимназисты. Мне стало еще более неловко. Я один оказался не гимназистом, в клетчатой рубашке. А все остальные были в мундирчиках (тогда еще не были введены блузы). Я оказался замеченным. По моему адресу и особенно по поводу моей клетчатой рубашки стали отпускаться замечания. Но вот появился еще один мальчик не в мундире, а в полосатой рубашке. Мне стало полегче.

Какой-то длинноногий гимназист направился было ко мне. Обращаясь к брату, он спросил: «Это твой брат? Ему еще не давали смази?» В эту минуту в класс вошел учитель рисования. Все встали. Встал и я, почувствовав, что я тоже почти гимназист. Долговязый гимназист поспешил на свое место, бросив мне на ходу: «Ну, еще успеем устроить тебе смазь!» Что это была за смазь, я в точности не знал. Но это обещание мне что-то не особенно понравилось.

Учитель рисования был худой, с усталыми глазами. На нем был синий фрак с золотыми пуговицами. Фрак был очень широк, и фалды его смешно болтались сзади. Это был Г.Е.Чижов — добрейший, как оказалось, человек. Уставив гипсовые фигуры и предложив ученикам приступить к работе, он подходил к каждому из них и делал указания. Наконец, Г.Е. подошел и ко мне, с тревогой поглядывавшему, как гимназисты принялись за работу. На вопрос Г.Е., умею ли я рисовать и что я умею делать, я конфузливо, но уверенно ответил, что рисовать умею, а вот, что именно умею делать, ответить затруднился. Мой ответ был вполне искренен. Дома я считался чуть ли не художником. Во всяком случае, охоты к рисованию у меня было много. Вот эта охота и слилась в моем представлении с умением. Разочарование быстро наступило. Умение предъявило свои неумолимые права и требования. Охота без умения и знания обнаружила свое полное бессилие. Это был первый урок, вынесенный мной из гимназии.

Г.Е. обнаружил мое полное неумение рисовать, что было, впрочем, так естественно, ибо дома я рисовал и «красил» самоучкой. Меня засадили за прямые линии и простейшие фигуры.

Уроки рисования скоро прекратились, вследствие болезни Г.Е., и я перестал быть полугимназистом.

Однако осенью того же года отец отвел меня на экзамен в ту же гимназию. Экзамен в приготовительный класс был нетруден. Подготовлен я был достаточно и без труда ответил на все вопросы по закону Божьему, по русскому языку и по арифметике. Начало было удачно. Гимназия не показалась мне особенно страшной. И я получил синее гимназическое кепи с буквами гимназии и ранец для книг.

Последовательно поступали в гимназию и мои младшие братья. Таким образом все мы, докторские дети, оказались гимназистами.

В зимнюю пору, в холода, нас всех четверых отвозили в гимназию на «своей лошади», на санях. Мы, старшие, садились на сиденье небольших саней, младшие братья садились к нам на колени. У всех за спинами были ранцы, полные книг. Головы были повязаны башлыками. Всю эту кучу гимназистов и ранцев с трудом застегивали полостью от саней и старик Виктор нас вез в гимназию по Старой Басманной. Извозчики, похлопывая на морозе рукавицами, посылали нам вдогонку иронические замечания:

— Эй, завяжи покрепче! Растеряешь!

— Ишь, мала куча едет! Ой, развалится!

Проезжая мимо церкви Никиты Мученика, мы все, по завету бабушки, молились на икону Иверской Божией Матери над входом в церковь. Молитвы Паши и Саши, очевидно, были доходчивы. А моя не всегда доходила, ибо гимназические неудачи частенько меня постигали.

А когда мы проезжали мимо дома Ланиных на той же улице, я не мог не кинуть взгляда на интересное зрелище в ланинском саду. Это зрелище было особенно интересно зимой, в лютые морозы. Сад Ланиных был за сквозной решеткой. Среди сугробов снега, между деревьями и кустами, засыпан-

ными снегом, в глубине сада виднелась причудливая стена с нишами и аркадами. В нишах, во всю стену, были написаны яркими красками виды Италии. Синее, синее море, яркие розы, развалины храмов, дымящийся Везувий. В московскую стужу глядеть на эти картины из-за башлыка, оставлявшего только кончик носа да пару глаз, было странно. Поднимались какие-то смутные чувства. Внимание рассеивалось. Сосредоточенность, столь необходимая для гимназии, утрачивала свою напряженность.

С гимназией начался новый период нашей жизни. Семейный уклад, хотя и оставался неизменным в своих основах, однако должен был в какой-то степени приспособиться к новым и весьма значительным условиям жизни, которые создала гимназия. Гимназии и ее требованиям подчинилось многое. Обязательства, налагавшиеся ею на нас, детей, стали в равной степени обязательствами всей семьи. Перед требованиями гимназии все отступало на второй план.

Если нам приказывали купить новое издание учебника Эленда Зейферта или новую книгу для упражнений, отец немедленно ехал на Кузнецкий мост, в книжный магазин Ксенофонта Ивановича Тихомирова, и нам покупали нужные учебники. Все приспособлялось к тому, чтобы помогать нам заниматься и учить уроки. Даже хождение ко всенощной отменялось, если нужно было готовить что-нибудь очень трудное. А что и говорить о времени экзаменов. Тогда все обитатели нашей квартиры, не исключая бабушки, няни и даже прислуги, принимали участие, кто как мог и умел, в этой нашей детской страде. Няня Акулина усиленно ахала и вздыхала, давала советы, усиленно заставляла есть, а бабушка молилась разным святым о помощи в трудах и заботах.

Еще за несколько недель до экзаменов устраивалось паломничество по часовням Москвы. Посещение московских

часовен было установлено по почину все той же нашей милой бабушки. Для нее вся жизнь была неотделима от жизни святых, которые участвуют духовно в этой нашей жизни, помогая, наставляя, предстательствуя и заступая. Мы знали, что посещение часовен не должно было рассматриваться как особого рода сделка, как какое-то задабривание святых. У нас не было расчета, что за поставленную свечку или за молебен с акафистом меня не спросят того, что я не знаю. «Святую ватку» или масло мы не рассматривали, как талисман, как средство, при помощи которого можно достичь неожиданных успехов. Так нам говорили наша бабушка и Юлия Михайловна. Нам внушали, что прося о помощи у святых, мы должны все сделать, чтобы быть достойными этой помощи, т.е. учиться, работать, знать все, что могут от нас потребовать на экзамене. Мы все это знали, но все-таки мы были маленькими язычниками и в глубине души все же считали, что кусочек святой ватки мог бы предохранить от невольной ошибки в диктанте, переводе, в арифметической задаче. Выходило так, что мы и усердно готовились к экзаменам, и в то же время не менее усердно молились многим святым, чтобы они помогли нам хорошо выдержать экзамены и перейти в следующий класс.

Хождение по московским часовням продолжалось иногда по нескольку дней. Сначала ходили к Иверской. Потом к часовням у Спасских ворот — к преподобному Сергию и Святому Ангелу. Заходили в Успенский собор, в Чудов монастырь, в часовню св. Увара в Кремле. Потом шли на Никольскую улицу, к Николаю Чудотворцу и к Пантелеймону-мученику. Иногда заходили к Варварским воротам, к Боголюбской Божией Матери. Это уже по инициативе Юлии Михайловны, родом из Владимира, особенно почитавшей Боголюбовский монастырь.

Эти посещения создавали довольно сложные впечатления. Не всегда удавалось сосредоточиться на главной цели — помолиться перед экзаменами. Многое отвлекало внимание, развлекало, а иногда целиком овладевало настроением. Часовни были обыкновенно полны молящихся. И кого только здесь не было! И старые, и молодые, и богатые, и убогие. Все ставили свечи, усердно клали земные поклоны, крестились и прикладывались к иконам. Темные лики святых таинственно выглядывали из золотых риз и облачений, усыпанных разноцветными камнями. Мы тоже покупали свечи, ставили перед иконой угодника и сами становились в очередь, чтобы приложиться. Не всегда удавалось донести до иконы возвышенное и сосредоточенное настроение. Внимание рассеивалось тем, что мы видели в часовне.

Вот у стены, на коленях, закрыв лицо руками, горько плачет молодая женщина в трауре. Вот старик с изможденным лицом, с седой, всклокоченной бородкой, с красными слезящимися глазами, трясущейся рукой ставит свечку и что-то бормочет невнятное. Вот толстая купчиха окунает свой толстый палец в лампадку и мажет себе и маленькой девочке глаза маслом из лампадки. В сторонке стоит краснощекий купец. Около него усердно молится женщина, повязанная платком. Женщина плачет и вздыхает, а краснощекий купец равнодушно поглядывает по сторонам. Няня шепчет Юлии Михайловне: «Это по обету! От запоя!» Однажды в Пантелеймоновскую часовню вошло сразу несколько человек, державших под руки молодую женщину; белый головной платок был низко повязан и почти закрывал ее лицо. Женщина вдруг закричала, как-то завыла и стала биться. Нас поспешно увели из часовни. На ходу Юлия Михайловна говорила, что это больная, которую привели к Пантелеймону-мученику для исцеления.

— Это кликуша? — громко спросил Саша, на лице которого были ясные следы смущения и тревоги.

Особенный день назначался для далекого путешествия к мученику Трифону. Это было далеко за старой Екатерининской больницей, за Троицей-Капельки, за Мещанскими улицами, за Антроповыми ямами. Все это путешествие совершалось непременно пешком. С нами ходили и младшие братья. Это благочестивое путешествие было утомительно, но доставляло нам большое удовольствие. Все возвращались домой усталые, но с сознанием совершенного хорошего дела. Никто не жаловался на усталость. И на вопрос отца, встречавшего нас дома:

— Ну, что, богомольцы, очень устали?

— Так себе. Только шагать надоело, — отвечал Саша.

Гимназисты

Вступление новичка в гимназию даже у нас в Москве сопровождалось иногда некоторым традиционным ритуалом. Конечно, это не были ритуалы старой бурсы или закрытых корпусов. Но все-таки, какие-то остатки старины были и у нас.

Когда я впервые робко вошел в громадный рекреационный зал нашей гимназии и, казалось, потонул в шумящей толпе гимназистов всяких возрастов, мне показалось, что я утратил себя и стал частицей какого-то громадного человеческого улья. Прижавшись к столбу гимнастики, я не знал, что же будет дальше, что я должен делать и как мне найти мой приготовительный класс. Брат Паша, уже свой человек в гимназии, куда-то исчез, и я остался один в этой движущейся и шумящей толпе. В залу входили все новые и новые гимназисты. Все были веселы, шумны, радостно здоровались друг с другом, были как у себя. Это был первый день после каникул.

Вдруг ко мне направилась группа гимназистов, среди которых был один, кричавший громче всех и, казалось, предводитель.

— Где здесь новички? А, вот еще новичок в рубашке! Как твоя фамилия?

Я назвал себя.

— А, это брат Павла Астрова! Молодец! Это хорошо! вот тебе для начала!

Не успел я опомниться, как получил здоровый щелчок в лоб.

Я покраснел от неожиданности и от обиды. Приготовился защищаться, как появился Паша и представил меня шумной толпе. Давший мне щелчок объяснил, что так всегда полагается с новичками, чтобы они были хорошими товарищами, угощали завтраками, не фискалили, и что теперь мы становимся приятелями и товарищами.

Мы подали друг другу руки и тут я почувствовал какие-то свои вновь приобретенные права, которых не было у меня за минуту перед тем. Моя растерянность пропала. Это было первое крещение.

Хуже приходилось новичкам-пансионерам. Тех разыгрывали более жестоко.

В пансион поступил маленький, беленький мальчуган, по фамилии Орлов. Он был живой, юркий, предприимчивый, очень доверчивый и наивный. Первые дни своего пребывания в пансионе он совершенно растерялся и, не зная порядков, постоянно попадался. Старшие с удовольствием использовали наивного и живого мальчугана для своих забав.

В пансионе был старый-престарый воспитатель Эдуард Мартынович Боргман, которого пансионеры звали Буфон Мартынович. Старик был очень добр, но от этого названия

приходил в ярость. Его так прозвали за его исключительно своеобразную и смешную внешность, за его длиннополый сюртук вместо фрака, за его очки на кончике носа, за табакерку с нюхательным табаком, за его лысину с наклеенными на нее седенькими волосами, взятыми с висков. Эдуард Мартынович был глуховат, подслеповат и с трудом нес свои тяжелые обязанности дежурного воспитателя в пансионе. Вот на него-то и напустили маленького, юркого Орлова, заставляя его испрашивать у Боргмана разрешения на самые противозаконные с точки зрения старого воспитателя вещи. Орлов вертелся под ногами старика. Сначала тот гнал от себя назойливого мальчишку, грозил ему пальцем, требовал, чтобы тот не говорил глупостей. Наконец, рассердившись не на шутку, велел стать ему на полчаса под часы. Недоумевающий Орлов стал хныкать и просить прощения. Старик упорствовал. Тогда кто-то из старших, выражая сочувствие Орлову, посоветовал ему:

— Да ты попроси у него хорошенько прощенья. Скажи ему: «Буфон Мартынович, простите, больше никогда не буду». Он тебя и простит.

Когда старик проходил мимо часов, Орлов произнес подсказанную ему фразу. Старик затрепетал от гнева. Бросился к Орлову. Тряс его за плечи и кричал:

— Как ты смеешь, скверный мальчишка! Сейчас тебя отведу к директору. Тебя вон из гимназии надо!

Орлов стоял с разинутым ртом. Советчика и след простыл. Это было крещение новичка-пансионера. Вскоре Орлов стал одним из самых неукротимых сорванцов, издевавшихся и над старшими пансионерами, и над зазевавшимися воспитателями.

А когда в гимназии появлялись «мамашины сыночки», приезжавшие на своих рысаках из Замоскворечья или с Арбата, особенно, если у них были тщательно расчесанные проборчики, припомаженные «капульчики» на лбу — то таким прихо-

дилось плохо. Лишь только Матвеев или Голиков появлялись в рекреационный зал, как перед ними вырастал какой-нибудь верзила и одним махом делал им смазь, т.е. взъерошивал напомаженные волосы и всей масляной ладонью смазывал им лицо. Мамашин сынок вспыхивал, негодовал, ругался. Но делать было нечего. Нужно было бежать в уборную или в швейцарскую и пробирать себе проборчик, тщательно избегая вновь попасться на глаза великовозрастному верзиле.

Бывало, в той же рекреационной зале устраивали общую возню или «малу-кучу». Иногда «жали масло» у стенки. Это были жестокие забавы, особенно если старшие принимали в них участие. Малу-кучу устраивали из малышей, из которых наваливали действительно целую кучу, которая копошилась, визжала, вопила и была настоящим мучением для попавших в самый низ. Масло жали на совесть. Малыши выскакивали из тисков двух стенок как мячики и летели далеко в сторону. А когда раздавалось сигнальное предостережение:

— Директор! Директор!

— тогда вся толпа шарахалась от стенки. Происходила суматоха. Малыши падали, на них наступали ногами, их давили. Падая и быстро вставая, все стремительно рассыпались по классам, оставляя на месте подбитого малыша, который охая, держась за ушибленное место, прихрамывая, тащился последним, попадал на глаза директору и получал в дополнение к ушибу предложение остаться на час после уроков.

Раз, по неизвестной для нас причине, между двумя старшими гимназистами произошло настоящее единоборство, перешедшее в подлинный кулачный бой. Это была страшная картина. Мы, малыши, стояли поодаль, образовав как бы круг, арену, и затаив дыхание следили за единоборством. Удары глухо раздавались в затихшем зале. Надзиратели суетились, больше, впрочем, разгоняя нас, и ничего не могли поделать с

рассвирепевшими бойцами. Только приближение директора положило конец отвратительной сцене.

Но все эти явления, нарушавшие мирное течение гимназической жизни, были все же редки. Обычно жизнь гимназистов была тихая, монотонная, бесцветная. Будучи вместе, все же мы оставались разобщенными, не сближались в кружках. Это не поощрялось в те времена. Дружили с соседями по партам. Редко завязывались настоящие, прочные отношения. Гимназия к этому не располагала.

Вся масса гимназистов делилась на несколько категорий. Тут были — старшие и младшие, французы и немцы, в зависимости от того, какой у кого обязательный язык, приходящие и пансионеры, причем приходящие должны были «угощать» пансионеров, а последние приносили приходящим за пазухой куски черного хлеба, недоеденного за завтраком. Каждая категория имела свои нравы и свою психологию. Французы обычно дрались с немцами. Пансионеры представляли собой замкнутую касту. Старшие немножко презирали младших, давали им подзатыльники, когда малыши путались между ногами во время больших перемен. Особенно вихрастому, рыжему малышу, со вздернутым носом, давали «червячка», после которого малыш, ухватившись обеими руками за голову, с визгом летел в сторону, попав однажды с разбега головой в живот мчавшемуся инспектору. Тут поднялась настоящая суматоха. Инспектор кричал громче всех, гнался за удиравшим и обомлевшим до смерти мальчуганом. Жертву ловили, наконец отчитывали и ставили к стене. Единственным утешением для невинно пострадавшего было показать язык тому, кто дал так не вовремя «червячка».

Но среди старших бывали прелестные люди, наши добрые друзья. Они сами как-то умели найти малышей, которым нужна была какая-нибудь помощь в нескончаемых и каждоднев-

ных гимназических нуждах. Климушин, Гамбург, Соснин были нашими настоящими старшими друзьями.

А были и такие, перед доблестью которых мы положительно преклонялись. Это были «герои», авторитеты, образцы для подражания. Что нужно было, чтобы стать в наших глазах «героем»? Нужно было хорошо учиться?.. Вовсе нет! Многие хорошо учились, но вовсе не были героями... Хорошо учились в старших классах и братья Гучковы, Николай и Александр, еще лучше Зак Наум, получивший золотую медаль и записанный на золотой доске, Климушин, Разумовский. Было много и других, которых нам ставили в пример. Но это не были герои. Зато Свиднаржецкий, прославившийся каким-то крупным скандалом, поразившим воображение мальчишек, становился предметом нашего любопытства. В поведении этого великовозрастного юноши много отваги, он за кого-то заступился... Преклонялись мы и перед «американцами», возвращенными из Тулы, по пути в американские пампасы и льяносы. Любовались громадным Жердиным, который вышел из предпоследнего класса гимназии и поступил в кавалерийское училище. Однажды в большую перемену Жердин явился к нам в гусарской форме, со шпорами.

Культ старших выражался в том, что мы старались подражать им в походке, в манере носить кепи немножко набок и на затылок, в манере несколько небрежно носить ранец не на спине, а в руке, пальто надевать не в рукава, а небрежно накидывать на плечи. Иногда даже меняли прически, подражая «герою». Одно время я подражал во всем, в походке, в прическе, даже в манере говорить — «блаадарсте», вместо «благодарю вас» — Георгию Уварову, который был старше меня и годами, и жизненным опытом. Это он дал мне первую папироску, от которой я чуть не полетел под стол.

Бывало, во время большой перемены в углу залы точно улей. Тесной толпой, вплотную прижавшись друг к другу, наклонив головы в одну сторону, тихо, бесшумно стояли гимназисты какого-нибудь класса. Каждый держал в левой руке книжку «автора» в стереотипном издании, а в правой завтрак. В самом углу стоял тот, кто всегда готовил уроки и хорошо знал древние языки. Это был перевод «автора» к предстоящему сейчас уроку. Это была своеобразная кооперация по коллективному приготовлению урока. Обязанности таких переводчиков исполняли не все лучшие ученики. Среди них бывали жесткие, тупые эгоисты, к которым не обращались за услугами. Они ходили в сторонке. Их не любили и немножко презирали. Одним из таких «первых учеников» был ставший впоследствии немалой знаменитостью у большевиков Покровский Михаил.

Это был белобрысый, всегда бледный, со светлыми, подслеповатыми глазами мальчик. Он был всегда молчалив и угрюм. Его, кажется, никто не видал смеющимся, даже улыбающимся. Но у него бывал противный смешок, холодный, задевающий. Он был всегда аккуратно одет, гладко причесан на пробор. Носил очки в стальной оправе. Ранец у него всегда был в полной исправности. Никогда не носил его в руках, всегда за спиной, как требовали гимназические правила, напечатанные в наших билетах. Даже в самом классе, когда раздавался звонок и кончался последний урок, Покровский, убрав книги в ранец, застегнув его на все ремешки, тут же надевал его на спину. Это был строгий педант, несмотря на его 10-12 лет. Книжки у него всегда были в идеальном порядке, переплетены, иногда даже обернуты в белую бумагу. На них не было ни помарок, ни отметок и, Боже упаси, чернильных пятен. Зато свои книжки он никогда не давал товарищам, позабывшим книгу дома и ожидающим, что вызовут.

Покровский с первого же класса стал первым учеником. Замечательно, что его никто не любил, ни товарищи, ни учителя. Гимназическая любовь — это чувство особенное. Это — признание, соединенное с какими-то правами на признанного в общих интересах. Если такой признанный охотно и легко делится своими преимуществами с другими — его любят, считают хорошим товарищем и признают его авторитет. Если же признанный, как скряга, сидит со своими преимуществами, его не любят, сторонятся, изолируют, а изолировав презирают.

Покровский Михаил был первым учеником именно этой последней категории. Он был какой-то костяной, застывший. Его кто-то назвал однажды «костяной яичницей». Это было подходящее к нему название. Он всегда был точен и мертвенен. Никакого оживления, никогда ни тени увлечения, яркости, которые мы так ценили в наших товарищах. Был ли он даровит и способен? На нашу гимназическую оценку, он был зубрила, т.е. брал усидчивостью и памятью. В нём мы не чувствовали той искры Божией, которая радовала нас в других наших товарищах, проявлением которой мы бескорыстно гордились. Может быть, это и была одна из причин его угрюмости и нелюдимости.

Пробовали было использовать его на общую потребу. Но он не пошел на оказание помощи другим. А помощь эта состояла в том, чтобы быстро объяснить задачу в пятиминутную перемену, быстро перевести урок ожидающему, что его неминуемо спросят, подсказать, дать списать и т.п. Покровский никогда не шел на это. На что же был он нужен нам со своими пятерками и наградами при переходе из класса в класс...

Я вспомнил Покровского и даже не очень изумился, когда мне сказали, что к нему бросились за помощью в сентябре 1919 года, когда над братьями Астровыми в Москве нависла смертная опасность. К нему, как к товарищу по гимназии одного из

Астровых, бросились за защитой... «За господами Астровыми грешки водятся» — последовал ответ бледного человека. Через несколько дней они были расстреляны.

Другого ответа я и не ждал от Покровского Михаила, с которым я сидел в одном классе в Московской 2-й гимназии.

Наше первое политическое переживание в гимназии запомнилось. После взрыва в Зимнем Дворце в 1880 г. у нас, среди гимназистов, был большой патриотический подъем. Гимназист Леонов написал стихотворение, начинавшееся так:

Опять Вседержитель нам милость послал,
России царя сохранивши,
Россию Он спас, как и прежде спасал,
Крамольников злых посрамивши.

Стихотворение это было оглашено в актовом зале, после благодарственного молебна и слова протоиерея Смирнова. Это был общий патриотический подъем, общее настроение, в котором тонули настроения иного рода. А эти иные настроения были.

В одном классе со мной был худой, изможденный, близорукий, в очках, Аносов Павел. Мы были рядом в классном алфавите и сидели в классе неподалеку друг от друга. С Аносовым и дорога из гимназии была одна и та же, по Старой Басманной, мимо табачной фабрики Бостанжогло. Нередко нам с Аносовым приходилось подвергаться нападению мальчишек с этой фабрики, которые осыпали нас снежками, а иногда, если их было больше, давали нам и колотушки. Нам приходилось отбиваться от них, и в трудные минуты в дело пускались ранцы, взятые за ремни. С размаху ранцы, полные книг, наносили довольно чувствительные удары противнику. Противник исчезал столь же стремительно, как и нападал. Вдогонку нам неслись весьма задевавшие нашу гимназическую честь возгла-

сы — «синяя говядина!» Что обозначали эти оскорбительные слова, мы хорошо не знали, но оскорбление чувствовалось остро и жгуче. Нам говорили, что это старое прозвище учеников классических гимназий, вызванное их синими мундирчиками.

Однажды, проходя мимо фабрики Бостанжогло, Аносов стал рассуждать о причинах ненависти к нам фабричных мальчишек. Рассуждения его были смутны и расплывчаты. Но в них звучали какие-то нотки как бы сочувствия этим драчунам, нападавшим на нас и обзывавшим нас «синей говядиной». В его отрывистых и нескладных фразах было упоминание о неравенстве, о несправедливости, о необходимости борьбы.

Смутно мне припомнились разговоры старших в нашей столовой. Слушая Аносова, я вспоминал нашего Николая Николаевича Афанасьева и довольно уверенно ответил ему, что не понимаю, о какой несправедливости он говорит. Если есть несправедливость, то нужно об этом сказать, сделать так, чтобы не было несправедливости.

— Кому же это ты скажешь? — криво улыбаясь, спросил Аносов.

Я совершенно не знал, кому это нужно сказать, кого нужно убедить, чтобы не было несправедливости, но не знал, и с кем нужно вести борьбу...

Аносов поглядел на меня сбоку и сказал что-то очень задевшее меня. Это было что-то вроде:

— Ты ничего не понимаешь и рассуждаешь как ребенок!

Эти слова были несомненно обидны. Какой же я ребенок, когда я уже во втором классе гимназии?

Аносов, у которого на бледных щеках выступают красные, круглые пятна, волнуясь и заикаясь говорит, что никакой

справедливости нет, что есть одна неправда, просить о справедливости не у кого, нужна борьба...

— Но с кем борьба? — спрашиваю я, ощущая в то же время, что передо мной разверзается какое-то темное и жуткое пространство...

— Нужно просить царя, — произношу я нерешительно.

— Царя нужно убить! — последовал ответ, поразивший меня как ударом молота.

Я остолбенел и единственно, что сумел выговорить, было:

— Ты нигилист, ты красный!

Слова Аносова глубоко потрясли меня. Таких мыслей я не допускал. Был смущен и подавлен. Аносов, еще вчера срезавшийся у доски по арифметике — и вдруг такие слова!..

Разговор с Аносовым оборвался как-то сам собой. Какая-то пропасть нас вдруг разделила. Мы оба замолкли. О чем нам было еще разговаривать? Мы молча сунули друг другу руки и разошлись в разные стороны. С тех пор мы как-то стали избегать друг друга. Вскоре он перевелся в другую гимназию. Больше ничего о нем я не слыхал.

Каково же было мое потрясение, когда через короткое время, 1-го марта, нас всех, малых и больших, оглушила весть о том, что Александр II убит. Тут я вспомнил слова Аносова и их страшный смысл.

Среди монотонной жизни гимназии у нас не было развлечений. Начальство не считало это своим делом. А то, что иногда давалось нам как развлечение, бывало из рук вон плохо.

Помню, однажды по классам было объявлено, что желающие могут остаться после уроков, что будет показываться «говорящая машина». Конечно, вся гимназия осталась посмотреть новое чудо.

В рекреационном зале были разставлены скамьи для гимназистов. В первом ряду поставлены стулья и два кресла для директора и его супруги. В конце зала на возвышении оказался какой-то шкаф, обтянутый красным сукном.

Когда зал заполнился и появился директор с супругой, на возвышение поднялся какой-то человек, очень лысый, с большими черными усами и эспаньолкой, в длинном сюртуке и белом жилете.

Господин раскланялся и заявил, что с разрешения господина директора гимназии он будет показывать говорящую машину, которая может произносить любые слова на любом языке.

Он обратился к директору и просил его быть любезным и назвать слово, которое машина тотчас же воспроизведет.

Директор низким баском произнес слово: — Гимназия.

Господин еще раз раскланялся, зашел за шкаф и стал там проделывать какие-то движения.

Вдруг что-то зашипело, засвистело, захрипело и раздались какие-то жалобные, хрипящие звуки... Машина, среди шипения и хрипения, с большими интервалами произнесла слоги слова гимназия.

Шипение кончилось. Машина издала какой-то свист или стон и затихла. Зал тоже хранил глубокое молчание, не зная, как отнестись к небывалому явлению.

Вдруг какой-то мальчуган издал звук, почти в точности воспроизводящий странные звуки машины. Этого было довольно! Отношение определилось сразу. Вся толпа гимназистов разразилась неудержимым хохотом. В зале поднялся писк и визг. Опыт с машиной провалился.

Господин в белом жилете махал руками. Инспектор кричал:

— Прошу тише!

Но зал не унимался. Шум затих только тогда, когда встал директор и грозно приказал успокоиться.

Господин в жилете объяснил, что звуки будут чище и яснее, и предложил самим гимназистам назвать слово.

Из задних рядов было произнесено слово:

— Кит!

К радости гимназистов, машина проскрипела и просвистела довольно отчетливо: «К и и т».

Ободренные успехом, гимназисты с разных концов выкрикивали слова: «Фуция», «цирюльник», «красный нос»...

Машина старательно воспроизводила слова, безразличные для человека в белом жилете и полные глубокого смысла для гимназистов. Хохот стоял неудержимый. После того, как машина проскрипела «красный н о с», раздались оглушительные аплодисменты.

Директор встал, подошел к господину в белом жилете, что-то ему сказал и, повернувшись к нам, сердито сказал:

— Сеанс кончен! Можете идти домой! Безобразники!

Так и кончился опыт с говорящей машиной. Мы были в полной мере удовлетворены. И еще долго по улицам и переулкам по направлению от гимназии раздавались визгливые голоса, выкрикивавшие «как машина»: «фуция», «красный нос», «цирюльник»...

Извозчики, дворники, разносчики оборачивались на нас и замечали:

— Ишь, гимназия веселится!

Дедушка Александр Иванович

В первый год поступления в гимназию с нами немного занимался по латыни наш дедушка Александр Иванович Тюменев. Но с ним занятия как-то не очень налаживались. С дедушкой у нас были совершенно особые отношения. Мы его любили и относились к нему с особой нежной преданностью. Он был и ласков, и внимателен к нам. А главное, он был родным братом нашей бабушки Авдотьи Ивановны. Он был очень остроумен и весел. На людях это настроение никогда не покидало его. И только когда он оставался один, он бывал задумчив и как-то особенно печален. Нам говорили, что дедушка прекрасный человек, а что жизнь у него сложилась неудачно. Он был «ученый академик», в свое время перевел Евангелие на мордовский язык, был преподавателем в Мензелинской гимназии, служил когда-то в Петербурге в «департаменте» столоначальником; в каком, так и не узнали. Тогда еще, на службе в департаменте, по его словам, он привык не завтракать, — вот и все, что мы знали о службе дедушки. Биографические черты дедушки мало что нам говорили. Главное было то, что мы его очень любили. Любили его шутки, рассказы о звездах, его музыку. Это он образовал из нас четверых целый хор. Это он учил нас петь и разучивал с нами и малороссийские песни-думки, и «божественное», и всевозможные русские песни.

Мы пристрастились к пению и музыке. А время, проводимое с дедушкой у пианино, было радостным и дорогим для нас временем. Надев на кончик носа свое пенсне, растопырив свои старые, негнувшиеся пальцы, дедушка по слуху подбирал какой-нибудь мотив и после долгих стараний овладевал мелодией. Показывая нам, как должны петь «дишканта» и альты, он старался брать фальцетом высокие ноты. Дедушка учил нас петь хором на разные голоса, причем сам подпевал по надобности густым басом или брал дрожащие ноты срывающимся

тенорком. Мы разучивали на голоса «Нива моя, нива», «В бурю, во грозу», «Да исправится молитва моя», «Херувимскую» Бортнянского, «Ах вы, сени, мои сени», «У соседа хата бела», «Волною морскою», «Коль славен», «Боже, царя храни» и многое, многое другое. Вновь разученные песни мы исполняли папе, когда он возвращался домой. Если папа не был особенно утомлен, он сам принимал участие в хоре, что доставляло нам величайшую радость. Папа пел тенорком, чего нам так недоставало в нашей импровизированном хоре.

Особенно мы любили старые украинские песни, которые дедушка пел с большим чувством. Нахмурив брови и придавая своему голосу суровый оттенок, он пел, как

По под небом ясным,
У краю степовины
Наша неня родна
Украина...

Как «Степь широка была, воля буйно жила», как козак воспевал «эту степь, эту волю», как «година пришла, житом степь поросла, и козак не летает по полю». Песня начиналась словами:

Хлопцы, хлопцы, кажи
Где наш лыцарь лежи
В чи земли его прах споховали,
Чи орлы из дубрыв
С украинских краив,
Злюба очи клевать прилетали...

Песнь была полна печали и суровой задумчивости. Мотив гармонировал со словами об утраченной воле. Дедушка пел с чувством, аккомпанируя себе своими негнущимися пальцами. Иногда слезы катились у него из глаз и спадали по седой

бороде. Мы не спускали глаз с дедушки, увлеченные его настроением, словами печальной украинской песни. А мотив мы уже хорошо знали и сами певали его, подражая дедушке в интонациях.

После этой печальной песни дедушка долго сидел, опустив голову и вздыхая. Что-то было связано с этой песнью, какие-то воспоминания о Киеве, о молодости и о каком-то увлечении, о котором он не говорил даже своей любимой «племяннице» Юлии Михайловне, с которой был всегда неизменно ласков и откровенен. Потом, встряхнув головой, дедушка брал несколько бравурных аккордов и начинал, как он говорил, «божественную», тоже украинскую, только веселую:

Ну же, готовьте пляски, забавы,
Иде козаче в дом з-пид Полтавы,
С гарной добычей, честью и славой...

Песнь была лихая, задорная. А «божественной» он называл ее потому, что заканчивалась она словами:

Ай да серденько, годи крушиться,
Нехай недобрий печали страшится,
Доброму-ж треба жить, веселиться,
Бог не оставит в печали его.

Вот потому-то, что Бог упоминается в веселой песне, дедушка и называл ее «божественной».

Не ошибусь, если скажу, что любовь к музыке была привита нам, детям, именно дедушкой Александром Ивановичем. А у братьев Саши и Володи эта привязанность к музыке перешла в страсть, заполнившую их жизнь до конца. Они оба стали хорошими музыкантами. Но дедушка был нам дорог и по другим причинам.

Однажды в теплый летний вечер, в Люблине, после того как все после вечернего чая разошлись по своим комнатам, дедушка появился на балконе. Он был в это время в одеянии, в котором отходят ко сну, только на плечи его было накинуто пальто. Дедушка остановился на той стороне террасы, где не было высоких деревьев и откуда открывался безграничный простор ночного неба. Он недвижимо стоял, устремив свои глаза к звездам, и только изредка поворачивал свою голову, переходя от одной звезды к другой. В руках у него был большой красный носовой платок. Безмолвно он проделывал какие-то непонятные для нас движения. Держа обеими руками за концы платок, он поднимал руки к небу и водил ими, как бы отыскивая что-то на небе, как бы призывая кого-то. Мы наблюдали за дедушкой из окон нашей комнаты и недоумевали, что это дедушка делает со своим платком. В это время пальто съезжало с плеч дедушки, но он не замечал этого, устремив все внимание на звезды. На утро за чаем мы осторожно спросили дедушку, что это он делал ночью на балконе.

Дедушка ласково улыбнулся и сказал, что он платком определяет расстояние светил. Тут он увлекательно стал рассказывать о небе, о звездах, о планетах, о млечном пути, Большой и Малой Медведицах, о Кассиопее, о Плеядах, Персеидах, которые называл Слезами св. Лаврентия. А вечером, когда мы кончили чай, он нам показал звезды и научил их находить. Он показал нам и научил находить Юпитера и Сириуса, Марса и Венеру, Вегу, Арктура и Капеллу и много других. Это он научил нас узнавать звезды, и только уже позднее Фламмарион дополнил нам то, что мы впервые услыхали от дедушки.

Став гимназистами-классиками, мы относились несколько скептически к его латыни. Дедушка был семинарист, а мы классики. У него произношение иное, не такое, как у наших учителей латинского языка.

Неналадившиеся занятия с дедушкой вызвали появление у нас М.И.Соллерса. С ним в нашей семье прозвучали новые ноты, до той поры не улавливаемые нашим детским слухом.

М.И.Соллерс

Это был небольшого роста брюнет, очень бледный, с прядью черных волос, спадающих на откинутый назад лоб. Узкое, худое, длинноватое лицо было сурово и почти неподвижно. Но зато особенно выразительны были его глаза. Обычно они были печальны и холодны, но иногда в них вспыхивали огоньки плохо сдерживаемого волнения и раздражения. Его глаза вдруг становились большими и темными, хотя лицо оставалось холодным и неподвижным. Тогда он закусывал губы, явно подавляя поднявшуюся волну гнева и раздражения. Редко, редко в них светилась радость. Тогда на лице появлялось нечто вроде улыбки. Но улыбка эта скорее походила на гримасу, и эти проблески радости он старательно подавлял. Михаил Иванович имел один резко выраженный физический недостаток. У него одна лопатка была много больше другой и резко выдавалась на спине. Он был горбат, причем горб был косой. Этот горб делал всю его худенькую фигурку тщедушной и жалкой. Несомненно, этот физический недостаток очень тяготил Михаила Ивановича, делал его болезненно впечатлительным и готовым всегда защищаться от ожидаемой обиды. К тому же и здоровье его было очень слабо. Всегда он кашлял, причем на его щеках выступали круглые розовые пятна. Периодически он оклеивал себя papier faillard.

Он пришел к нам настороженный и напряженный. Долго не мог прижиться, несмотря на то, что все в нашей семье, от мала до велика, отнеслись к нему сразу с полной теплотой и приязнью. Но вот Михаил Иванович начал отходить и привыкать к нам. Его напряженность стала сменяться мягкостью и

даже благодушием. Он стал охотно засиживаться за общим столом, не уходил в свою комнату, стал часто и охотно вступать в разговоры со взрослыми, стал даже улыбаться по-настоящему. А иногда из его комнаты до нас долетали довольно странные звуки — это Михаил Иванович своим баском напевал какую-нибудь арию из итальянской оперы. Мы к нему привязались. Его горб вовсе не замечали, и только прислуга иногда указывала, что Михаил Иванович для роста носит высокие каблуки. Вскоре он окончил гимназию и поступил на медицинский факультет. Занятия его с нами кончились. Но он постоянно приходил к нам и просиживал целые дни.

Вот тут-то почувствовали мы то особенное, что вносил в жизнь Михаил Иванович. Наша семья, общение его с Юлией Михайловной оказались для него как бы прибежищем от все более и более захватывавшей его безнадежности и отчаяния. Все чаще и чаще приходил он мрачным и угрюмым, мало разговорчивым. Юлия Михайловна ласково вызывала его на разговор, расспрашивала его, стараясь вызвать в нем иное настроение духа. Как бы через силу Михаил Иванович начинал говорить. Потом оживлялся. И чем возбужденнее становился он, тем безнадежнее были его речи. Вот тут-то мы впервые услыхали законченную философию безнадежности и отчаяния. Обреченность человеческой жизни, страданье, смерть, полное исчезновение, невозможность понять смысл жизни, цель страданий. Эти мысли развивались отрывочно, но в четких формулах, от которых на нас веяло чем-то страшным, враждебным и в то же время неотвратимым. Мы жалели Михаила Ивановича, поглядывали на него с большим состраданием, и с нетерпением ждали реплик старших, сознавая, что слова Михаила Ивановича как-то совсем не согласуются с тем, что мы слышали от отца, Юлии Михайловны и особенно от бабушки Авдотьи Ивановны. Юлия Михайловна заметно волновалась во время

этих разговоров и на заявления Михаила Ивановича, что жить не стоит, что человек волен распорядиться своей никому ненужной жизнью и разом покончить страдания и свое жалкое существование — горячо возражала. Мы с радостью слушали эти возражения, всецело были на стороне Юлии Михайловны и еще более жалели и досадовали на Михаила Ивановича, который упорно возражал на успокаивающие слова Юлии Михайловны, отвергая их и не желая сдаться. А то, что она говорила, было так ясно, просто и понятно. Жизнь — это дар Божий. Жить нужно для других. Тогда личные страдания не будут так тяжелы. Смысл жизни нужно искать, нельзя отказываться от жизни, если еще не обнаружил ее смысла. Она особенно горячо восставала против мыслей Михаила Ивановича о самоубийстве, говоря, что это малодушие и трусость.

Все это было ново для нас и открывало перед нами новые стороны жизни. Однажды при отце Михаил Иванович сказал несколько слов, обнаруживших его угнетенное душевное состояние. Отец решительно и прямо заявил, что нужно взять себя в руки, не поддаваться хандре и пессимизму, что легкомысленно смотреть на жизнь, как на удовольствие и приятное развлечение, что жизнь есть труд и труд тяжелый и ответственный, что лучшее средство от хандры и пессимизма — это работа. И тотчас предложил Михаилу Ивановичу какие-то занятия. После слов Юлии Михайловны и отца нам становилось легче. Равновесие снова восстанавливалось. Но... где-то в глубине сознания слова Михаила Ивановича находили отзвук. А впоследствии, особенно к концу гимназии, это настроение стало часто посещать меня.

Бедный Михаил Иванович был во власти своего угнетенного состояния. Стали говорить, что он начал сильно выпивать. Отец, а иногда и мы с Юлией Михайловной, заходили к нему в номер на углу Садовой и Доброй Слободки. Помню этот убо-

гий номер, холодный, нетопленный, с деревянной крашеной постелью, столом и табуретом, выходивший окном на грязный двор. В этой комнате Михаил Иванович имел еще более жалкий и угнетенный вид. Он все реже стал заходить к нам. Однажды рано утром через кухню пришел к нам коридорный из номеров на углу Доброй слободки и сказал, что Михаил Иванович застрелился, что полиция взломала дверь его номера и что его нашли с простреленным виском.

Так погиб наш Михаил Иванович. Он оставил на имя папы записку, в которой благодарил за все, что он нашел в нашей семье. Записка кончалась словами: «А жить больше не могу, да и не стоит».

Михаила Ивановича не хотели отпевать в приходской церкви, как самоубийцу. После долгих уговоров, священник все же согласился. Отпевание состоялось. Гроб был открыт. Половина лица Михаила Ивановича была закрыта ватой. Один глаз полуоткрыт, и, казалось, он подмигивал кому-то и даже как будто улыбался. Казалось, он говорил: «А вот, я все же сделал так, как хотел».

Алеша Полянский

Если М.И.Соллерс внес в наше сознание ноту пессимизма и дал для последующего времени некоторое обоснование тому настроению, которое тогда называлось хандрой, то младший брат Юлии Михайловны, гимназист Владимирской гимназии, а впоследствии студент Московского Университета Алеша Полянский, вызвал в нас, когда мы стали подрастать, первые движения мысли в области социально-политической. Мы уже давно знали, что такое нигилисты. Мы их видели в лице нашего Н.И.Афанасьева. Мы слышали и знали, что кто-то ненавидит царя Александра II и хочет его убить. Мы слышали о

Каракозове, Нечаеве. Слышали о Герцене, его «Колоколе», о Бакунине. Но все это не было связано для нас между собой, и совсем непонятны были причины, порождавшие и «Колокол», и революционеров, желавших убить царя.

Много нового узнавали мы от А.М.Полянского, который приезжал к нам на лето. Это был веселый и благодушный гимназист, блондин невысокого роста, с большой круглой головой. Он охотно и много смеялся, принимал участие в наших играх, но иногда становился очень серьезным и приглашал нас идти с ним погулять. Мы уже были подростками, Паша в 4-м классе, я в 3-м. Алеша Полянский начинал нам говорить о несправедливости, царящей в России, об угнетении крестьян и рабочих, о том, что нельзя так дальше жить, что нужно быть сознательным, что нужно много читать, много знать и много думать, что мы уже не маленькие дети, что мы должны следить за своим развитием и так далее.

Паша внимательно слушал Алешу и, видимо, соглашался с ним, когда он говорил, что нужно быть сознательным, следить за своим развитием, читать и думать. Затрагивали его и вопросы о «царящей несправедливости». Но Алеша и Паша подходили к этим вопросам с разных сторон. Для Алеши это были вопросы социальные, для Паши же — основа вопроса лежала в морали. Конечно, в те далекие времена оба не умели выразить своих взглядов с надлежащей ясностью. Но не было сомнения, что они не сходятся в понимании того, что такое справедливость и что такое несправедливость.

Я слушал и лишь смутно ловил новые мысли и слова. Чему-то я несомненно сочувствовал в том, что говорил Алеша, но что-то вызывало во мне протест. По-видимому, мой протест относился к приемам и способам, при помощи которых Алеша хотел установить справедливость.

Мы подрастали. Разговоры принимали все более углубленный характер. Однажды, на вопрос — что же делать, заданный мной, Алеша прислал мне книгу в черном переплете. Это было «Что делать» Чернышевского. Алеша сказал, что это книга запрещенная и что ее нужно читать потихоньку и отнюдь не брать в гимназию. Я засел за Чернышевского, волнуясь несколько и чувствуя себя как будто в каком-то и с кем-то тайном заговоре. Но, увы, Чернышевский оказался невероятно скучным. Я никак не мог его одолеть. Вечерами, после уроков, глаза слипались над ним. Я так и не уразумел, что же нужно делать, чтобы можно было жить. А Алеша все продолжал говорить, что так жить больше нельзя.

Алеша видимо не очень был доволен мною, как объектом своей пропаганды. Однако, после Чернышевского он принес мне «Исповедь» Толстого и «В чем моя вера».

Так для нас открывалась новая сторона жизни, впоследствии заслонившая все остальное.

Первые стихи

Это было летом, в гимназические годы. Я перешел во второй класс. Как-то раз, перелистывая Тургенева, мне попались страницы с описанием казни Тропмана. Не могу выразить, что со мной произошло, когда я прочел эти страницы и осмыслил то, что там говорилось. Казалось, весь мир для меня рухнул и перевернулся. Как же быть?.. Что это значит?.. Ведь не может же быть, что в этом правда.. Или неправда все то, что для нас так ясно, так неоспоримо точно, что убивать людей нельзя... Ну, там разбойники, дикие индейцы, пираты, на войне... это другое дело, рассуждал я. Потому-то они и разбойники и пираты. Но казнь.. Дальше уже не хватало мыслей, тем более слов, могущих их выразить... Дальше было отчаяние и негодо-

вание. Я не знал, куда себя девать, что делать с собой, как высказать то, что со мной случилось. Этот том Тургенева в зеленом переплете с жилками стал для меня страшным. Я положил его в самый низ стопки Тургенева, лежавшего на столе, и погрузился в свое смятенное состояние. Тут была и безмерная жалость к тому... и жгучая ненависть к тем, кто спокойно убивал, и великая растерянность и неизжитый ужас — нарушалось что-то такое, что казалось нерушимым, как святыня. Что это значит?

Томление продолжалось долго. Мне не хотелось искать утешения у старших. Да и высказать свое горе я бы не сумел. Мама Юлия Михайловна, обратив внимание на мое смятение, спрашивала, что со мной? «Так себе, ничего»..., отвечал я, погруженный в свое горе.

Но вот тут произошло со мной небывалое до той поры явление. Какие-то слова стали сами напрашиваться, слова, не связанные с прочитанным. Стали чуть ощущаться колебания стиха слов, как бы размеренный ритм, так, как бывает при чтении стихов. Я весь сосредоточился на этом новом ощущении. С напряжением мучительным стал вслушиваться, вызывать эти размеренные слова. Они то появлялись, то исчезали. Припомнить их не мог... А вдруг они снова выходили наружу. И вот, после самых настоящих «мук творчества», я написал свои первые стихи. Их теперь восстановить я не могу. Кончались они так:

Грома удары вдали раздавались,
Молнии грозно в ночи извивались,
То озаряли все небо оне,
То исчезали в сердитой реке.
Порывистый ветер боролся с рекой,
В берег плескал он холодной волной,
То поднимал, то бросал он челнок,

То доставал золотистый песок,
Играют стихии, прекрасны оне,
Проснувшись же, люди трепещут во сне.
Ничтожен и жалок короткий их век,
Ничтожен и жалок, как сам человек.

Так разрешились мое волнение и мое горе. Неожиданно для меня оценка того, что повергло меня в состояние, близкое к отчаянию, оказалась довольно суровой для всего человечества. Вместе с тем, эта оценка определила надолго и основную ноту моего слагавшегося мироощущения в те ранние годы. Короткие стихотворные строки на листке бумаги вызвали прилив горделивой радости. Над этими строками я надписал: «Гроза ночью». Стихи свои я поторопился спрятать, чтобы никто не видал и не узнал моей тайны, и только украдкой прочитывал их. Увы, на бумаге они скоро перестали отражать то острое чувство горя, которое им предшествовало. Но в них вылилось мое страдание, в них оно растворилось. Это были мои первые стихи.

Гимназические друзья

Из числа наших гимназических товарищей-друзей раннего периода хочется вспомнить Колю Никольского. Это был изящный, тоненький мальчик с синими глазами. Очень тихий, очень застенчивый и очень печальный. Он был пансионером во 2-й гимназии. Родители его жили в Смоленске. По настоянию брата Паши Колю Никольского брали к нам в отпуск на праздники. Сначала он дичился, но вскоре сдружился с нами всеми и каждую субботу охотно уходил в нашу семью в отпуск. Коля Никольский был хрупкий и болезненный мальчик. Казалось, он постоянно прислушивался к чему-то, что было слышно только ему одному, а его устремленные чуть-чуть вверх синие глаза

вглядывались во что-то, что видел только он один. Казалось, он весь был напряженный слух и чуткое внимание. Эта устремленность его и в то же время необычайная кротость, тихость и ласковость пленяли всех. А его привычка взглядывать куда-то вдаль, выше головы, обращала на себя внимание, и живой, жизнерадостный Саша спрашивал его: «Куда это ты все смотришь, Коля? Ты как девочка!»

Этими словами Саша, очевидно, хотел отметить ту милую женственность, которая составляла отличительную черту Коли Никольского. Коля застенчиво улыбался, слегка краснея, и говорил: «Ну, что же, такой, как есть. А я так привык».

Он оживлялся и светился внутренним светом, когда вспоминал и рассказывал о своей семье, о своей маме, о Смоленске, о стенах кремля, соборах. Он весь трепетал тогда и горел, как восковая свечечка. Папа неоднократно брал его в свой кабинет, там его выстукивал и выслушивал. А как-то раз, когда в отсутствие Коли зашел о нем разговор, папа обронил слова: «Не жилец милый Коля на этом свете!»

Вскоре Колю взяли из гимназии и увезли в Смоленск к родителям. А через несколько времени пришло известие, что Коля умер...

Он промелькнул в наши детские годы, как легкая, светлая тень, как призрак, как луч света.

Полную противоположность ему составлял маленький, коренастый, скуластый, с живыми карими глазами Манолов. Это был болгарин, совсем маленьким привезенный в Москву с другими болгарскими сиротами во время русско-турецкой войны. Принятый в семью Гурскаленых, мальчик был окружен лаской, вниманием, заботой, как родной сын. Гурскален был хороший педагог, сослуживец известного педагога А.Острогорского, директора Военно-Учительской Семинарии на Немецкой улице. Над письменным столом Острогорского

висела надпись: «Человече, не сердись!» Гурскалены были бездетны и посвятили себя воспитанию маленького болгарина. Они раскрыли перед ним все возможности, желая вызвать проявление всех способностей мальчика. Его стали готовить в гимназию, а вместе с тем стали его учить музыке, рисованию. Маленький зверек скоро стал принимать все черты благовоспитанного мальчика. У него оказались способности не особенно блестящие, но что-то помогало ему одолевать гимназическую премудрость. Какая-то особая сметка, находчивость, ловкость и самоуверенность помогали ему выходить из самых трудных положений, в которые так часто попадались малыши при прохождении гимназических дебрей. Подрастая, он обнаружил недурные способности к рисованию и скоро признал себя певцом. Было уморительно видеть маленького, черненького Манолова у большого мольберта, с палитрой в руке, с кистями в зубах, пишущим масляными красками картину. Он отходил от холста, присаживался на корточки, прикладывал кулак к глазу, подбегал к холсту, делал несколько мазков, снова отходил от холста, наклонял голову то направо, то налево. Он был поглощен процессом накладывания красок и взвизгивал от удовольствия, когда из хаоса красок начинали выделяться очертания фигур, когда вдруг намечалась перспектива.

— Смотри, пожалуйста, какой воздух! — восклицал Манолов, приседая и смотря в кулак на свою картину.

А когда он пел под аккомпанемент рояля, он был вовсе уморителен. Он становился в позу, закатывал глаза и старался петь басом. А лет этому пылкому болгарину тогда было не много. Кончил он как-то печально. В молодые годы он погиб от чахотки.

Суббота и воскресенье

Гимназия все больше отвоевывала нас от семьи. Но от гимназической властной руки все же оставалось кое-что и для нас, когда семья снова становилась главным. Это были вторая половина субботы и воскресенье, это были праздничные дни и их кануны. Пока мы не выросли и не научились, каждый по-своему, занимать эти светлые промежутки между однообразными и серыми буднями, суббота и воскресенье были днями, когда семья снова вступала в свои ласковые права и окружала нас своей атмосферой, уютом нашего дома, нашей столовой и нашей «детской».

Что лучше — воскресенье или суббота? Этот вопрос в те далекие годы, конечно, не ставился так отчетливо. Но опыт нашей маленькой жизни с несомненностью говорил нам, что суббота лучше воскресенья.

Это был конец недели, законный конец гимназических дней с их напряженностью, тревогами и настороженностью. Если неделя была в общем благополучна и в «бальнике», который нужно было представлять на подпись отцу, не было особых неприятностей, суббота была радостным завершением чего-то исполненного. В то же время она была ожиданием воскресного дня, который что-то сулил, что-то обещал особенно хорошее и неожиданное. А мы и в то раннее время жизни как-то смутно начинали чувствовать, что часто ожидание лучше достижения.

Особенно хороши были субботние вечера. После всенощной все собирались в столовой за чайным столом. Над столом висела большая лампа под большим белым колпаком. Колпак поддерживался бронзовыми кронштейнами, изображавшими каких-то птиц. Стол был ярко освещен. В углах комнаты легкий сумрак.

На стене старые часы с гирями на цепочках, с открытым маятником. Часы мерно и громко тикают, а когда начинают бить, к их звону присоединяется какое-то легкое дрожание. Это дрожание остается некоторое время и после того, как часы возвестили пройденное и ушедшее время. К этому слабо звучащему и замирающему дрожанию я часто прислушивался и говорил себе:

— А вот еще не совсем оно ушло... еще слышу его...

Что это «оно», сказать я не сумел бы. Но «оно» несомненно участвовало в нашей жизни. Часы в столовой были частью, и очень значительной частью, нашей общей жизни, по ним строившейся, неизменно и неудержимо шедшей вперед. Охотно мы торопили время, особенно в гимназии, нетерпеливо спрашивая у счастливцев, обладавших часами: «Сколько осталось?», и находили, что время идет слишком медленно. Но дома, особенно по субботам, слушая рассказы отца или чтение Юлии Михайловны, мы поглядывали на часы в столовой, с тревогой замечая, что время идет слишком быстро и что вот-вот пробьет урочный час, когда нам скажут:

— Ну, дети, пора спать ложиться! Потом дочитаем «Ундину».

— Еще, еще немножко! — хором восклицаем мы все, несмотря на то, что у маленького Володи уже слипаются глаза. Но и он настаивает, что еще рано спать и что нужно продолжать чтение.

В столовой, на столе, покрытом толстой скатертью с тканными рисунками, стоял большой медный самовар. Иногда самовар кипел так бурно, что клубы пара валили из-под его крышки. Иногда он пел песенку, иногда жалобно плакал. Мы вступали с самоваром в разговоры и определяли его настроения, связывая их с маленькими событиями нашей маленькой жизни.

— Сегодня самовар радуется. Ишь, как поет. Это потому, что у всех хорошие бальники!

У нас у каждого своя чашка. У отца много чашек самых разнообразных фасонов. Это подарки «больных». Нам особенно бывает приятно, когда отец пьет чай из очень большой чашки тонкого фарфора с голубым ободочком и надписью золотыми буквами «пей другую». У бабушки кружка коричневая с белыми цветами, привезенная из Киева. На столе в круглой корзинке белый хлеб из булочной Семенова с Земляного вала и толстые бублики от Гусева с Мясницкой. По субботам после чая нам дают конфеты от Сиу или Эйнем или от Товарищества А.И.Абрикосова сыновей. А когда кто из нас начинал кашлять, папа доставал из своего письменного стола коробочку с пастильками, которые назывались «пат Жю-Жюп».

Чай проходил в оживленных разговорах. Чаще всего это были рассказы наперерыв о событиях гимназической жизни за истекшую неделю. Но эти шумные рассказы смолкали, когда кто-либо из старших начинал рассказывать о том, что было за пределами нашей маленькой жизни. Тогда мы затихали и обращались в слух.

Тут мы узнавали многое. Тут эпизоды из жизни наших родных, воспоминания о старых временах, рассказы отца о его детстве, о селе Пичины, где он родился, о семинарии, о Москве, о Московском Университете. Тут слышали мы имена старых московских врачей. Среди них называлось имя доктора Лодера, от имени которого образовалось слово «лодырить»,

хотя, прибавлял отец, доктор Лодер был всегда очень деятелен и никогда не «лодырил»[1].

В столовой мы слышали рассказы о жизни и человеческих отношениях. Тут перед нами открывались смутные горизонты той большой жизни, которая таинственно проходила там, где-то вне нашей семьи, даже вне стен нашей гимназии. Наша столовая в субботние вечера была местом откровений и познания жизни. Тут от отца мы слышали в простых рассказах события и факты из его повседневной работы. А это была работа среди людей, которым нужны были помощь и утешение. А правилом жизни отца было: помоги другому в беде. Отец охотно рассказывал «интересные случаи» из своей практики. Замечательно, что интерес этих случаев, по его рассказам, был вовсе не в том, что он сделал, а в том, как люди умели мужественно выносить страдания и преодолевать беду, внезапно свалившуюся на них. Он был из той категории русских врачей, которые подходили к своим больным не только как специалисты-техники, а как истинные друзья, перед которыми доверчиво раскрывались самые интимные стороны человеческой жизни. К нему шли не только с физической болью, но и с душевной печалью, шли повѣдать личную драму и выслушать совет не только медицинский, но человеческий, когда жизнь, казалось, окончательно затягивала попавшую в ее тенета жертву.

1 «Лодыря гонять» — безцельно и без дела слоняться. Московское словечко, созданное кучерами и лакеями, привозившими своих господ на Подновинское гулять и прохаживаться, выпивая минеральные воды. Леченье, введенное в Москве доктором Лодером.

Я помню благообразного, высокого старика с огромной серо-синеватой бородой, густыми черными бровями и большой лысиной. Это был скорняк Ожогин, когда-то состоятельный человек. Он неоднократно вечерами, когда закрывались торговые ряды на Ильинке в городе, приносил в большом холщевом полосатом мешке пушистые меха. Это делалось, когда нужно было шить шубу бабушке или кому-либо из родных, приезжавших из Тамбовской губернии.

Приятно было видеть этого благообразного старика, как он неторопливо вынимал из мешка лисьи меха, встряхивал их и ловким движением бросал на стол. Речь его, так же как и движения, была плавна и красива. Все в нем было преисполнено большого достоинства. Однажды, уходя от нас и складывая в мешок свои пушистые меха, отвечая на слова благодарности отца, Ожогин, высоко приподняв свои густые брови и как-то выпрямившись, став еще выше, сказал:

— Что вы, Иван Николаевич, вам ли меня благодарить? Разве я могу когда-либо забыть, что вы сделали для меня? Ведь только благодаря вам я и живу, и понял, как надо жить.

Потом мы узнали, что Ожогин, разорившись, запил и покушался на свою жизнь. Перелом в его душевном ожесточенном настроении произошел в то время, когда отец говорил ему о смысле жизни и о жизненных испытаниях. Ожогин был возвращен к жизни вдвойне, и физически, и духовно.

В рассказах отца никогда не видно было его личного участия в разрешении чужой драмы. То, что он делал, было для него просто и естественно. Зато он любовался подвигами других, величием их духа и всегда с особенной радостью отмечал проявление человеческого достоинства и чести. Он любил говорить: «Помоги человеку в беде, и ты увидишь, сколько в нем хорошего».

Когда отец бывал занят и не выходил к нам в столовую, после чая мы переходили в нашу детскую. Это была довольно большая комната под сводами. В углу стояла круглая печка «голландка». Ее топили утром и на ночь. Любили мы смотреть, как в ней горели осиновые дрова, потрескивая и стреляя искрами и раскаленными угольками. Заправлять печь кочергой было для нас большим удовольствием. Особенно любили мы горящую печку, когда в комнате было темно и еще не зажигали лампы. Перебегающее по сырым поленьям синеватое пламя, занимающиеся в середине дрова, сложенные сводиком, переносили нас в сказочное царство видений и призраков.

По стенам нашей детской стояли четыре наши кровати. Каждый из нас, братьев, имел свой угол, в углу свой ящик, в ящике все свое богатство. Это богатство видоизменялось в зависимости от того, как мы вырастали и как менялись наши вкусы и симпатии. Тут были и старые игрушки, с которыми как-то жаль было расстаться, были разные особенные драгоценности, как-то: круглая свинцовая пуля, медаль за оборону Севастополя, коробочки оловянных солдатиков. Потом стали появляться в наших ящиках перышки, выигранные в гимназии в игру «в перышки», записные книжки с попытками ведения дневника и тому подобные замечательные вещи. В наших ящиках было несомненное наслоение культур разных периодов нашей детской жизни. У Саши в ящике долгое время хранились две куклы, которыми он с увлечением играл в раннем детстве. Тут же у него хранился лоскуток полотна, по которому он крестиками вышивал петушков. Это было начало его рукоделия. Потом он вышил целое полотенце петушками. Долго не знал, какую надпись вышить на полотенце. Поддразнивая его, мы, старшие, посоветовали ему вышить на полотенце: «От Саши милаши, папаше и мамаше». Саша вспылил и налетел на нас петухом. А мы кричали ему, убегая от него:

— Вот почему ты любишь вышивать петухов! Потому ты сам петух, да еще индейский!

Однако, мы не могли не признать, что его вышивки были очень хороши и никто из нас не мог с ним равняться.

Между окнами стоял высокий комод с нашим достоянием, а на комоде этажерка. Это наша общая библиотека. Она не велика. Но чего тут только нет! Этажерка уже не вмещает всех наших сокровищ. Книги стопками лежат по обе ее стороны на комоде. Тут прежде всего Пушкин в издании Анненкова, в светло-коричневом переплете с кожаными корешками. Тут Лермонтов с его автографом по всей крышке переплета. Тут Гоголь, «Семейная хроника» Аксакова, «Детские годы Багрова-внука», «Былое и возможное», «Крестовые походы» Чистякова, «Хижина дяди Тома», «Робинзон», «Катакомбы» и «Разрушение Помпеи» Евгении Тур, Вальтер Скотт, два толстых томика сказок Андерсена, все тома Жуковского, Марко-Вовчок и многое, многое другое. Все расставлено по размеру и росту книг. Тут и томики Bibliothèque Rose, и «Нива», и превосходное художественное издание Дрезденской галереи. Эту книгу мне подарили Шубины, как признанному художнику.

Посредине комнаты большой деревянный стол, когда-то полированный, но за древностью лет и вследствие усиленного и периодического мытья и стирания пемзой чернильных пятен и наших рисунков на нем ставший белым, с красивыми, ровными, бегущими по всей его длине жилками. Эти жилки красиво завиваются около хорошо выструганных сучков. Около одного из таких сучков мое место за столом. Как помню этот сучок, с обходящими его тонкими жилками! Много раз, когда во время приготовления уроков внимание ослабевало, я не мог оторвать глаз от этого сучка. Мне говорили тогда:

— Ну, Коля опять за сучок зацепился.

За этим столом субботними вечерами мы рассаживались по своим местам. Каждый принимался за свою работу. Тут было и приготовление уроков, и решение задач, и рисование красками. Но лучше всего было, когда Юлия Михайловна предлагала нам почитать вслух. Тогда книги и тетради запихивались в ранцы, и мы отдавались во власть того, что читала Юлия Михайловна, пока не объявлялось: «Ну, дети, пора спать. Завтра дочитаем».

Так кончалась суббота. Завтра можно поспать подольше. Завтра воскресенье, не идти в гимназию. Засыпали не сразу. В кроватях, после молитвы, еще долго шли разговоры о прочитанном и пережитом, особенно если читался «Вий» Гоголя или его «Страшная месть».

Наступало воскресенье. И что же! Его так ждали, а тут что-то с утра не ладится. Печка-голландка еще не затоплена. В комнате холодно. Мы все проспали. Нас торопят вставать и умываться. Кто-то рассыпал зубной порошок, у кого-то оторвалась пуговица. Ведро в умывальнике переполнилось и потекло. Няня громко негодует:

— Ах, вы, этакие, что же это вы наделали!

— Это не мы, няня, оно само потекло.

Саша кричит, что кто-то у него стащил пояс. Пояс оказался завалившимся под кровать.

Все что-то неудачно сегодня, все как-то не ладится.

Наскоро пьем чай. Нас ведут в церковь. В церкви холодно, сумрачно. День серый. Поют плохо. Раз даже хор воспитанников спутался и остановился. Старичок-регент Алабушев кому-то грозит, усиленно машет обеими руками, во все стороны дает тон, поет один своим старческим голоском, переходя с тенора на бас. Наконец, хор оправился, неуверенно вступает и доканчивает испорченное песнопение. Происшествие с хором нас

волнует. Мы стоим красные, смущенные, с глазами, устремленными на Алабушева и на растерявшийся хор. Точно мы сами участвуем в этой путанице. Священник Полотебнов говорит какую-то непонятную нам проповедь. Проповедь длинная. Мы устали. Когда-то она кончится. Дома пирог не удался. Корка подгорела. Тесто без соли. Мы делаем замечания на этот счет и немедленно получаем за это выговор. Завтрак проходит молчаливо. День сумрачный. Гулять нельзя. Делать ничего не хочется. Ведь в воскресенье должно быть что-то очень приятное. А тут, на-поди. Только Паша и маленький Володя занялись чем-то и сидят тихо. Паша что-то читает, а Володя рассматривает картинки из Священной истории. Там Иуда Маккавей перед армией Никанора и Сусанна в купальне. Мы с Сашей ничего не находим интересного. Слоняемся, как говорит няня. Начинаются капризы. День явно неудачный. Хорошо еще, что он не кончился бурным столкновением между «слоняющимися».

Мы не в духе. А тут уже зажигают и лампы. Значит, день проходит. И ничего-то хорошего не случилось. Вот тебе и воскресенье! А как его ждали и как ничего не вышло из этого ожидания. А впереди целая неделя гимназии.

Успеньев день

Середина августа. Зацвели осенние цветы. Расцветились и запестрели яркими красками сады и рощи. Кончилось лето. Наступает осень.

Эта пора всегда навевала настроение некоторой печали. А теперь, далеко от России, если есть время прислушаться к своим настроениям, эта печаль особенно чувствуется.

Сижу за своим столом у открытого окна в Ростоках под Прагой и не сопротивляясь отдаюсь настроениям осени.

Успеньев день, 15 августа. Один из наиболее памятных для меня дней. Настроения, связанные с ним, прошли через всю жизнь. И даже в пору молодой самоуверенности и легкомыслия этот день был концом одного психологического периода и началом неотвратимо идущего ему на смену другого, совершенно иного психологического содержания.

В этот день все предметы и все повседневные явления приобретали какой-то особый смысл, вещи выглядели как-то по-особенному и обнаруживали свою интимную сущность. То, что не замечалось раньше, вдруг обнаруживало свою значительность и ценность. Все самое обыкновенное, к чему приглядели, до рисунка простеньких обоев на стенах, обнаруживалось в новых чертах и красках. Как я этого не замечал раньше! Почему только теперь, перед концом, я вижу, слышу, ощущаю все это таким близким, дорогим, неотразимо красивым?

Наши вещи уже уложены в сундуки и ящики. Ящики еще не завязаны веревками, но полны книг, посуды, белья, одежды, наших детских свертков. Они стоят посреди комнат. С окон сняты шторы и занавески. С террасы снята парусина. Жилье разорено. Завтра Успенье, последний день в Люблине. А послезавтра, 16 августа, рано утром мы переезжаем с дачи в город. Рано утром будут погружены воза. С ними поедут кухарка Дуняша и кучер Анатолий. Последний раз мы кричим ему с террасы:

— Хау-ду-ю-ду, Анатолий!

А он, улыбаясь веселой молодой улыбкой, отвечает нам:

— Веривел-с, барчуки!

Я не знаю, чем заняться. Останавливаюсь у окна. Гляжу и не могу оторваться от открывающегося вида. Вид из окна нашей комнаты не представлял ничего особенно интересного, к тому же я так к нему пригляделся. Под окном был громадный

огород, вдоль которого справа тянулась длинная оранжерея. Огород замыкался рощей. А от края оранжереи, под углом, высилась старая, полуразрушенная кирпичная стена заброшенного грунтового сарая. За стеной — старые сосны. Вот эта стена и темные сосны с красными стволами и обнаружили вдруг свою скрытую до сих пор таинственность и красоту. Сколько раз мы бывали под этими соснами и за этой стеной! Ничего поразительного там не было. Кучи щебня, поросшие крапивой и чернобыльником. Но что же случилось с соснами теперь? Почему я не могу оторваться от них? Какие-то ощущения, воспринятые раньше в связи с другими, овладевают воображением. Образы баллад Жуковского, ощущения, навеянные чтением Вальтер-Скотта, оживают и делают из этой старой стены и темных сосен с красными стволами что-то совершенно новое и таинственное...

Иду вниз, в наш садик. Там у каждого из нас, братьев, своя клумба с цветами. Странно! Каждый день мы поливали наши цветы, пололи грядки, знали каждый цветок, все новые бутоны. Знали «свой» садик в совершенстве. А вот сейчас он какой-то особенный. Он теперь не из отдельных клумб, которые имели каждая свое название. Он представляет теперь одно целое. Он теперь уже не наш. Он остается здесь, он чужой. А какие георгины, высокие, стройные, яркие... Какие астры, разных цветов. Как это я их не сумел видеть раньше такими, как вижу их теперь? Еще один только день, а там новая жизнь. Город. Новые люди. Гимназия, которая поглощает все...

Время тянется очень медленно. Ничего не хочется делать. Все как-то валится из рук. Наконец наступает пора идти на станцию встречать папу.

Теперь и дорога на станцию, и «большая аллея», и роща стали другими. Только теперь мы замечаем, что листва поредела и как-то подобралась. Роща стала более сквозить. Кое-где

появились желто-красные пятна на зелени, утратившей свою яркость. В садиках перед дачами мои любимые яркие георгины и астры. Опять сердце сжимается и становится грустно.

По выходе из рощи попадаем в поле. Оно сжато и убрано. Вдали, за полотном железной дороги, на горизонте, высится церковь села Коломенского. С подавленным вздохом бросаю взгляд на эту далекую, таинственную церковь. Опять прошло лето, и опять мы не дошли до Коломенского, с которым связывается столько интересных рассказов, да и собственных впечатлений от поездки туда несколько лет тому назад. Там мы видели старые церкви, трон царя Алексея Михайловича и многое другое интересное. Это — историческое место. А у нас в семье история в большом почете. Слева блестит на солнце излучина реки Москвы. Село Перерва, где прервалась река Москва. Перервинская роща, за нею Николо-Перервинский монастырь. А справа Москва, со сверкающим куполом Храма Христа Спасителя.

С поездом папа не приехал. Нужно торопиться домой обедать, чтобы не опоздать ко всенощной. Сегодня последняя всенощная в Люблине. Уже подходя к нашей даче, замечаем едущий по мягкой пыльной дороге экипаж. Это едут монахи из Перервинского монастыря служить всенощную в Люблинскую церковь. Иеромонахов присылали по очереди. Мы больше всего любили отца Нектария. Это был благообразный старик, отличавшийся от других приезжавших служить. Те были какие-то странные, порывистые в движениях, неуклюжие, скороговоркой, с неприятными интонациями совершавшие богослужение. Служба отца Нектария, напротив того, была торжественна, ясна и располагала к сосредоточенности.

Кто будет служить сегодня последнюю всенощную? Если Нектарий — хорошо будет в Москве, хорошо будет и в гимназии.

Останавливаемся на повороте и заглядываем в облако пыли. Фигура кучера скрывает сидящих в пролетке. Но вот экипаж приближается. В пролетке совсем незнакомые монахи. Возвращаемся домой несколько разочарованными. Садимся обедать. А с открытой звонницы маленькой деревянной церкви раздаются звуки небольшого колокола. Благовестят. Нас торопят с обедом. К концу его слышен перезвон тоненьких колоколов. Пора идти ко всенощной.

Маленькая деревянная церковь, стоящая против большого дома, занятого владельцем Люблина, Голофтеевым.

Она ярко освещена. Около большого образа Успенья, у левого клироса, горят разноцветные лампады, стоит большой подсвечник с большим количеством восковых свечей. На иконе гирлянды цветов. Опять георгины, опять астры. Церковь постепенно заполняется народом. Все одеты наряднее обыкновенного. Мы с братьями стоим справа от алтаря. Старший брат Паша сосредоточен и внимательно следит за богослужением. Он всегда серьезен и выдержан. Временами на его лице видно напряжение и особая молитвенная сосредоточенность. Саша, живой и подвижной, часто меняет позу. Ему не терпится, не стоится на одном месте. Он часто оглядывается, рассматривает входящих, иногда позевывает и крутит свой пояс. Маленький Володя стоит серьезно и чинно. Я, по росту и возрасту, стою между Пашей и Сашей. Я рассеян и не могу ни на чем сосредоточиться. Жалею, что не служит о. Нектарий. Гляжу на свечи и на георгины. Слежу, как Евстигней Куприянович, или просто Куприяныч, — как звали его его жена Аграфена Федоровна, и владелец Люблина, Голофтеев — маленький на своих кривых, «как у кавалериста», ногах, переходит от иконы к иконе и ставит свечи, снимает нагар с больших свечей. Евстигней Куприяныч сегодня в новом, длинном пиджаке, который ему очень широк. Он всегда особенно торжественен в церкви.

Поставив свечку, он крестится, не донося руки до лба, и кланяется, немного подгибая колени своих старых, больных ног. Он же ходит по церкви с тарелочкой и позванивает маленьким колокольчиком, который надет на его толстом мизинце. Мы очень любим Евстигнея Куприяновича и нам приятно видеть его в церкви, где он так деловито-спокоен и торжественен.

Не могу сосредоточиться. Слова молитвы, пение, все пролетает мимо моего внимания. Вот вошла в церковь высокая, стройная, красивая Вера Александровна — «молодая Голофтеева». Ее все называли красавицей. И мне она очень нравится. Но мне ее как-то жаль. Это чувство прочно установилось с тех пор, как состоялась эта свадьба красавицы Веры Александровны с рыжим и очень некрасивым молодым Голофтеевым. Свадьба была шумно отпразднована несколько лет тому назад. Тогда у нас все жалели Веру Александровну. Жалею я ее и теперь, глядя на ее красивое и печальное лицо, следя за тем, как усердно она молится и отирает слезы...

Издали доносятся четкие удары конских копыт. К церкви приближается кавалькада. Вот она останавливается у самой церкви. Общее внимание приковывается к группе лиц, довольно шумно входящих в церковь. Впереди в костюме амазонки, с хлыстом в руке и в низком цилиндре на голове, появилась маленькая, изящная дачница Сумкина. Ее сопровождают какие-то незнакомые мужчины в крагах, перчатках, с хлыстами. Эта компания заняла сразу много места в церкви. Сумкина опустилась на одно колено, низко склонила голову. Сильно прижимая правую руку ко лбу, часто-часто крестится. Мужчины, скучая, рассматривают церковь. Через несколько минут Сумкина встает, взор, полный молитвы, бросает на икону Успенья и быстро выходит из церкви, сопровождаемая своими кавалерами. Через несколько мгновений раздается топот уносящейся кавалькады. Что-то чуждое настроению собрав-

шихся ворвалось в церковь, мелькнуло, как залетевшая птица, и унеслось прочь.

Гляжу на образ Успенья, утопающий в цветах, заставляю себя уловить слова молитвы. Слышу: «Свете тихий святыя славы... пришедши на запад солнца, видевши свет вечерний...»

Свет вечерний... Да, я хочу Света вечернего... Я не хочу так, как Сумкина...Чего не хочу? Что так, как Сумкина? Я не знаю. Я взволнован и совершенно утрачиваю нить всенощной. Машинально, вместе с другими, прикладываюсь к образу. Не замечаю даже любимого «Слава в вышних Богу»... Не вижу больше никого. Слезы Веры Александровны, Сумкина, топот уносящейся кавалькады, Свете тихий... Свет вечерний... Я смущен, подавлен, растерян. Мама дотрагивается до моего плеча. Я овладеваю собой. Прихожу в себя. Начинаю усиленно креститься. Замечаю, что всенощная подходит к концу.

А я еще ни о чем не успел помолиться.

— «Христе, Свете истинный, просвещаяй и освящаяй всякого человека, грядущего в мир, да знаменуется на нас свет лица Твоего...» — произносит священник слова молитвы. А хор, не давая докончить знакомые слова, громко начинает: «Взбранной воеводе победительная»... Мы становимся на колени.

Вот и последняя всенощная кончается, а я не помолился ни о чем. Мне становится очень грустно. Усердно крещусь, кладу земные поклоны и шепчу:

— Господи, помоги мне хорошо учиться и быть хорошим человеком.

Мысленно пробегаю промелькнувшее лето. Ощущаю надвигающуюся гимназию. Чувство сожаления и раскаяния овладевает мной. Лето ушло. Летние работы сделаны не осо-

бенно отчетливо. Где опора? На что надежда?.. Я молюсь, молюсь горячо, пламенно, отрадно.

— «От всяких нас бед освободи, да зовем Ти. Радуйся Невеста неневестная!» — раздаются последние слова песнопения.

Дома вечерний чай. Папа сидит на террасе и читает «Русские Ведомости». Это последний чай на даче. Рассказывают о появлении в церкви Сумкиной. Не отрываясь от газеты, папа произносит:

— Пустая бабенка.

Это новое определение поразившего меня явления не утрачивает противоречий, которые я не умею примирить.

Скоро нас, детей, отправляют спать. Укладываюсь в постель. Еще только одна ночь на даче. Почему ничто не привлекает меня в городе? Вероятно потому, что он, этот город, весь поглощен гимназией.

Я уже начинаю засыпать, как вдруг слух мой напрягается. Сон летит прочь. Я весь сосредоточен на волнующем меня звуке. Мерные удары далекого, гулкого колокола доносятся откуда-то издали и заполняют тишину ночи. Звуки несутся издалека. Но я различаю их ясно и отчетливо. Звуки далекого, таинственного колокола будят образы и представления, которые быстро сменяются одно другим. Это колокол далекого монастыря... Это призыв о помощи... Это набат, возвещающий и зовущий... Я знаю, что эти звуки скоро кончатся. И тем более хочу, чтобы они продолжались долго, долго, всегда. Но вот напряженным слухом ловлю умирающий звук последнего удара. Все кончено. Колокол замер. Я знаю, что это не колокол, а старые часы в квартире Аграфены Федоровны и Евстигнея Куприяновича. Часы стоят в углу гостиной, как раз под нашей комнатой. Но мне не хочется расстаться с мечтой и вызванными образами, навеянными этим далеким, таинственным вечер-

ним звоном, который слышу в последний раз. Расстроенный и взволнованный, не скоро засыпаю.

И вот наступает Успеньев день. Быстро вскакиваю с постели. Вместе с братьями поспешно умываемся, одеваемся, совершаем утреннюю молитву, пьем чай с «французскими» булками и идем к обедне.

Утренняя служба совсем иная, настроения совсем не те, что вчера у всенощной. Нет и следа смущений вчерашнего вечера, но зато нет и вчерашних очарований. Обедня проходит, как много других обеден. Отношение внимательное, но безразличное. Поют плохо. Бодро думаю, что скоро в Москве мы услышим прекрасное пение в церкви Межевого Института. Там хор «воспитанников» поет несравненно лучше этих наемных певчих...

После обедни быстро проходит завтрак. Помогаем убрать последние вещи. Теперь делать больше решительно нечего. Снова подкрадывается томление. Побродив по террасе, по садику, идем прощаться с любимыми местами. Нечего и думать о Царицыне. Туда нужно ехать по железной дороге. Не успеем сходить и в наши любимые Кузьминки. Это самая интересная и занимательная прогулка. Кузьминские пруды, каналы, каменные мостики через них, висячий железный мост, зыблющийся под ногами, на котором непременно нужно покачаться, памятник, березовая беседка, чудесные бронзовые фигуры коней на конном дворе и у фермы, княжеский дом, пристани со львами, паром между пристанями, колоннады, портики, манящие, заболоченные концы прудов, заросшие осокой и камышом, белая церковь Влахернской Божией Матери... Все это было полно очарования и делало нам, детям, особенно дорогой эту «подмосковную».

Времени остается мало. Приходится ограничиться нашими люблинскими местами.

Идем мимо церкви к «большому дому». Дом белый, с зеленым большим куполом и четырьмя выступами в виде креста. Выступы соединяются полукруглыми террасами с колоннами. Дом в плане должен был воспроизвести Анненский крест. Предание передает, что давний владелец Люблина, Дурасов, дослужившийся до ордена св. Анны, в ознаменование этого торжественного события, решил построить на самом высоком месте своего имения большой каменный дом в виде креста св. Анны. Плафоны дома, говорят нам, расписаны итальянцем Скотти. На вершине большого купола, увенчивающего здание, была поставлена статуя, изображавшая св. Анну Пророчицу. Статуя простояла много лет. Но со временем стала выветриваться и понемногу разрушаться. Куски гипса стали отваливаться. В пустоте статуи однажды завелся рой пчел. Статую наконец сняли, чтобы не случилось беды. Долгое время купол ничем не был возглавлен. Но вот однажды на куполе появились рабочие и стали что-то устанавливать. На вопросы, обращенные к Аграфене Федоровне, жене управляющего, что это хотят делать на крыше голофтеевского дома, она махала рукой, поджимала губы, делала строгое лицо и низким голосом говорила:

— Грех-то какой, прости Господи! Идола задумали ставить!

— Какого идола? Какого идола, Аграфена Федоровна?

— Да как же! На месте святой Анны Пророчицы какого-то голого идола Апалона хотят поставить. Не к добру это! Быть греху!

Через несколько дней на вершине зеленого купола, действительно, красовалась легкая, стройная фигура Аполлона Бельведерского с протянутой рукой и перекинутым через нее плащом.

Дачники ходили смотреть на голофтеевскую затею. Стали приходить и крестьяне из окружных деревень смотреть на чудо:

— Голофтеев идола на крышу поставил!

Но торжество Аполлона и Голофтеева продолжалось недолго. Восторжествовала Аграфена Федоровна с ее предсказанием. Всего несколько дней простоял Аполлон на голофтеевской крыше. Как-то ночью полил обильный дождь. Поднялся ветер. Налетела буря. Порыв ветра ударил в плащ Аполлона. Греческий бог не устоял на голофтеевской крыше и с грохотом низвергся на землю, разбившись в куски. На утро весть о падении Аполлона облетела Люблино. Старые и малые, дамы в утренних туалетах спешили на место катастрофы. Факт на лицо. Аполлон был низвергнут не человеческой силой. Аграфена Федоровна восклицала:

— Я говорила! Грех-то какой! Какое искушенье! Хорошо, что еще так отделались... Скажите, пожалуйста! На место святой Анны Пророчицы, да голого идола хотели поставить!

— Ну, что же будет теперь, Аграфена Федоровна?

— Да, конечно, опять поставят Анну Пророчицу.

Много времени купол оставался пустым. Наконец, на куполе появилась маленькая статуя Анны.

Аграфена Федоровна торжествовала.

Обходим большой дом. Идем к старому вязу, такому старому, что ствол его и громадные ветви стянуты железными обручами.

Идем дальше по темной аллее из старых елей. Спускаемся к маленькому пруду. Он совсем черный, немного жуткий. На нем есть таинственный остров. Он очень маленький и весь глухо зарос высокими елями и глухими кустарниками орешника и бузины. Выходим к реке. От воды пахнет по-осеннему.

Вода стала прозрачнее. Она уже другая, не наша летняя, чужая. Идем по берегу реки. Поднимаемся на полотно железной дороги. Под полотном большой каменный туннель, соединяющий два большие пруда, образуемых запруженной речкой Голедянкой. Туннель для нас живой и хорошо нас знает. Мы с ним ведем постоянные разговоры. Сколько раз он с ясной точностью отвечал нам на наши восклицания, радостные, смешные, воинственные! Чем громче было восклицание, тем отчетливее отвечало нам эхо железнодорожного туннеля. Кричим, и сейчас:

— Прощай! Завтра уезжаем в Москву!

Сегодня туннель отвечает что-то плохо. Среди гула разбираем только:

— Ай... уу...

Эхо или не в духе, или не хочет, чтобы мы уезжали.

Идем дальше на обрыв. На вершине старое кладбище. Низкорослые сосенки. Низенькие холмики могилок. Старые покривившиеся кресты. Каменные плиты, покрытые зеленожелтыми лишаями и мхом. Местами, вместо могильных холмиков — провалы и углубления с покривившимися надгробиями. Это — старообрядческое кладбище. Оно кончается большим песчаным обрывом. Наиболее высокие части обрыва получили названия. Я назвал свою возвышенность Фровардом. Паша назвал свою Мысом Доброй Надежды.

Через поле идем на наши курганы-бугорки. С них видно во все стороны. С них видна Москва, «как на ладони». Она тянется длинной серо-лиловой полосой. Над ней всегда висит дымка, как бы полоса тумана.

— Это пыль над Москвой, — говорят старшие.

Но и среди этой дымки и пыли сверкают золотые главы московских церквей и горят на солнце купола Храма Спасителя.

Москва далекая, манящая, зовущая, таинственная, жуткая — протянулась далекой туманной полосой на далеком горизонте.

По низкому деревянному мосту возвращаемся в Люблино. Идем вдоль болотистых берегов Голедянки. Речка уклоняется в сторону и скрывается среди высоких, черных, старых деревьев и среди непролазных кустов. Мы называем эту чащу лесами Южной Америки, а Аграфена Федоровна полушёпотом, сдвинув брови, эти места называет «царскими кухнями». Такое неожиданное название было дано летней резиденции обитателей Московского Хитрова рынка, завсегдатаи которого летом превращались в «грибников». Ни у кого никогда не было таких прекрасных белых грибов, как у этих людей, очень оборванных и очень мрачных. Про них шёпотом Аграфена Федоровна рассказывала разные страшные истории, связывая «царские кухни» с двумя постоялыми дворами, носившими название «двориков». Слава этих двориков была не очень добрая. Там, как говорили, «пошаливали».

Обход Люблина кончен. Идем домой. Заходим к Аграфене Федоровне и Евстигнею Куприяновичу проститься. Она, ласковая, хлопочет, ставит на стол варенье и мармелад. Хочет ставить самовар. Мы отказываемся. Из маленькой спальни выходит в одном жилете Евстигней Куприяныч. Объясняет, отчего служил обедню не отец Нектарий, а другой монах. Очень хвалил пение приезжавших из Москвы певчих. Прощаемся с пожеланиями увидеться на будущее лето.

Все кончено. Люблино, лето, Кузьминки, дворики, царские кухни — все это прошлое.

Завтра Москва! Завтра начинается новая жизнь...

Уход из Межевого Института

В ту пору, когда мы сидели один за другим в разных классах гимназии — старший, Паша, был в пятом классе, а младший, Володя, в первом — у нас в семье произошло событие большой важности, оказавшее влияние на всю нашу дальнейшую жизнь.

Однажды отец вернулся из Института сам не свой. Таким мы его никогда не видали. Он был бледен, сдерживал себя, но не мог скрыть своего волнения, раздражения и гнева. Он позвал маму Юлию Михайловну в кабинет, запер на ключ двери и приказал никого не принимать. Что-то случилось. Таким папу мы никогда не видали. Долго в кабинете шел разговор, прерываемый иногда громкими восклицаниями отца:

— Да нет, ты послушай, какая низость! Нет, ты скажи мне, где же совесть, где честь у этих людей!

Потом опять слова были неразборчивы, и мы только воспринимали взволнованный тон отца. Снова прорывались отдельные фразы.

— Да так никто ничего не понимает. Все разводят руками, выражают свое негодование, говорят, что так этого дела оставлять нельзя! Говорят, что тут какое-то недоразумение, нужно ехать в Петербург.

Потом из кабинета долетели слова отца:

— Какая низость! И это из-за того, что я с ними не играл в карты. Понадобилось место для своего человечка... Впрочем, на все воля Божья...

Становилось понятно из этих долетавших отрывков, что случилось... Произошло что-то, что обрушилось на нашего отца, обрушилось нежданно, негаданно. Совершилась какая-то большая несправедливость, жертвой которой стал наш отец. Но

кто повинен в этом, где причины, не знал и отец, тем менее они были понятны нам.

Из кабинета между тем вышли отец и мама Юлия Михайловна. У обоих настроение было приподнятое. Но они оба справились с собой. Отец, видя наши смущенно-вопрошающие взгляды, улыбнулся нам и сказал, как бы продолжая свой разговор.

— Никто, как Бог, дети. Юля вам расскажет, что случилось. Ничего, не потеряемся, не пропадем. Бог не выдаст, свинья не съест. Вины за собой не вижу. Поеду, посоветуюсь с добрыми людьми. Вот не ждал, не гадал! Ну, да Бог милостив.

С этими словами отец уехал к князю Владимиру Михайловичу Голицыну, с которым связывали его давние добрые отношения. Он был врачом в их семье.

Мама Юлия Михайловна повела нас в папин кабинет. Мы сели на диван и в кресла. Мама, затворив двери, села у папиного стола и стала нам рассказывать о том, что случилось. Мы все тут были, и Володя, гимназистик 1-го класса, тут же сидел в глубоком кресле, внимательно слушая рассказ мамы.

Рассказ был краток. Внутренний смысл его был ясен. Мы его уже уловили из слов папы, долетавших до нас из кабинета. Оказалось, что из Петербурга, из Управления Межевой частью, неожиданно для всех и без всякого предупреждения, было получено уведомление о том, что отец наш отчисляется от должности врача Константиновского Межевого Института, согласно прошения, а на его место назначается петербургский доктор Михайлов, лечивший в Петербурге семью нового директора Института, генерала Кострова. Как все это произошло, в чем вина отца — никто не знает. Все это будет выяснено. Правда должна восторжествовать тем более, что совершилась величайшая несправедливость, которой и имени нет.

Вот и все, что мы узнали на нашем первом семейном совете. Как должна была восторжествовать поруганная справедливость (а что она была поругана, какие могли быть у нас сомнения!), мы не знали. Одно стало для нас непреложным, это — явно враждебное начало Петербурга. Там, и только там, источник несправедливости и произвола. Все, что мы слышали раньше в смысле осуждения Петербурга, как собирательного целого, что раньше было отвлеченное, не связано с нашей жизнью, вдруг получило полный смысл и теперь понятное нам содержание. Отвлеченные для нас до сих пор понятия — несправедливости, произвола, самоуправства, незаслуженной обиды — оказались теперь полны значения и живого содержания. Острую боль обиды, обиды кровной, испытали мы со всей силой первого детского впечатления. Петербург! Кто это там смеет обижать нашего отца!

История с отцом так и осталась и для него, и для всех его друзей загадкой. Поездки в Петербург ничего не разъяснили... Бесспорно установлено было, что никакой вины за отцом не было. Там, в Межевом Управлении, пожимали плечами и отмалчивались, а в частных разговорах, понижая голос, говорили: «Понадобилось место для доктора, который лечил семью нового директора — ну, вот и пришлось это устранить. Конечно, вышло очень неловко. Но, знаете, теперь нельзя ничего сделать, может пострадать престиж власти!»

Так ничего и не добились. Престиж власти восторжествовал, а бедная «справедливость» должна была отойти в сторону, как «дальняя и скучная, надоедная родственница».

Сотоварищи по службе трогательно проводили отца. Большинство из них осталось его верными пациентами. Очевидно, не в недостатке медицинского искусства и человечности было дело. Попросту, московский врач оказался не ко двору при дворе петербургского генерала, приехавшего наводить

свои порядки в Межевой Институт после Ал. Л. Апухтина, переведенного в Варшаву.

После этого мы переехали в Большой Казенный переулок, близ старого Курского вокзала, в небольшой деревянный домик с мезонином. Отец купил этот дом у мещанина Кондратьева, торговавшего старым железом. Дом был старенький. В нем помещалась камера мирового судьи Яузского участка С.И.Печкина. Дом был запущен, грязен, полон громадных крыс. При ремонте дома в земле найдено было чугунное ядро. Это — остатки французов.

Дом привели в порядок, обновили, крыс повыгнали, и в нем разместилась на новое жительство вся наша семья, к тому времени уже подраставшая. Началась новая полоса в нашей жизни. Время залечивает всякие раны. Забылись и жгучие впечатления от обиды, причиненной отцу и всем нам «Петербургом». Но враждебное отношение к Петербургу и царящему в нем строю сложилось прочно и неизменно. Мы совершенно были готовы воспринять призывы к защите идей права и правды, к защите прав личности, по опыту зная, что значит их нарушение.

Так было для нас. А для отца это событие было тяжелым. Он пережил его мужественно, но с этого времени началось его старение. Он стал еще больше предан церкви и еще шире открыл свои двери для «униженных, обиженных, угнетенных и обремененных». Все его время уходило на посещение подвалов, коечных и каморочных квартир, углов и ночлежек. Среди этого московского дна он стал нужным и близким человеком. Московский Хитров рынок знал его и называл — «наш доктор Иван Николаевич». Однажды, поздно, морозным вечером, отец возвращался домой пешком от больного. Путь его был по Покровскому бульвару, слабо освещенному редкими керосиновыми фонарями. Он шел в шубе и меховой шапке. Бульвар

был безлюден, место глухое, поблизости был Хитров рынок с его ночлежками и притонами. Дорога была для отца знакомая, места привычные. Вдруг из темноты выделяются две фигуры, быстро направляются к отцу и начинают стаскивать с него шубу. Но вот один, вглядевшись в лицо отца, отскочил и смущенно пробормотал: «Извините, господин доктор Иван Николаевич. Мы ошиблись!» И обращаясь к недоумевающему товарищу, проговорил: «Идем, Ванька, это наш господин доктор».

Вскоре как-то сама собой стала развиваться работа, которая получила название общественной работы — работа многих на общее благо. Среди этой работы отцу принадлежало видное место.

В Казенном переулке

После упомянутого события в нашей семье окрепли и определились яснее наши внутренние взаимоотношения. Кончилось детство. Началась новая пора жизни и для всей семьи, и для каждого из нас. Переезд из Константиновского Межевого Института в Б. Казенный переулок оторвал нас от беспечного детства. Жизнь показала нам свой новый облик. Борьба, ответственность, условность человеческих отношений, условность в жизненном обиходе понятий, абсолютная бесспорность которых провозглашалась в семье — все это вырастало вместе с нашим ростом, подчеркивая противоречия и ставя новые и сложные вопросы.

Тут уже довольно четко наметились индивидуальные черты нас, четверых братьев, близких друг к другу, дружных, и в то же время разных по внутренним свойствам и по отношению к новым сторонам жизни.

Старший, Паша, во всех поступках, во всем поведении и внутреннем отношении к людям, близким и чужим, без колебаний и сомнений руководился сознанием долга и ответственности перед высшим в мире началом, перед Богом. Цельность его миросозерцания сложилась в ранних детских летах и осталась ненарушенной в течение всей жизни. Таким он был всегда, с самого раннего детства, и с ростом его эти свойства только укреплялись и получали новое обоснование. Долг и ответственность в жизни, труд и жертва на пути достижения конечных целей, поставленных человеку при проведении в жизни добра и правды. Склонность к углублению своей ищущей мысли, но мысли, которой он не позволял отрываться от незыблемых для него основ, лежащих в глубоком религиозном настроении. В связи с этим, признание авторитетов и послушное следование за их указаниями в области веры и морали.

Не то представлял собой Саша. Пылкий и неудержимый в своих порывах, он не искал философских обоснований своего отношения к жизни и людям. Но в этих отношениях у него не было колебаний и неясности. На все вопросы, которые ставила перед ним тогда еще маленькая жизнь, он отвечал сразу и безошибочно, черпая ответы из своей прямой и честной натуры, из здорового инстинкта, на который, как на чудесную почву, падали и давали чудесные всходы заветы семьи. Это про него, про нашего Сашу, про его прямоту, не ведающую компромиссов и извилистых путей, отец говорил: «Наш Саша, вот образец израильтянина, в котором несть льсти». И эти черты он пронес через всю свою жизнь, оборвавшуюся так трагично.

Володя к тому времени был еще очень мал. Но и его отношение к внешнему миру было ясно и не допускало колебаний. Уклад семьи — что сказали бабушка, папа, Юлия Михайловна — вот закон, который нельзя нарушить.

Несколько иначе складывались у меня отношения и внешние, и внутренние. Люди все мне казались и интересными, и прекрасными. Всякая встреча с новым лицом и приветливое его отношение вызывало во мне восклицание, обращенное ко всем: «А знаете, это очень хороший человек. Нет, правда, он очень хороший», торопился я ободрить самого себя, если не находил в окружающих поддержки.

— У тебя все хорошие, ты очень доверчив, смотри, обожжешься. Нужно уметь разбираться в людях.

Это был голос жизненного опыта, который вызывал недоумение, протест, но и охлаждал немного мою пылкость и доверчивость.

Улавливаемые противоречия между принципами и фактами жизни оставляли во мне глубокий след. Иногда меня влекли абсолютные идеалы, и хотелось им одним посвятить свою жизнь. В мрачных чертах рисовалось зло в мире, порок. Навеянные рассказами бабушки образы отшельников, пустынников, затворников влекли к себе. В Кузьминском лесу я даже высмотрел глубокий овраг, где можно было бы устроить себе шалаш-келью. Это было в раннем детстве. А потом приходили мысли о жизни в монастыре... Но все это разлеталось как дым, когда слушал рассказы о жизни, об ее увлекательных сторонах, когда, читая, обнаруживал ее несравненную прелесть и интерес. Тогда томительно хотелось чего-то другого. Не только отшельничество забывалось, но и обстановка семьи казалась чему-то мешающей. Это «что-то», таинственное и неведомое, влекло неудержимо. Между этими оторванными друг от друга состояниями не было соприкосновений. Колебания между жизнью, как все, и отречением от нее, как немногие, были обычным состоянием моего настроения, которое часто бывало мрачным, неспокойным, иногда мечтательным, иногда, как говорили, склонным к хандре.

Каждый из нас вносил свои настроения в общую гармонию семьи. Диссонансы бывали, но они быстро исчезали и исправлялись Юлией Михайловной, которая ласковой рукой, задушевным словом останавливала устремление в сторону от линии семьи, восстанавливала нарушенное равновесие, предотвращая опустошения от налетавших временами на молодые души гроз и бурь.

Мама Юлия Михайловна была нашим неизменным другом и наставником. И во все времена нашей жизни она оставалась и другом, и наставником. Мы не имели от нее тайн. Мы охотно поверяли ей все новые движения души. Это стало потребностью. Раньше это были маленькие заботы, маленькие тайны. С годами в ее «исповедальню» мы шли по собственному побуждению, с более значительными вопросами взволнованной души и совести.

Вечером, когда она уже была в постели, кто-нибудь из нас заходил в ее спальню, присаживался на край ее постели и начинал рассказывать и то, что было, и то, что хотелось, чтобы было, что волновало, что смущало, что казалось непримиримым противоречием с правилом жизни. Она знала все наши стремления и увлечения, все наши сердечные тайны были ей открыты. Она обладала изумительной способностью вызывать доверие не только нас, которых она воспитала, но всех, кто имел случай соприкоснуться с ней. Она была не только пассивной слушательницей, но истинным другом, который бережно, не вторгаясь в смятенное настроение исповедующегося перед ней (а такие разговоры с ней именно и были добровольной исповедью, так облегчавшей душу и совесть), помогала расплести, казалось, совсем запутанный клубок мыслей, поступков, противоречий. Все это делалось кротко, ласково, умно и с величайшим тактом и доброжелательством.

Эти вечерние разговоры с ней вели все мы, братья, во все времена нашей жизни. Особенно эти разговоры становились часты и напряженны, когда на кого-либо из нас налетало увлечение. А так как нас было четверо и крылья увлечения касались нас и порознь и вместе, то исповедальня мамы Юлии Михайловны не пустовала. А потом, когда мы выросли, к ней на исповедь за утешением, за советом, за помощью в тоске, унынии и отчаянии, за целительным елеем, который она должна была излить на душевные раны — стали приходить другие. И для всех она находила и слово бодрое, и ласку, и уменье передать свою веру. Много смятенных душ сумела она спасти и удержать от отчаяния и гибели.

И так до самого конца.

Круг друзей и близких отца с переездом в Б. Казенный переулок сомкнулся. Остались только действительно преданные друзья. Среди них Андрей Григорьевич Полотебнов, оба князя Мещерских, Страхов, Дюшены, Эгерты и несколько других. Чаще стал наезжать к нам из Тамбова дядя Митя, брат нашего отца. Его приезд вызывал в нас двойственное чувство. Мы очень любили дядю Митю, ласкового, благодушного, красивого, как нам казалось. Он был инспектором Тамбовской Духовной семинарии, жил всегда в Тамбове, на Араповской улице. Из Тамбова, с берегов Цны, от преподобного Питирима, от Трегуляевского монастыря, дядя Митя приезжал в Москву повидать брата, посоветоваться с ним о здоровье, побывать в московских театрах. Наша радость, вызванная приездом дяди Мити, омрачалась появлением вместе с ним его жены, Александры Фаддеевны. Это была явно ненормальная женщина, с величайшим трудом переносимая в общежитии. Раздражительная, неопрятная, шумная, она отравляла существование дяди Мити, который, однако, с кротостью и смирением нес, как про него говорили, свой крест.

Если удавалось отвлечь внимание Александры Фаддеевны, и дядя Митя освобождался от ее нестерпимого общества, он обнаруживал всю мягкость и изящество своей натуры. Он был немного провинциален, старомоден, но был умен, образован, добр и безмерно благодушен. Так всю свою жизнь и свековал со своей сумасшедшей женой, твердившей целые дни о чудодейственной силе «черных глаз», о преступности, коварстве серых глаз. Все люди ею расценивались по цвету глаз. Умер он при несколько загадочных условиях. Предполагали даже убийство. А вскоре после смерти дяди Мити какой-то проходимец с черными глазами дочиста обобрал тетушку Александру Фаддеевну, бывшую долгое время притчей во языцех в Тамбове.

Иногда к нам наезжали из глуши той же Тамбовской губернии наши двоюродные сестры, молоденькие девушки из семьи Серповского, сельского священника села Гагарина. Маня, постарше, милая, веселая девушка с нежным сердцем и мечтательным настроением. Младшая, Зина, подросток, младшая дочь гагаринского священника. По обычаю сельского духовенства, за младшей дочерью священника оставался и приход. Женившийся на младшей дочери умершего священника «кончалый» (так называли семинариста, окончившего курс семинарии и искавшего «невесту с местом») обычно получал вместе с невестой приход. Поэтому маленькую Зину звали «гагаринской попадьей».

Обе девочки по-разному относились к Москве, ее улицам, церквам. Маня ахала и шумно восхищалась всем. Зина таращила свои большие глаза, но находила, что ее гагаринская церковь ничуть не меньше Богоявления в Елохове и вообще Гагарино имеет такие преимущества, которых нет в Москве. А барские дома в имениях Козлова, Жеребцова не уступают, по

ее убеждению, московским дворцам. Зина была большая патриотка своего Гагарина.

В старших классах гимназии я любил писать стихи. Маня была в восторге от моих стихов и часто вместе с няней Акулиной просила почитать ей «стишки». Особенно ей нравились баллады и лирические стихотворения. Неизменно просила она декламировать ей стихотворение о потоке. Это было подражание Алексею Толстому, на его «Минула страсть». Как у Толстого, первая часть стихотворения говорила о минувшей страсти, об успокоении, о разочаровании:

Тихо все. Я спокоен душой.
Прежних грез мне не жаль,
И туманная даль
Не влечет меня прежней тоской.
Сердце полное юных желаний,
Тихой грусти и скрытых страданий,
Не трепещет в ответ
На случайный привет,
И уж нет в нем былых ожиданий.
Стихотворение кончалось так:
И спокойно с высот
Я гляжу, как ревет,
Как клокочет, кипит и бушует
Меж горами поток.
И широк, и глубок
Он, могучий, клубясь, негодует.
А в безбрежной дали,
По простору степи,
Те же воды спокойные льются.
Но не видно волны,
И покоя полны
Они к морю Бесстрастно несутся.

Не знаю, что волновало няню Акулину и Маню в этих стихах, но только они обе разливались слезами, когда я с чувством и выразительностью читал эти стихи.

Требовали от меня иногда страшных рассказов. С должным выражением и таинственным недосказом передавал я содержание страшных рассказов Эдгара По. Внимание моих слушательниц напрягалось по мере развития рассказа. Маня, не моргая и полуоткрыв рот, смотрела мне в глаза. А Зина, по мере того, как рассказ становился все страшнее и таинственнее, все больше отворачивалась от меня, отводила глаза в сторону... Когда рассказ обрывался на самом страшном месте, когда привидение исчезало, но оставляло после себя весь ужас неразгаданной тайны и подавленность, вызванную проникновением в реальную жизнь таинственных призраков потустороннего, когда я замолкал, сам взволнованный и взволновавший моих доверчивых слушательниц, Маня испускала тяжелый вздох и шептала: «Как страшно!» А Зина произносила: «Ух, постылюха!»

Церковь 4-й гимназии

После переезда из Константиновского Межевого Института в Б. Казенный переулок нашей приходской церковью стала большая церковь Воскресенья в Барашах на Покровке. Церковь громадная, нескладная в архитектурном отношении, с короной на вершине. Здесь Императрица Елизавета венчалась с графом Разумовским. Привыкшие к домовой церкви Межевого Института, мы на Страстной неделе говели в церкви 4-й гимназии на Покровке, в бывшем доме гр. Разумовского, известном в Москве под названием «комод». Нас, гимназистов, включили в состав импровизированного хора, который составился из нескольких учителей и воспитателей 4-й гимназии и двух-трех гимназистов, не уехавших в отпуск на Страстную и Пасху.

Хором управлял седенький старичек Виноградов, певший тоненьким тенорком. Басом пел маленький, большеголовый, с лицом, изрытым оспой, учитель чистописания. У него были маленькие бесцветные глазки, нос, как раздвоенная луковица, руки коротышки, немного кривые, коротенькие ноги. Он был мало благообразен и как бы чувствуя это, держался очень скромно и конфузливо. Он покорно принимал на спевках замечания Виноградова, когда вступал не вовремя или тянул неверную ноту. Наш бас был мало заметен в хоре, он не столько пел, сколько жужжал. Но иногда, на замечание регента или на чью-либо фальшивую ноту, он подавал короткие реплики таким тоном и с выражением такого комического ужаса на лице, что все покатывались со смеха, несмотря на великопостное пение, а он уже стоял сконфуженный и безобразный, моргая своими белыми глазами. Каково же было общее изумление, когда через много лет в знаменитом Артеме Московского Художественного Театра мы узнали участника нашего хора, гудевшего пчелиным баском, учителя чистописания 4-й гимназии, превращавшего неудачи маленького хора в веселую шутку.

Пели мы в хоре с увлечением. В трио «Да исправится молитва моя» мы принимали участие. Очень нравились нам все песнопения Страстной недели. Пели и «Чертог Твой вижду, Спасе мой», и «Волною морскою», и «Разбойника благоразумнаго», пели и всю заутреню.

Настоятелем маленькой церкви 4-й гимназии был старенький священник с черненькими глазками, с торопливыми движениями и скороговоркой. В те годы наши религиозные настроения были еще свежи и не затронуты сомнениями своими или порожденными чужими шутками или скептицизмом. К исповеди и причастию мы приступали с чувством глубоким и

сознанием значительности того, что делалось. Но вот тут и произошел «соблазн», оставивший след на всем последующем.

Однажды, в среду на Страстной неделе, я ждал своей очереди, чтобы войти в алтарь к исповеди. Припомнил и привел в систему все мои грехи. Работа мысли по классификации своих грехов была согрета искренним признанием, что то, что сделано, действительно расходилось и с законом Божиим, и с правилами, принятыми в нашей семье. Я готов был открыть свою душу, рассказать о своих грехах, признать их, покаяться и горячо пожелать всем сердцем, чтобы их вновь не повторять.

С таким настроением я вошел в маленький алтарь. Старичок священник неожиданно и торопливо спросил меня:

— Ты сынок Ивана Николаевича, доктора Астрова?

Я ответил утвердительно и готов был начать свою исповедь, как вдруг батюшка заговорил торопливо:

— Знаешь, там приехала из-за Москва-реки купчиха сюда исповедоваться. Она вкладчица. Нельзя, чтобы она дожидалась. Ну, ты табачек покуриваешь?

— Нет, батюшка, я не курю, — смущенно бормочу я.

— Не куришь? Это хорошо. А нынче все курят! С барышнями танцуешь?

— Да, батюшка, танцую.

— Ну, ну, это ничего.

Не успел я открыть рта, чтобы сказать о своих грехах, тем более, что неожиданные вопросы о табачке и барышнях перепутали все мои мысли и грехи, как голова моя уже оказалась покрытой епитрахилью и я уже услышал, что мои грехи отпущены недостойным иереем.

Я был смущен и переконфужен. Из алтаря я вышел с тяжелым чувством. Настроение, с которым входил в него, исчезло. Эта неудавшаяся исповедь сделала то, что я утратил то

чувство напряженного стремления, с которым раньше шел к исповеди.

Папины гости

Изредка у отца собирались гости. Мы, дети, не присутствовали на этих собраниях, но всегда бывали довольны, когда к нам приходили папины друзья. К этим вечерам с гостями задолго готовились. Заблаговременно приглашали кухмистера Курсопова с Таганки, который устраивал свадебные и похоронные обеды. С ним велись переговоры об устройстве ужина. Осведомившись о количестве персон, Иван Афанасьевич делал серьезное лицо, а оно было у него толстое, круглое, бритое, рябое, как-то особенно вкусно поджимал свои толстые губы и предлагал меню. Тут была непременно заливная осетрина с соусом из каперцов и оливок, индюшка, телятина, крем и десерт. Договаривались о винах и ликерах, закусках, назывались какие-то мудреные названия. Отец заявлял, что сам купит и вина, и ликеры у Скирмунта на Ильинке. Иван Афанасьевич спрашивал, нужны ли канделябры и шандалы, сколько нужно прислать людей. Договаривались, что будет прислано два «человека» и один повар. Уславливались о цене и о том, чтобы лакеи и повар были непременно трезвы и чисто одеты и чтобы не случилось, как на похоронах купца Залогина, когда выпивший «человек» облил соусом одну даму... Иван Афанасьевич клялся и божился, что все будет в полной исправности, но тут же добавлял, что теперь народ пошел такой, что с ним и сладу нет.

Наступал день прихода гостей. Вся квартира наша приобретала особый вид. Мебель сдвигалась со своих обычных мест. Становилось просторнее, но менее уютно. Стол раздвигался. На нем появлялись канделябры, вазы с фруктами. Нас кормили не в столовой, а в детской. В столовую не велено было ходить,

чтобы не простудиться, т.к. там все время были открыты форточки. Все это было интересно. А старый человек с седыми бакенбардами, расставлявший на столе приборы, казался нам особенно важным господином.

Первыми обыкновенно приезжали барон и баронесса Штакельберг. Николай Петрович Штакельберг, отставной гусар, служил в таможне, был очень шумен и весел. Был очень лыс и забавен. Умел показывать разные фокусы. У него как-то внезапно исчезали и столь же внезапно появлялись разные вещи, что приводило в восторг младших братьев. Шумно поздоровавшись с нами, ущипнув по дороге Володю, поддразнив кого-либо из нас, показав разные фокусы, внезапно сняв с уха Володи перочинный ножик, раззадорив Сашу, который непременно хотел отгадать фокус, Николай Петрович шел в гостиную, садился за пианино и начинал петь куплеты. Голос у него был хриплый, срывавшийся, но пел он с увлечением. Мы узнали от него песенку о «фонариках, сударики», которые «горят себе, горят, что видели, что слышали, о том не говорят». Заливисто пел он «крамбамбули, отцов наследство» и еще много других песенок и куплетов. Особенно залихватски выходил у него припев: «Вот они, вот, неземные создания, барышни тру-ля-ля-ля»- Все это пелось пока не собирались гости. С их появлением песни и куплеты прекращались и барон Николай Петрович превращался в степенного человека.

Его жена, баронесса Екатерина Ивановна, была совсем иного нрава. Это была высокая дама, с большими глазами на выкате, с седыми взбитыми волосами, покрытыми черной кружевной косынкой, которая красиво спадала с головы на плечи и спину. Говорила она низким, слегка хриплым голосом и почти никогда не расставалась с тоненькой папироской. Про нее говорили, что она в молодости была очень красива. Теперь же, когда прожив несколько состояний, полученных по наслед-

ству, она постарела, ей тяжело живется, тем более, что ее муж, хотя и добрый, но беспутный. Беспутный, впрочем, потому, что поет куплеты — рассуждали мы.

Вслед за Штакельбергами приходили Девальдены, священник Межевого Института, Андрей Григорьевич Полотебнов, воспитатели и преподаватели Института, доктором которого был наш отец, Автократовы, Сомов, Шубины, Семеновы, Смелков, Скритский, Людмила Аполлоновна, «мессалина» Межевого двора, И.П.Кушнерев, худой, высокий с тоненьким красным носиком С.Н.Кацауров с маленькой Ольгой Игнатьевной, его женой; их называли «многочадными» из-за обилия детей, и много других. Комнаты быстро заполнялись гостями, становилось шумно. До нас долетали дружные взрывы смеха. Мы, дети, сидели в своей комнате и дожидались наступления часа, когда нужно было ложиться спать.

Из гостиной к нам заходил кто-нибудь из гостей. Заходил священник Полотебнов в одном подряснике, с магистерским крестом, с сигарой в зубах и рюмкой ликера в руке, здоровался, осведомлялся о наших занятиях, рассказывал какую-нибудь занимательную историю, сам смеялся больше всех и уходил доканчивать игру в карты. Из залы доносился до нас шум и смех. Иногда нам удавалось различить знакомый голос. Но мы обращались в напряженный слух, когда из залы доносились звуки скрипки. Это означало, что приехал князь Иосиф Александрович Мещерский. Он хорошо играл на скрипке, а иногда читал свои переводы Мольера. Тогда в зале наступала полная тишина, нарушавшаяся дружными взрывами хохота. Как проходил ужин с канделябрами и человеками во фраках, с заливным с каперсами и оливками, мы уже не знали, ибо к этому времени спали крепким сном. Ни шум, ни хохот не нарушали нашего покоя, который охраняла всё та же наша милая бабушка Авдотья Ивановна.

Только на следующий день мы находили следы недавнего пиршества. Старые люди с седыми бакенбардами и с бритыми подбородками, в каких-то грязных кофтах, поспешно убирали в сундуки и ящики канделябры с стеклянными висюльками, вазы и цветные тарелки. На завтрак нам давали остатки заливного и остатки крема. Всё это мы поедали с удовольствием.

Старый московский доктор

Часто заходил к нам и подолгу просиживал с отцом и мамой, Юлией Михайловной, старенький доктор Преображенской больницы и Матросской богадельни Николай Петрович Страхов. С этим стариком связаны самые разнообразные и ласковые воспоминания того времени, когда мы, еще гимназисты-подростки, жадно ловили и впивали в себя впечатления жизни.

Николай Петрович Страхов прожил долгую жизнь, захватившую обе половины прошлого столетия. Он служил еще в старых дореформенных учреждениях, сам прошел через ту пору, которая была «игом рабства клеймена», которая «безбожной лести, лжи тлетворной и лени мертвой и позорной и всякой мерзости полна»...

Он со всею страстностью своего живого темперамента отдался великим реформам и, сохраняя до самой старости юношеское горение, продолжал свою скромную и незаметную работу врача богадельни и больницы для умалишенных почти до самого конца столетия.

Николай Петрович был изумительный и неиссякаемый рассказчик. Обе эпохи давали ему обильный материал для рассказов. А эти рассказы были всегда живы, содержательны, полны юмора. Он умел подмечать такие стороны в жизни, которые оставались незаметными для других. Поэтому даже

самые простые вещи в его описании получали особый смысл, даже самые страшные события он умел передать так и так осветить, что они становились не такими страшными. Всему, о чём бы он ни рассказывал, он умел сообщить увлекательный интерес.

Веселость, благодушие, неподдельный юмор в полной мере гармонировали со всею внешностью старого московского доктора.

Н.П.Страхов был небольшого роста, коренаст и широк в плечах. Его коротенькие ноги были выгнуты, «как у кавалериста» — шутил он. Но особое наше внимание привлекала его голова. Она была большая, покрытая густыми седыми волосами, зачесанными набок, но чаще взъерошенными. Его румяное лицо почти всегда было озарено улыбкой милой и ласковой, обнаруживавшей крепкие, широко расставленные зубы. Глаза светло-голубые тоже были всегда веселые и смеющиеся, а их учащенное моргание придавало всему выражению его лица несколько лукавый характер — будто он всё время кому-то подмигивал. Лицо его было тщательно выбрито и только от ушей к низу подбородка спускался густой полуовал седых волос. Эта своеобразная борода, сливавшаяся с седой шевелюрой, как у голландского шкипера, оказывалась как бы рамой, из которой выглядывала добрая, благодушная, кому-то постоянно подмигивающая физиономия.

Николай Петрович был всегда чистенько, но бедно одет и неизменно носил белый батистовый галстук, завязанный широким бантом. Зимой он ходил в меховой шубе до пяток. Головной же его убор был невероятных размеров и формы — шерстяной колпак, который ему связала и сама сваляла в мохнатую шапку его жена Софья Алексеевна. По шапке Николая Петровича можно было издали узнать на большом расстоя-

нии и разыскать в какой угодно толпе. Другой такой шапки во всей Москве нельзя было бы найти.

Если Николай Петрович был неудержимо говорлив, то его жена, милая Софья Алексеевна, была его прямой противоположностью. Она была высокого роста, весьма мало подвижна и поразительно молчалива. А когда начинала говорить, то речь её была медленна, монотонна и как-то замирала, не дойдя до конца. Как будто ей самой становилось неловко и невероятно скучно слушать самое себя. Но при всём этом она была активно добрым человеком, не устававшим излучать любвеобильную доброту и помогать людям в их неизбывной нужде. Только всё это она делала не торопясь, без шума и без слов.

Николай Петрович приходил к отцу, как он говорил, «поболтать», по воскресеньям после обедни, к пирогу с капустой. Когда все уже сидели за столом, раздавался звонок в передней и уже оттуда слышался громкий и веселый голос Николая Петровича, который начинал рассказывать что-то очень интересное, только что случившееся на улице или у обедни, горничной Анюте, снимавшей с него шубу. Анюта ахала и громко восклицала. А Николай Петрович, широко улыбаясь, входил в столовую, широким жестом делал общий поклон, здоровался с отцом и Юлией Михайловной, со всеми нами, и, садясь за стол на обычное свое место, справа от отца, начинал:

— А знаете, Иван Николаевич, что однажды случилось в Калуге в 1846 году? Я тогда был еще молодым врачом...

И Николай Петрович начинал рассказывать какую-нибудь занимательную историю из давнего прошлого. Мы обращались в слух, зная, что история будет нова, интересна, из другого мира и притом рассказана изумительно живо.

Николай Петрович выпивал рюмочку темного зверобоя, вкусно крякал, мимоходом рассказывал что-нибудь о зверобое, закусывал селедкой, осведомившись, у кого и почём покупали

селедку, у Мурысова или у Колганова, наставительно замечал, что к Скребетову на Немецком рынке привезли свежего судака, принимался за пирог с капустой, похваливал и пирог и закуску, и возвращался к прерванному рассказу о калужском случае.

Запас рассказов у Николая Петровича был неистощим, а охоты рассказывать ему не приходилось занимать. Эти рассказы для нас, подростков, открывали всё новые и новые области интересов, знакомили нас с жизнью старой, уже миновавшей эпохи. Помню свое настроение как бы некоторой гордости, когда Николай Петрович подчеркивал разницу между суровостью и бесправием недавнего прошлого и благом современности. Это превосходство нашего настоящего над не нашим прошлым вызывало чувство радости и удовлетворения. Осужденность прошлого так ярко выступала в рассказах Николая Петровича, оживляемых и расширяемых сочувственными репликами и дополнениями отца!

Иногда рассказ переходил в оживленный разговор о старом и новом. И доктор Страхов, и отец, и Юлия Михайловна были целиком в этом новом и вспоминали о старом, как о тяжелом сне. Мы были для Николая Петровича внимательными и благодарными слушателями: глаз с него не сводили. Воскресные завтраки с ним и с пирогом с капустой проходили оживленно и с хорошим общим подъемом.

А каких только разговоров не было в столовой за пирогом с капустой и за следовавшим за ним чаем! Тут были рассказы о крепостном праве, о положении крепостных крестьян, о публикациях в «Ведомостях» вроде: «продается 20-ти лет человек, парикмахер, и лучшей породы коровы», или «лучшие моськи и семья людей продается за сходную цену». Рассказывал о том, как проигрывались в карты крепостные, как ими давали взятки, как в Москве горничная девушка стоила от 50 до 80 руб. и т.д.

В другой раз, по поводу какого-либо происшествия в Преображенской больнице Николай Петрович начинал сообщать, как прежде лечили сумасшедших. Он вспоминал какой-то старый указ о том, как велено было «сумасбродных» солдат содержать в особых чуланах и высылать на работы в цепях, чтобы от них не приключилось какого зла. Если эти сумасбродные солдаты не излечивались, то приказано было этих беснующихся от злых духов отсылать для исправления духовного в Синод.

Много позднее мне пришлось случайно найти этот указ Военной Коллегии от 10 октября 1726 года, содержание которого довольно точно воспроизводил в своих рассказах о старине доктор Страхов[2].

2 См.: «Русский архив», 1876 г., кн. II, стр. 360. «Умалишенные при Екатерине I». «1726 года октября в 10 день, по указу Ея Императорского Величества, Государственная Военная Коллегия, слушав выписки, приказали: обретающихся в Санкт-Петербургском госпитале сумасбродных солдат содержать в особых чуланах и, когда случится при госпитале какая работа, тогда посылать их на тое работу, скованных на цепях, и смотреть за ними накрепко, чтобы они и над собой и над другими какого дурна не учинили. А пищу давать и лекарством пользовать их против других солдат. Буде же от того содержания и прилежного лечения в надлежащее состояние не придут и, по докторскому свидетельству, явится та их болезнь неисцелима или покажется (как Святейший Синод рассуждает), что их иступление от злых духов, тогда Кригс-Комиссариату доносить о том Военной Коллегии: понеже беснующихся, для исправления духовного, велено отсылать в Синод. Потом в Кригс-Комиссариат послать указ.»

Рассказывая о нравах старого Приказа Общественного Призрения и о старых методах лечения умалишенных, Николай Петрович, хмуря брови, воспроизводил потрясавшие нас картины наивного варварства. Тут было и заковывание в цепи больных, связывание веревками. Больных укрощали, как диких зверей. Они просиживали на цепи десятки лет... Рассказы были настолько потрясающи, что мы невольно робко спрашивали:

— Ну, а теперь как же? Теперь этого больше нет?

Старик поворачивался в нашу сторону, лицо его принимало особенно ласковое и доброе выражение. Он снова улыбался и начинал рассказывать об успехах в деле лечения душевнобольных и о полном исчезновении, по крайней мере в Москве, старых методов укрощения больных.

Однажды он пришел к нам с перевязанной каким-то пестрым шерстяным шарфом головой. С особыми комичными жестами он издали раскланивался с нами, весь сиял и весело спрашивал:

— Принимают ли в этом доме раненого турку?

Все ахнули, увидав Николая Петровича в таком неожиданном виде. Оказалось, что один душевнобольной запустил в него оловянной миской.

— Ну, а как же больной? Что с ним сделали?

— Да ничего, после этого он успокоился. Несчастные это люди...

Общее оживление и несмолкаемые восклицания вызывали его рассказы о московской знаменитости Иване Яковлевиче Корейше. Чего, чего только он не рассказывал об этом юродивом, пользовавшимся поклонением московских купчих, да и не одних купчих. Даже дамы высшего общества ездили к Ивану Яковлевичу на поклонение. Московские дамы считали его святым, для них он был пророком, прорицателем. К нему в

Преображенскую больницу устраивались целые паломничества, тратились большие деньги, чтобы удостоиться повидать юродивого, выслушать от него невнятное бормотанье или грубую брань, иногда сочетание неприличных слов, а иногда удостоиться лицезрения непристойных жестов и действий. Многие поклонницы Ивана Яковлевича не предпринимали ни одного важного решения, не спросив совета и указания Ивана Яковлевича. Расшифровать несвязный вздор и нечленораздельные звуки Корейши бывало очень трудно, вернее вовсе невозможно. Но поклонницы всё же находили ключ к пониманию таинственных вещаний сумасшедшего. И слава Ивана Яковлевича росла, круг почитателей его множился. На поклон к сумасшедшему стали появляться, сначала крадучись, потом открыто, седобородые купцы, а потом и почтенные сановники. Грубость и непристойные выходки Ивана Яковлевича покорные посетители рассматривали как испытание, ниспосланное недостойным... Начальство периодически запрещало эти паломничества. Тогда проникнуть в тесную, грязную, полную смрада келью больного становилось труднее. Но всё же и в этих условиях поклонницы находили пути и способы повидать юродивого и послушать его таинственных и несвязных вещаний.

Видно, такова потребность духа русского человека, не поддающаяся ни времени, ни культуре, ни опыту. Успех И.Я.Корейши и ему подобных, вплоть до Распутина, фатален и знаменателен для русской жизни. Воспоминания об И.Я. Корейше имеются в исторических журналах. Эти рассказы полностью совпадают с тем, что приходилось слышать от Н.П.Страхова.

В другой раз Николай Петрович начинал рассказывать о своей жизни в Калуге. Уголок провинциальной жизни дореформенного времени тогда приоткрывался перед нами. Новые

стороны грубой жестокости обнаруживались в ярком изображении старика, вспоминавшего свою молодость. Помню его страшные рассказы о наказаниях шпицрутенами, о «зеленой улице», о том, как гоняли сквозь строй, через шпалеры... И всё это было так недавно. Наше время смыкалось со временем Николая Петровича. Мы слышали рассказы очевидца, рассказы лица, присутствовавшего при этих страшных экзекуциях.

— Да, жестокие были времена, жестокие были нравы, — вздыхая, говорил Николай Петрович и, широко улыбаясь, переходил к новой теме из современности, иногда очень едко посмеиваясь над пережитками старины в наш просвещенный и либеральный век. Его ирония относилась по преимуществу к тому, что дело преобразований остановилось на полпути, недоделанным и не завершенным. Среди новой жизни остались еще в изобилии темные углы, полные старого, еще не выметенного сора и мусора. Дореформенные порядки и нравы еще сказывались повсюду и, в особенности, в наших старозаветных учреждениях, перешедших к городу из Приказа Общественного Призрения, как Матросская богадельня и Преображенская больница[3].

Припомнить всё, что рассказывал Николай Петрович, нет возможности, настолько разнообразны были его темы и воспоминания. Трогательно он, вместе с отцом, вспоминали о Московском университете с его профессорами. Тут часто упоминались имена Иноземцева, Овера, Млодзеевского, Матюшенкова. Вспоминал о московских масонах с их цитаделью в Меншико-

3 Преображенская больница была преобразована и поставлена на надлежащую высоту Московским Городским Управлением позднее. Своим преобразованием она много обязана её главному доктору проф. Н.Н.Баженову.

вой башне. Рассказывал о зверствах Салтычихи, указывал места, где в Москве в старое время происходили кулачные бои, где травили волков и медведей, где происходили гулянья на широкую масленицу, где в старые годы рубили головы... Неожиданно рисовал целую картину, как в дореформенное время, ранним утром на улицах Москвы появлялись целые группы людей в странных костюмах, под конвоем будочников и под предводительством квартального. Тут были и дамы в шляпках, в нарядных, но сильно помятых костюмах, тут были и мужчины, одетые в модные костюмы, с цилиндрами на головах. Все эти люди были вооружены метлами и лопатами. По команде квартального эта несуразная, разношерстная толпа начинала взмахивать метлами и подметать улицу... Это была мера исправления гуляк и нарушителей общественной тишины, задержанных ночью за буйство в публичном месте.

Нарассказав много интересного и довольный произведенным на всех, старых и малых, впечатлением, Николай Петрович взглядывал на часы в столовой, ахал, вскакивал со стула и восклицал:

— Ну вот, всегда-то у вас заболтаешься! А ведь меня ждут! Я уже опоздал...

Начиналось шумное прощанье, просьба приходить скорей, не забывать. Все шли провожать Николая Петровича до передней. В передней начинался какой-нибудь новый рассказ, и иногда, становясь в позу, Николай Петрович декламировал стихотворение о быте Москвы и о москвичах, вроде:

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины,
У них на масленице жирной
Водились русские блины.
Два раза в год они говели

И за столом у них гостям
Носили блюда по чинам...

Рассказ или стихи договаривались уже в шубе и в шерстяной войлочной шапке. Все весело и благодушно улыбались на смешную фигуру милого старика. А когда за ним наконец закрывалась дверь, невольно срывалось чье-либо ласковое замечание: «Какой милый и неиссякаемый болтун!».

Архивный юноша

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят,
И про нее между собою
Неблагосклонно говорят.
(«Евгений Онегин», гл. 7, 49).

В письме к П.А.Вяземскому, в начале 1830 года, Пушкин писал: «Правда ли, что моя Гончарова выходит за Архивного Мещерского?».

В комментариях к письмам Пушкина сообщаются некоторые сведения об этом Мещерском. Кн. Платон Алексеевич Мещерский родился в самом начале прошлого столетия (1805 г.). Около 1825 года он поступил в Московский Архив Коллегии Иностранных Дел, вместе с другими «хорошо образованными московскими юношами»: Кошелевым, Веневитиновым, Шевыревым, Титовым, Мельгуновым, Мальцевым и др. В середине 1820 года он был посетителем салона кн. З.А.Волконской и, как любитель, участвовал в её музыкальных предприятиях. Здесь Пушкин встречался с кн. Платоном Мещерским и его братом. 21-го марта 1829 года А.Я.Булгаков писал брату своему из Москвы, что накануне он с семьей провел очень приятно вечер дома в обществе Ф.Ф.Вигеля и «Архивно-

го князя Платона Мещерского». Через две недели после женитьбы Пушкина, Мещерский с ним и его молодой женой участвовал в масленичном катанье на больших санях. (Русск. Арх. 1902 г.). Е.И.Раевская называла князя Платона «тогдашним московским львом» и говорила, что он был «молодой человек замечательно умный, образованный и хотя не красавец в прямом смысле этого слова, но обладавший весьма приятной наружностью. Он был среднего роста, брюнет с матовой белизной лица и выразительными черными глазами. Князь Платон был богат, остроумен, ловок, джентльмен с головы до ног — словом, пользовался всеми качествами, способными по его желанию вскружить голову неопытной девушке». (Рус. Арх. 1885 г.).

Мне довелось видеть князя Платона Мещерского на закате его дней. С образом этого интересного старика связаны воспоминания моего раннего детства.

Мой отец, еще совсем молодым врачом, был приглашен однажды оказать медицинскую помощь внезапно заболевшему князю Мещерскому. И с тех пор между ними установились добрые, дружеские отношения, которые сохранились до самой смерти старика.

Кн. Платон Алексеевич жил тогда в Москве, на Старой Басманной, у церкви Никиты Мученика, в доме, который долгое время принадлежал купцам Рожновым. Занимал он, как нам, детям, тогда казалось, большую квартиру. Он, старый холостяк, жил в родственной ему семье Ильиных. Наша няня Акулина говорила про него, что он добрейший старик, но что он без толку и зря тратит свои деньги на всякие глупости и проживает свое состояние. Так говорила няня, а от наших старших, от отца и матери, мы слышали рассказы о князе Платоне, которые располагали к нему. О нем всегда говорили с большой и искренней симпатией, с чувством почтения отмеча-

ли его большую доброту и шутливо говорили об его «слабостях». А таких слабостей у князя Платона было много. И среди них, кажется, на первом месте, была страсть хорошо и вкусно покушать.

Князь кушал, как истинный знаток и любитель. Но чувство меры ему часто изменяло. Удовольствие хорошо покушать он доставлял себе не часто. Зато после хорошего и обильного обеда старик неизменно должен был звать на помощь своего друга-доктора, которому и каялся в своих прегрешениях, чтобы снова повторять их через некоторое время. Князя Платона хорошо знали в лучших московских ресторанах и трактирах, в которых москвичи любили и умели поесть. Он знал, где и какие были повара и где что нужно было заказать. Он не любил шумных компаний за столом. Чаще всего он священнодействовал один, получая полное, не разделенное ни с кем наслаждение. Но зато его рассказы о съеденном обеде и о тонко приготовленных кушаньях в Английском клубе, у Тестова, у Лопашова во всех подробностях сообщались его друзьям.

Другой слабостью князя Платона была сложившаяся у него с давних пор привычка покупать разные художественные безделушки и собирать целые коллекции старых вещей. Его кабинет был положительно завален старыми вещами, среди которых было много художественно ценных предметов. Тут были старинные табакерки, мундштуки, трубки, коллекции дорогих тростей, были старые картины иностранных художников, старые портреты. Но рядом с художественно ценными вещами были и совершенно ничтожные вещицы, которые он покупал в изобилии в магазине Дациаро на Кузнецком мосту.

С утра к подъезду его квартиры подавалась извозчичья карета или ландо; экипаж ждал его выхода. Иногда этого выхода вовсе не случалось и карета, простояв до позднего вечера, уезжала на извозчичий двор. Но часто князь Платон

выезжал. В этих случаях его выезд занимал целый день. Тогда он объезжал антикварные лавки, где имел постоянных консультантов и соблазнителей. Часто бывал в магазине Дациаро. При виде входившего в магазин старика, управляющий магазином бросал всякое дело и устремлялся навстречу князю. Ему подставляли удобное кресло и поспешно раскладывали на прилавке последние новинки из Италии. Старик медленно, при помощи «человека», раскрывал свою медвежью шубу, долго разматывал шарф, снимал большую меховую шапку с наушниками и, усевшись в кресло, неторопливо начинал рассматривать новинки. Так он проводил целые часы. Незаметно для него сменялись услужавшие ему любезные итальянцы, подкладывая ему все новые и новые предметы. А он всё рассматривал гравюры, эстампы, фотографии, изделия из бронзы и фарфора. Князь был медлителен, как в движениях, так особенно в словах и решениях. Просиживая часами в магазине, он не столько слушал словоохотливых итальянцев, сколько погружался в свои собственные думы и воспоминания или заводил по поводу того или иного предмета, привлекшего его внимание, длинный рассказ, не обращая внимания на то, что его, может быть, не особенно внимательно слушали. В результате князь иногда просил прислать ему на дом отобранные предметы для более подробного их рассмотрения, а иногда уезжал так и не остановившись ни на чем.

Частенько князь Платон приезжал к нам в гости. В этих случаях его карета подъезжала к нам ко времени завтрака и отвозила его домой только вечером.

Князь долго раздевался в передней. Его «человек» проходил на кухню, а сам князь появлялся в гостиной.

Это был старик невысокого роста, крепко сложенный, коренастый, с сутулой широкой спиной и медленный в движениях. Его седая голова, крепко вдвинутая в широкие плечи, была

мало подвижна. Он поворачивался медленно и грузно только всем туловищем. Седые волосы прикрывали его лысый череп слева направо. Он брил подбородок и щеки, сохраняя только небольшие, жесткие, седые усы, концы которых, вместе с опущенными краями губ, придавали его морщинистому лицу несколько суровое и угрюмое выражение. Из-под густых седых бровей выглядывали обычно бесцветные глаза. Но иногда эти глаза приобретали какой-то особенный оттенок, становились глубокими. Это означало, что князю пришла какая-то мысль, которой он собирался поделиться. Но слова медлили и отставали от мысли и не скоро мы узнавали, что возникло в мыслях у князя Платона.

Князь Платон носил одежду, которая отличалась от одежды обычного покроя того времени. На нем неизменно был широкий и очень длинный сюртук. Иногда сюртук был бархатный, иногда темно-коричневого сукна. Под сюртуком был надет большой, широкий двубортный жилет, бархатный или из шелковой материи с узорами и рисунками. Большой черный фуляр охватывал несколько раз мягкий ворот его белой рубашки... Князь был облечен в широкие, светлые панталоны из мягкого сукна. Он входил в гостиную, держа в руке, на которой была надета серая замшевая перчатка, шляпу или меховую шапку и опираясь на массивную трость.

А сколько у него было тростей и палок! Счета им не было. Редко он приезжал с одной и той же палкой. Мы, дети, с любопытством рассматривали его трости. У него были палки-костыли с вделанными в них драгоценными камнями. На некоторых палках, с набалдашниками из слоновой кости, были вырезаны целые сцены. Особенно занимала нас охота на оленя с тонкими, ветвистыми рогами.

Визиты князя Платона были, может быть, несколько утомительны для наших старших. Но нам, детям, его приезды

доставляли большое и своеобразное удовольствие. Одного только мы боялись. Это, когда князь Платон Алексеевич здоровался с нами или прощался. Тогда он ласково нас целовал. Вот эти минуты были довольно мучительны. Во-первых, его жесткие усы и подбородок пребольно кололись, а во-вторых, старик имел привычку нюхать табак. Его красный фуляровый платок далеко не всегда своевременно приводил в порядок его нос... Князь был ласков с нами, ласков по-своему. Иногда он довольно больно тискал маленького Володю и нас старших, подолгу не отпускал от себя. Мы его любили по-своему и с любопытством разглядывали его всего, всю его фигуру, столь не похожую на тех, кто посещал нашего отца. Разглядывали издали его постоянно меняющиеся табакерки, изумлялись большому количеству колец и перстней на его старых, крючковатых пальцах. Князь Платон был весь особенный. И он ни на кого не походил, и на него никто не был похож. Разве только на старых портретах и картинах мы видали таких стариков.

Особенно интересны были его медлительные рассказы, в которых мы улавливали черты чуждого нам и далекого времени. Князь Платон говорил низким голосом почти без интонаций. Он говорил медлительно, раздумчиво, как бы для себя, мало обращая внимания на слушателей. Слово от слова было отставлено иногда на большие промежутки, во время которых он как-то жевал губами, издавал какие-то тягучие звуки. Медленно, медленно подыскивал он слова, медленно рассказывал, изредка понюхивая табак, обсыпая себя табаком и изредка утираясь красным фуляром. Иногда он делал большие паузы, опускал голову на грудь и глубоко задумывался. В эти минуты он мало интересовался, слушают его или нет. Он жил в прошлом и, казалось, беседовал с этим прошлым. Лишь изредка поднимал он глаза на сидевшего против него слушателя и

снова опускал голову и уходил в созерцание образов и картин, лиц и событий, о которых повествовал. Редко-редко на его лице появлялась улыбка. Но зато она была особенная, переходившая иногда в неожиданный громкий смех, который совершенно не походил на обычный смех. Это был скорей ряд отрывочных восклицаний на низких нотах. Этот смех, казалось, удивлял самого князя и обрывался столь же неожиданно, как и возникал.

Иногда с рассказами князя Платона выходили недоразумения, огорчавшие его. Однажды он начал рассказывать отцу длинную историю о московской чуме. Отец уже слышал этот рассказ, поэтому не очень внимательно вслушивался в тягучую речь князя Платона. Подавая иногда звуком своего голоса знаки, что он слушает князя, отец украдкой просматривал на столе свои бумаги и записи. Сосредоточившись снова на рассказе князя, он уловил, что рассказ повествует о смерти бабушки князя. Когда наступила значительная пауза, отец, желая проявить свой интерес к рассказу, любезно сказал:

— А я и не знал, князь, что ваша бабушка от чумы умерла.

Князь медленно поднял глаза на отца, глаза его медленно выразили изумление, перешедшее столь же медленно в обиду, и медленно, но решительно произнес:

— Моя бабушка... от чумы... никогда!

Оказалось, что после рассказа о московской чуме следовало еще много других рассказов, которые отец прослушал, занявшись записями. Рассказ о бабушке не имел никакого отношения к московской чуме.

Жизнь князя Платона Мещерского проходила через весь XIX век. А рассказы его захватывали и век минувший. Лишь отрывки этих рассказов доходили до нас, детей. В этих отрывках часто упоминался век Екатерины; слышали мы о чудаче-

ствах графа Гудовича, преследовавшего почему-то носивших очки; слышали рассказы о французах и о 12-м годе, о судьбе Новикова, о крепостном праве. Слышали рассказы о Пушкине. А когда оказывалось, что князь лично знал Пушкина, был с ним знаком и многое знает о жизни Пушкина, нашему восхищению и преклонению перед князем Платоном не было предела.

Вся речь князя была особенная и слова, которые он произносил, были особенные, и произносил он их не так, как все другие. Так, он говорил «шандал» вместо подсвечник, произносил «табатерка» вместо табакерка, ясно выговаривал «консерт» вместо концерт и так далее. Много раз в последующие годы приходилось очень жалеть, что рассказы князя не были в свое время записаны его близкими. Так и умерли эти рассказы вместе с оригинальным стариком.

Но вот когда наступали для нас интересные минуты. После обеда в гостиной зажигали большие лампы и, по случаю приезда князя, свечи в канделябрах на гипсовых белых тумбах. Если князь был в хорошем расположении духа, он, испросив разрешения у нашей мамы, садился за рояль. И тут для нас наступали минуты, полные очарования. Нам позволяли оставить наши занятия. Мы садились в уголок в гостиной и слушали...

Князь играл на рояле. Играл он старые вещи. Обычно он начинал с «La prière d'une vierge». Но основной репертуар князя Платона составляли другие вещи. Сколько себя помню, с детства и до юношеского возраста, репертуар князя был овеян романтизмом. Его старые пальцы уже плохо справлялись со сложными вещами. Но его любимые вещи выходили у него сильно и захватывали нас. С глубоким чувством исполнял он похоронный марш, который называл Рылеевским. Мрачные, торжественно-драматические аккорды гремели из-под его

сильных рук. Он сам как бы преображался, глубоко переживая и передавая другим свое настроение. Рылеевский марш рыдал и замирал. Наступала продолжительная пауза. Князь сидел с поникшей головой. Что думал он, что вспоминал? И в последующие годы мы не получили никаких указаний на то, чтобы он имел какое-либо отношение к декабристам. Но трагическая судьба погибших, очевидно, глубоко волновала старика с его романтически настроенной душой.

Не обращаясь ни к кому, старик прерывал паузу словами:

— Этот похоронный марш был записан на стене каземата, в котором Рылеев ожидал смерти...

Несмотря на волнение, старик не отходил от рояля. И через несколько минут раздавались новые мрачные мелодии. Под аккомпанемент полнозвучных аккордов вдруг раздавался старый, надтреснутый, иногда срывающийся голос князя. Он пел старую балладу об узнике, томящемся в башне замка среди неприступных скал. Он пел о стремлении на волю, к свободе, к полету в высокие небеса, к солнцу. Баллада кончалась смертью узника, не дождавшегося свободы.

Концерт завершался трогательным исполнением князем, под собственный аккомпанемент, песни Беранже — «Ты отцветешь, подруга дорогая, ты отцветешь, твой верный друг умрет. Уж мчится быстро стрелка роковая и скоро мой последний час пробьет»... Романс заканчивался словами:

А юноши по шелковым сединам
Найдут следы минувшей красоты
И робко скажут: бабушка, скажи нам,
Кто был твой друг, о ком так плачешь ты?
Как я любил тебя, моя подруга,
Как ревновал, ты всё им передай.
И кроткою старушкой песни друга

У камелька тихонько напевай.

Этим кончались музыкальные выступления князя Платона. Казалось, у старика на глазах были слезы, когда он грузно поднимался из-за рояля.

Слушать его дребезжащий голос, его жесткие, надтреснутые ноты и беззвучные верхи было странно и немножко как-то неловко. Но именно это пение нас очень сближало с князем Платоном. А когда мы уже стали «большими», брат Саша записал мотив Рылеевского марша, баллады и песни Беранже. А я в стихах воспроизвел балладу об узнике, который, не дождавшись свободы, «замолк навеки в темнице своей».

К концу жизни князь Платон Алексеевич должен был коренным образом изменить свои привычки и образ жизни. Деньги были прожиты. Пришлось отказаться от извозчичьей кареты. Пришлось рассчитать и «человека». Реже стали посещения Дациаро и еще реже священнодействия у Тестова. Старик угасал. Он умер в глубокой старости, летом 1889 года. После его смерти нам, уже подросшим гимназистам, роздали на память о князе Платоне разные принадлежавшие ему вещи. Мне были переданы большая фотография, изображавшая Моисея, особенно любимого князем Микель-Анджело, и оригинальное пресс-папье со стола князя. Пресс-папье это изображало бронзовую руку в натуральную величину на мраморной доске. Это была рука немецкого пастора, любимого наставника и воспитателя князя Платона в его детские и юношеские годы.

И Моисей и рука пастора долго оставались у меня на столе и напоминали о старике, который как бы забрел в чужую страну из далекого края со своими чуждыми нам манерами и привычками.

Так угасла жизнь когда-то блестящего «Архивного юноши».

Наши друзья. Соня Ильина и Сима Захарьина

Часто у нас собирались наши гости, наши сверстники. Тут уже мы становились хозяевами, а взрослые испытывали несомненные стеснения, предоставляя нам все комнаты нашей квартиры. Ковры убирались, мебель сдвигалась в сторону. Комнаты освобождались для игр, для шумного движения, а когда мы подвыросли, то для танцев и котильона. Тут, в общении с нашими маленькими пріятелями и пріятельницами, мы вырастали, начинали ощущать себя. Здесь слагались наши вкусы, определялись характеры, впервые зарождалось таинственное ощущение радости жизни. Здесь начинали складываться отношения с людьми и точнее определялась индивидуальность каждого из нас, братьев.

Нашей первой по времени и общей любимицей была Кавочка Юденич, моя сверстница, неизменная участница наших игр на дворе Межевого Института и прогулок по Институтскому саду. Дружба с Кавочкой почему-то не поддержалась в последующие годы. А когда мы стали гимназистами и уже стали обращать внимание на то, как нужно носить кепи, как должен сидеть мундирчик и какие складки должны быть у гимназической шинели, то при встрече с Кавочкой мы делали официальный поклон, прикладывая руку к козырьку кепи, по-военному, давая тем почувствовать, что мы уже не маленькие и наши отношения по двору и саду нас больше не интересуют. Столь же холодны и сдержаны были ответные поклоны нашей недавней приятельницы Кавочки. Так мы и раззнакомились... А теперь, как вспоминаю я эту милую беленькую девочку, с её светлыми глазками и большим бантом на пепельных волосах!

Зато неизменным нашим другом была Соня Ильина, младшая дочь Володиной крестной, Е.В.Ильиной. С Соней вместе, рука об руку, проходили наши детские годы. С ней летом в Люблине совершали далекие прогулки в Кузьминки, в Косино к святому озеру, в Царицыно с его развалинами, к Николе Угреши. С ней, смелой и предприимчивой, под именем Цинцан («Приключения на острове Цейлоне»), устраивали набеги на Голофтеевскую малину, с ней строили чудесные постройки из чернобыльника и пахучего донника с горькой полынью, постройки, в которые могли входить даже взрослые, а мы, дети, свободно помещались все разом, с ней играли в Робинзона, в крокет, в попа, в городки, в горелки и другие увлекательные игры. Она ловко лазала по деревьям, особенно любила залезать на рябину. Всё это она делала без шума и криков, деловито и стремительно. Только достигнув цели, она восклицала:

— А я вот где!

Глаза её с длинными ресницами излучали радостное сияние.

На это снизу Сашей подавалась реплика:

— На рябину-то легко! А ты попробуй на прямую березу.

— Ну и что же, могу и на прямую березу.

— Нет, не можешь.

— Нет, могу.

— Не можешь, потому у тебя юбка.

Соня умолкает. Аргумент убедительный.

С Соней мы все были друзьями, все одинаково любили ее и находили в ней доброго и верного товарища, на которого всегда можно было положиться. А когда кроме игр у нас появлялись и другие интересы, когда кто-нибудь из нас начинал делиться впечатлением о прочитанном, виденном, услы-

шанном, Соня всегда подавала свое мнение веско, отчетливо, без лишних слов. У неё довольно скоро сложились вкусы и она решительно и точно определяла, что ей нравится и чего она не одобряет. Иногда у нас начинались разговоры, переходящие в споры. В этих разговорах Паша был выдержанным и точным и всегда немного как бы поучающим и наставляющим. Эта черта проявилась в нем с раннего детства. Он был старший и имел над нами какую-то власть, которую проявлял в разъяснениях и истолкованиях того, что было для него бесспорно.

Про себя скажу, что я охотно вступал в разговоры с Пашей, признавал его авторитет, но меня всегда одолевал дух сомнения и далеко не всегда бесспорными казались мне утверждения Паши. Но где же нам было спорить в то счастливое время. Я иногда пытался возражать, начинал говорить, путался сам в своих несогласиях с Пашей, выдавал слабые стороны своих утверждений, а главное, ничего не утверждал точно и определенно, ибо и тут возникали сомнения. В этих случаях обыкновенно Паша выходил победителем, если, однако, пылкий Саша с азартом не вмешивался в разговор. Тогда разговор переходил в спор, в ссору, часто в крик. Саша звенел своим звонким голосом, в короткой формуле выражал свое мнение или свой протест.

— Нет, можно, нет, можно брать Голофтеевскую малину, её очень много, её полевки объедают. Сама Аграфена Федоровна сказала, что можно, только кустов нельзя ломать.

Соня столь же пылко поддерживала Сашу. Паша вновь пытался установить понятие права собственности и обязанности не брать чужого. Но звонкие голоса Саши и Сони не мирились с отвлеченными взглядами Паши, раз Аграфена Федоровна сказала, что можно.

Но не только о малине у нас споры. Начинались разговоры о Пушкине и Лермонтове. Кто больше нравится. О том, что

лучше — стихи или проза. Нередко возвращались к вопросу о том, кто чем хочет быть, когда вырастет большим. По нашему общему решению Паша должен был быть профессором. Я хотел быть доктором, как папа, Саша колебался... но как-то раз, неожиданно для нас, подпрыгивая на одной ноге, сказал, что будет музыкантом. Соня сказала, что желает быть учительницей, чтобы просвещать «темный народ», и тут же вступила в бой с Сашей, который стал восклицать:

— Какая ты учительница! Ты Цинцан, а не учительница! Какой-такой темный народ? Это, которые темного цвета, это индусы наверно. Потому ты и Цинцан! Ну, Цинцан, пойдем в крокет играть, тебя, учительницу, обыграю.

Насчет Пушкина и Лермонтова, стихов и прозы, мнения разделились. Паша признавал обоих. Я склонялся к Лермонтову. Его Демон, его Бэла казались мне верхом совершенства. Я был в их власти. Маленький Володя решительно стоял за Пушкина. Он поражал всех, цитируя иногда целые строфы из Евгения Онегина, не говоря уж о сказках, о Царе Салтане; он знал очень много Пушкинских стихов, читая и запоминая всё подряд. Иногда с серьезным видом лепетал он мадригалы Пушкина, послания и эпиграммы. Еще совсем маленьким, чуть научившись разбирать по печатному, он однажды ко времени завтрака оказался погруженным в чтение. Его звали к столу. Он всё медлил и не отзывался. Наконец, Жозефина пошла за ним и стала ему выговаривать, что нужно являться к столу, когда зовут. На это последовал ответ Володи:

— Mais, mademoiselle Joséphine, c'est très intéressant!

Оказывается, Володя разбирал по складам Пушкинское стихотворение «Соловей».

Большинство стояло за прозу. Я защищал стихи. На это мои оппоненты дружно восклицали:

— Ну ты известный стихоплет! Мы знаем!

И все хором, нараспев, начинали выкликивать:

Пашу, Сашу и Володю
Все-то любят и ласкают,
Один Коля, бедный мальчик,
Хуже всякой собаченки...

Это были мои первые стихи. Стихи приготовишки, подавленного первой двойкой. Я тщательно скрывал эти стихи. Но какими-то судьбами они были обнаружены и служили поводом, чтобы меня изводить.

С Соней Ильиной связана вся пора детства и юности. Когда задумывали устраивать детский вечер, всегда Соня была первой приглашенной. Она была всегда в центре веселья и среди инициаторов новых игр и забав. С ней мы сочиняли пьесы для наших спектаклей, с ней разыгрывали их. Особенно нам нравилась сочиненная нами сообща пьеса «Возвращение на родину». Это было возвращение солдата с турецкой войны в свою деревню. Дома он застает нищету и голод. Занимательной чертой наших спектаклей было то, что актеры не имели заранее составленных ролей и должны были импровизировать. Поэтому наше «Возвращение на родину» кончалось поразному и довольно неожиданно для самих исполнителей. Всё зависело от того, что будет делать главный исполнитель и что он будет говорить. Другие исполнители нередко недоумевали и таращили глаза на разыгравшегося главного исполнителя. Иногда пьеса кончалась печально, немой картиной, иногда же она заканчивалась пляской и пением. Всё от вдохновения исполнителей. Соня неизменно играла жену солдата. А солдатом бывали то Паша, то я.

Для занавеса нам пожертвовали старую простыню. Мы решили обратить ее в звездное небо и налепили на нее много

золотых и серебряных звезд. Возник вопрос, что изобразить на занавеси. Много было споров, много разных предложений. Наконец, по предложению Сони, решено было из звезд изобразить на простыне слово «ура». Мысль Сони была всеми одобрена. И на занавеси сами звезды провозглашали нам — ура!

А когда мы стали гимназистами, в семье Ильиных задумали устроить настоящий спектакль со сценой на подмостках. Задумали поставить «Женитьбу» Гоголя. Роли были распределены между нами. Паша играл Кочкарева, я — Подколесина, Нина Кацаурова — Агафью Тихоновну, Соня — Арину Пантелеймоновну. Спектакль прошел забавно. Впрочем, особых талантов никто не проявил.

В ту же раннюю пору нас обучали танцам. Для этого составлена была группа девочек и мальчиков, и мы собирались по очереди, то в нашей зале, то у Ильиных, то у Кацауровых. Обучал нас танцам известный в Москве танцмейстер Петр Алексеевич Ермолов, родной дядя знаменитой Марии Николаевны Ермоловой. Он жил неподалеку от нас, в Козловском переулке. Петр Алексеевич был папиным пациентом и охотно взялся обучать нас танцам. Петр Алексеевич являлся к нам в безукоризненном фраке и в белом галстуке. Его сопровождал худой и бледный скрипач, который садился в угол залы. Мы выстраивались в ряд и начиналось обучение нас изящным движениям, выделыванию разных па, из которых одно Петр Алексеевич называл «па преседаль». Это было действительно па с приседанием. Кто подвел милого старика, подсказав ему это название — мы не знали. Мы охотно отплясывали и вальс, и польку, и венгерский, и мазурку, даже некоторое подобие лезгинки воспроизводили мы под руководством Петра Алексеевича.

Особенных танцоров среди нас не было. Но наш Саша отплясывал с увлечением и даже с некоторым ожесточением.

Нередко он становился мокрым и после урока танцев его отводили менять белье. Забавен был самый маленький Володя, который усердно выделывал па, путая однако правую и левую ногу. Петр Алексеевич был мил и элегантен. Несмотря на свои очень преклонные годы, он был легок, подвижен, изящен. Его движения были полны грации и танцевал он по-старомодному, даже для того времени. Когда он не добивался от девочек грациозных движений и был недоволен выделываемыми ими па, он смешно передразнивал их, восклицая:

— Эх, барышня, точно в лужу попала! Не бойтесь, тут сухо, вылезайте из лужи. Ступайте смелей. Смотрите на меня!

И старик с изумительной легкостью скользил по крашеному полу нашей залы, делал округлые движения руками, закидывал свою седую голову немного назад и набок и летал по зале с легкостью юноши или молодой девушки. Было и радостно и немного неловко. Движенья его были красивы, а его старое, красное, морщинистое, бритое лицо изображало какую-то гримасу вместо улыбки. Большая золотая медаль висела у него на шее, на красной, анненской ленте, под белым батистовым галстуком, и делала еще более странным его порханье по зале. Но все же уроки проходили очень весело.

Время шло. Мы вырастали. То, что было еще недавно смутно и неотчетливо, стало принимать новые, неожиданные формы и выражения. Простые детские, дружеские и товарищеские отношения вдруг как-то сильно осложнились чем-то новым, волнующим, радостным, какой-то тревогой и беспокойством, тревожным ожиданием чего-то таинственного, радостного и жуткого. Неожиданно открылся какой-то внутренний слух, особое внутреннее зрение. И это случилось для меня, по крайней мере, внезапно и неожиданно.

Случилось так, что Ильины переехали на Патриаршие пруды и мы давно не видали Соню. На лето она уезжала в

Костромскую губернию, в их маленькое имение. Наши частые встречи прервались на значительное время. Как-то у нас в гимназии ставили «Ревизора» и после спектакля должен был состояться бал. Конечно, мы пригласили на бал Соню и её старшую сестру Марию Осиповну. Спектакль уже начался, а Ильиных все не было. Но вот обе сестры появились. Мария Осиповна, по обыкновению, в темном, скромном платье. Она на много лет старше Сони. Но Соня... что с ней? Это уже не прежняя веселая Соня с немного задорным видом, наш верный сотоварищ, такой же как мы. Соня теперь совсем другая. Мы усаживаем Ильиных на приготовленные и охранявшиеся для них места. А я отхожу в сторону и все поглядываю на нее и какое-то смутное беспокойство мною овладевает. Она спокойна и очень серьезна. Внимательно следит за развитием действия и только изредка улыбается. Но и улыбка у неё какая-то особенная. Соня совсем стала большой, настоящей барышней. А когда, по окончании спектакля, она встала, тут и совсем стало несомненно, что прежней нашей Сони уже нет. Теперь Соня стала другой. Какой?.. Да и можно ли ее теперь называть Соней. Пожалуй, ее нужно называть Софьей Осиповной... Могу ли назвать ее — Соней, ты? Как все это странно. Она в белом, длинном платье, вышитом золотыми нитями, с цветком у пояса... Длинное платье на ней вижу в первый раз.

Она совсем большая, настоящая барышня. И как она держит себя хорошо, с каким изяществом и красивым достоинством. Сестры Ильины пробираются через ряды стульев к выходу из залы. У лестницы мы встречаемся. Я не могу одолеть своего восторга и смущения, только младшие, Саша и Володя, нисколько не смущены. Они тоже в восторге. Но их радости другого рода. Наперебой они восклицают:

— Соня, Соня! Какая ты сегодня красивая! Соня, Соня, у тебя талия как у осы! Ты переломишься! Смотрите, смотрите, у

неё длинное платье. Ах, какая ты сегодня, Соня! Как настоящая барышня. Ты будешь со мной танцевать, Соня?

Соня улыбается. Глаза её лучатся из-под длинных ресниц.

— Да тише, тише! Будет вам! Буду с вами танцевать.

И эти слова она произносит, как большая. Нет нашей прежней Сони. Какая теперь она? Какая?.. Не знал, что сказать ей, как подойти. Знаю только, что Соня стала совсем новой. Видя перемены в Соне, я еще не знал, что и во мне произошла перемена. Смущение и беспокойство были смутными указаниями, что и для меня, и для Сони наступает новая пора нашей жизни.

После некоторых колебаний я все же подошел к ней, спросил о «Ревизоре», понравилось ли ей исполнение гимназистов и предложил провести ее показать гимназию. Я избегал называть ее по имени, но все же фразы сами строились на «вы». Соня мельком взглянула на меня, услышав первое «вы», улыбка чуть скользнула на её лице, но она меня не поправила. Мы пошли рядом. Народу было так много, что нас постоянно разъединяли. Идти так не было возможности. Преодолевая новое беспокойство, я предложил ей руку. Она взяла ее и мы пошли вместе. У меня сердце замирало, дух захватывало, слова путались. Все это странно. Очень странно. Мы с Соней, Цинцаном, теперь Софьей Осиповной, идем под руку по коридорам и классам нашей гимназии, идем как настоящие взрослые. Я был рад и горд. На нас обращают внимание. Даже учителя приветливо кланяются. Я избегаю Соню называть Соней и рассказываю ей о нашей гимназии. Она внимательно слушает... А мне кажется, что нет никого красивее и прекраснее Сони.

— Соня, Соня, что ты тут гуляешь с Колей под ручку. Как ты форсишь сегодня своим длинным платьем! Иди скорей. Тебя Марья Осиповна зовет.

Соня освобождает свою руку и порывается бежать, но вспомнив, что она теперь большая, в длинном платье, замедляет шаг и идет вместе с Сашей к старшим.

Соня, Соня! С этого дня её место в нашей жизни стало новым. Новые нити потянулись к ней. Новые струны зазвучали в сердце. И этот звук был радостен и тревожен, пробуждая новые, дотоле неведомые чувства.

Прошло еще несколько времени. Еще несколько классов гимназии преодолено. Однажды Соня и Марья Осиповна приехали к нам посидеть вечерком. Такие приезды были не очень часты. Но тем приятнее было их посещение. И отец, и Юлия Михайловна, да и все мы очень любили обеих сестер. А к Соне отношения были особенные. Соня училась в гимназии Арсеньевой и мы были в одних классах. Нередко задаваемые нам сочинения совпадали и тогда мы сговаривались с ней о плане изложения. Как-то раз, по её просьбе, я даже написал ей сочинение. Она говорила, что совершенно не умеет описывать красоты природы, что это в моем духе и я должен ей помочь.

В этот вечер Марья Осиповна заявила, что к ним скоро приезжают из Варнавинского уезда Костромской губернии их кузины Захарьины и что в следующий раз они приедут к нам с Верой и Симой Захарьиными. И действительно, через несколько недель к нам появились Марья Осиповна и Соня, а с ними две прелестных совсем юных девушки. Старшая, Вера Александровна, была блондинка с голубыми, чуть на выкате глазами, а младшая, Симочка, была потемнее, очень маленькая, полненькая, с круглой головкой, круглым личиком, круглыми, несколько удивленными глазками и губками бантиком.

Обе новых гостьи оказались милыми, привлекательными, очень застенчивыми, говорящими чуть заметно на «о» по-костромски. Они приехали в Москву поступать в один из

последних классов пансиона Дюмушель. Вера занималась пением, а Симочка — музыкой.

К тому времени и у нас в семье процвели искусства. Все мы с разными успехами учились играть на рояле. Учила нас очень милая, чрезвычайно добрая, когда-то хорошая музыкантша А.А.Еропкина. Успехи Паши были средние, хотя он много занимался и недурно играл в четыре руки. Я в музыке не пошел дальше «Parfum de violettes», «Gazouillement des oiseaux», «Gondelied» Мендельсона и нескольких других сантиментальных вещичек. Зато Саша, а впоследствии Володя, с полным блеском успевали в музыке. Пенье под рояль было представлено мною. И как только у меня стал формироваться голос и зазвучало нечто вроде высокого баритона, так я стал разучивать с помощью брата Саши разные романсы и даже оперные арии. Первым моим романсом был «Der Wanderer» Шуберта. А потом романсов русских и иностранных музыкантов накопилось несколько толстых тетрадей. Не с меньшим увлечением пристрастился я и к живописи. К тому времени, втайне, приносились мною дары и на алтарь поэзии. У меня в записной книжке набралось много стихотворений, навеянных Лермонтовым, Надсоном, а впоследствии Алексеем Толстым. Только эти стихи никому не показывались из-за неодолимой застенчивости.

Музыка, пение, разговоры о живописи, все это было обильным материалом для вечеров «с гостями». Чуть ли не в первый приезд Захарьиных каждый из нас обнаружил свои таланты. Паша и Саша играли в четыре руки «Hussarenritt» и увертюру к «Руслану и Людмиле». Я исполнил «Скитальца», «Двух гренадеров» и «Прости на вечную разлуку». Вера Захарьина пропела нам «Свод неба звездный» Денца и «Вечер» Монюшки. Голосок её был слабенький, пела она почти по-детски. Но она была так мила, так волновалась и так жалостно

произносила: «Я у порога, в сердце тревога», что мы шумно и много ей аплодировали.

Около Веры Симочка своими маленькими ручками сыграла «Марш Зуавов». У Саши глаза сияли. Он весь был слух и созерцание. Вера и Симочка Захарьины имели у нас большой успех. Всем они очень нравились. Проводив их, условившись, что они непременно будут бывать у нас, а мы у Ильиных, мы стали делиться впечатлениями. Все были довольны. Я назвал их «куколками». Это название оказалось очень удачным и так за ними и осталось.

На следующий же день Саша, после гимназии, отправился на Кузнецкий мост к Гутхейлю и купил «Марш Зуавов». Быстро разучил его и через несколько дней играл его с таким оживлением, с такой страстью, что все были в восторге. «Марш Зуавов» стал для Саши призывом, увлечением, которому он отдался со всей неудержимой страстью своей одаренной и пылкой натуры. В этом порыве гармонически сочеталось увлечение и Симочкой, и музыкой. Симочке он отдавал всю юную страсть своей души, воплощая эту страсть в музыке. С этих пор его успехи в музыке были поразительны. Он играл на рояле много и серьезно изучал музыку. Вернувшись из гимназии, он тотчас же садился за рояль, долго играл экзерсисы, потом переходил на серьезные музыкальные вещи. Прервав ненадолго музыку и быстро приготовив уроки, он снова садился за рояль и тут из-под его пальцев лились порою мелодии-импровизации, как гимн, как славословие, как молитва. Этот вызов к жизни несомненного музыкального дарования произвела маленькая Симочка с губным бантиком.

А по воскресеньям, после обедни, Саша бежал на Швивую горку, где возвышалось прелестное старое здание, в котором помещался пансион Дюмушель. Он несколько раз обходил это здание со всех сторон, надеясь увидеть в окне маленькую

головку. Но в окнах ничего не было видно, никто не появлялся. И наш трубадур возвращался домой, и снова мы слушали чудесные мелодии-импровизации. То пела бурная, пробудившаяся душа брата Саши, этого талантливого, сильного и бурного Саши, становившегося юношей.

Однажды мы были приглашены к Ильиным на вечер. Вечер должен был начаться с пенья и музыки, а после нужно было танцевать под тапера, которым был известный в Москве Дреслер.

Вечер начала Вера Захарьина своим неизменным «Свод неба звездный». Исполнил я часть своего репертуара. Тут было и «Не плачь, дитя» — под Хохлова, и «Старый капрал» Вильбоа, «Под душистой веткой сирени», «Азра» Рубинштейна, «Льет ливмя дождь», ария Валентина из «Фауста» и даже исполненная по-французски ария Мефистофеля «Le veau d'or est toujours debout». После долгих упрашиваний Симочка исполнила что-то из Мендельсона и, в заключение, «Марш Зуавов». Следом за ней к роялю подошел Саша и наизусть сыграл рапсодию Листа. Играл он хорошо. Может быть, в его игре не хватало отделки. Руководство нашей милой А.А.Еропкиной уже было недостаточно для Саши. Ученик перерос свою учительницу. Он кончил. Ему много аплодировали. Особенно неудержимо аплодировала своими маленькими ручками Симочка, называвшая его Антоном Рубинштейном. Саша продолжал сидеть у рояля, как бы колеблясь, раздумывая и не решаясь. Его просили сыграть еще. Называли разные вещи из его репертуара. Но вот он махнул рукой, произнес что-то вроде «эх-ма» и, не раскрывая нот, заиграл «Марш Зуавов». Звуки полились мощно, сильно, захватывающе. Это была целая буря, целый ураган все нараставших звуков. Зуавы никогда не ходили под такой марш. Им пришлось бы лететь на крыльях радости, страсти и восторга. Исполнение было настолько

блестяще, так бесконечно отличалось от исполнения Симочки, что из соседней комнаты, из-за карточных столов, вышли старшие и с изумлением заглядывали на играющего. Бравурный марш все звучал, нарастал и наконец завершился полным, звучным и торжественным аккордом. Шумные аплодисменты малых и старых были заслуженной наградой Саше. А он, казалось, не слышал похвал и восторгов. Свой марш он исполнил, конечно, только для Симочки. Но, увы, дар менестреля вызвал жгучую боль в сердечке той, которой он предназначался. Симочка подбежала к роялю, у которого стоял взволнованный Саша, схватила ноты, разорвала их на мелкие куски, а сама залилась слезами и убежала из комнаты.

Саша стоял переконфуженный, смущенный. Симочку пошли утешать. Ей говорили: «Какая ты глупая, Сима, ведь это для тебя он так чудесно сыграл твой любимый марш!» А Саше пришлось выслушать разные наставительные сентенции и поучения: «Вы прекрасно исполнили марш, но поступили не по-рыцарски» — говорил ему кто-то из старших.

— Вы убили нашу Симочку. Она вам этого никогда не простит, — говорили другие. — Она теперь не притронется до рояля.

— Ну, уж и кукла твоя Симочка, — говорил наш общий приятель Арандаренко. — Она бы лучше поучилась у тебя, как надо играть Зуавский марш.

Однако, Симочка скоро успокоилась. Она вышла с заплаканными глазками и надутыми губками. Саша поспешил попросить у неё за что-то прощенья. А тут тапер заиграл весело и оживленно. Саша не переставал танцевать с Симочкой. Третью кадриль он танцевал с нею. С нею же танцевал и котильон, которым лихо и интересно дирижировал Арандаренко.

На Рождество и на масленицу такие же вечера устраивались и у нас в Казенном переулке. Для этого всю тяжелую мебель выносили из гостиной и папиного кабинета. Обе эти комнаты предоставлялись для танцев. Танцевали с увлечением и без устали. Народу набиралось в этих комнатах видимо-невидимо. Тут были прежде всего Ильины и Захарьины, Кацауровы, Страховы, Эгерты, Летниковы, Волковы, впоследствии Цингеры и Коленька Загорский. А душой этих вечеров был наш большой приятель и товарищ по гимназии, Володя Арандаренко. Он был неутомим и изобретателен и в играх, и особенно в устройстве котильона и кадрили-монстр. К этим танцам готовились заранее, готовили банты, ордена, бубенчики и всевозможные украшения для избранниц и избранников. О, эти котильоны! Сколько радости они приносили с собой, но и нередко были острые уколы, возбуждавшие ревнивые чувства. Наши милые дамы, плененные веселым и находчивым Арандаренко, часто выбирали его для особо сложных фигур и без устали украшали его грудь орденами, бантами. И вот в этих случаях бывали обиды. В общем же вечера эти проходили дружно и весело.

Бывали и другого характера вечеринки, когда не было танцев, а вместо них были музыка, пенье, декламация, иногда чтение вслух нового произведения Толстого, Чехова. Володя Арандаренко становился в позу, устремлял глаза в пространство, поверх голов, и декламировал слегка нараспев: «Он водил по струнам, упадали власы на безумные очи»... Ал. Толстого. На бис он прочитывал все тем же патетическим тоном «Последнее новоселье» Лермонтова и с особой гримасой презрения произносил фразу: «Ты жалкий и пустой народ». Заключал свою декламацию, имевшую шумный успех, толстовским: «Довольно! Пора мне забыть этот вздор! Пора мне вернуться к рассудку!» Последний стих он произносил в порыве отчаяния,

ударяя себя в грудь: «О, Боже! Я раненый на смерть играл, гладиатора смерть представляя!»

Володя Арандаренко знал себе цену и, видя общее одобрение и восторженные взоры наших барышень, слегка позировал. Но все это было хорошо, слегка волновало, вызывало и чувства, и мысли. А когда на нашем горизонте появились консерваторки, настоящие певицы, у нас некоторое время создался культ Толстого-Чайковского. Чудесные стихи Ал. Толстого, положенные на печальную и тоскующую, недоговоренную музыку Чайковского. Целые вечера посвящались Толстому и Чайковскому. Пели романсы Чайковского, читали стихи Толстого. Особенно любили «Иоанна Дамаскина» и его изумительный тропарь. Бабушка, прислушавшись к жутким стихам «Все пепел, призрак, тень и дым... Исчезнет всё, как вихрь пыльный, и перед смертью мы стоим и безоружны и бессильны» — просила их прочесть наедине, без гостей. Она в них узнала тропарь, которым заканчивается чин погребения. Наш общий друг, Саша Бедняков, проводивший у нас праздники, не расставаясь с гимназическим учебником, присутствовал тут же, но обычно стоял в сторонке и наблюдал, иногда только делая свои замечания по поводу наших выступлений. Он одобрял серьезную деловитость Сони Ильиной и, нарочно подражая жаргону Юрьева-Польского, откуда он был родом, говорил: «И хорошая она девка, эта Соня Ильина».

За стихами следовало музыкальное отделение. Играли Шопена, Листа, Бетховена, Грига. Потом пели соло и дуэты под великолепный аккомпанемент Саши или Володи. За ужином шли несмолкаемые разговоры о театре. О Малом театре, о новых пьесах, о приезде Мейнингенцев, их утрированном реализме. Одни были в восторге от этого новшества, среди них были Соня и я. Другие находили это уродством, рассеивающим внимание. Восторгались Кокленом, Поссартом, Барнайем,

Сарой Бернар, впоследствии Элеонорой Дузэ. Сара Бернар вызывала бурные споры. Сравнение её с Дузэ порождало страсти не меньшие, чем споры о Мазини и Фигнере. Сару Бернар мы судили довольно сурово. Отдавая дань её чудодейственной игре, все же называли ее «ломакой». Её выход на вызовы, её позировка, возмущали наши строгие вкусы, воспитанные на Малом театре со строгой Ермоловой и Федотовой. Я однажды пытался было защищать Сару Бернар и сказал, что её позы при выходах все же красивы и как-то продолжают иллюзию только что законченной сцены. Но был со всех сторон осмеян. А Симочка, складывая губки бантиком, сказала:

— А я и не знала, что вы любите кривляк. Мы любили свои московские театры. Любили оперу Большого театра с Хохловым, Корсовым, Василевским, Додоновым, Барцалом, впоследствии Преображенским; с Кадминой, Кочетовой, Крутиковой, Климентовой, Лавровской... Увлекались Малым театром — с Федотовой, Ермоловой, Акимовой, Никулиной, Ленским, Южиным, Горевым, Живокини, Садовским, Правдиным, Музилем. Любили театр Корша с Киселевским, Ивановым-Козельским.

Мы были поклонниками Ермоловой. А Южину часто подражали в манерах и интонациях, иногда очень удачно имитируя его и внося его нотки и приемы в наши споры и объяснения. Иногда рассказ о гимназии вели в патетическом тоне декламации Южина. Было похоже: «совсем как Южин». Несравнимые ни с чем восторги вызывала Итальянская опера. Мазини, Ван-Занд, Арнольдсон, Дюран — кружили головы. Опера Мамонтова приучала нас к музыке. А опера «Норма» с Арнольдсон и Дюран сохранилась в памяти, как изумительно изящно исполненная вещь. Обе певицы были прелестны. Полна очарования была красавица Арнольдсон. Спектакль Мамонтовской оперы был особенно памятен и дорог и тем, что

мы были вдвоем с Соней Ильиной. Она, обычно сдержанная и молчаливая, не скрывала своей радости, вызванной музыкой. А в антрактах говорила о своих планах на будущее. Она уже скоро кончала гимназию и собиралась поступить на курсы Герье.

Тогда москвичам, и особенно москвичкам, кружили головы Мазини и Фигнер. Оба — тенора. Один обладал изумительным голосом, но играл «как сапожник». Другой обладал сравнительно слабым голосом, но играл «как бог». Первый был Мазини. Другой был Фигнер. Мы, братья, с наслаждением слушали и того, и другого, отдавая должное и тому, и другому. Но наши приятельницы поделились на два непримиримых лагеря. Соня была вся и целиком на стороне Фигнера. Вера Захарьина — на стороне Мазини. Соня требовала, чтобы и мы сделали, наконец, выбор. Нападала яростно на Мазини, который поет небрежно, задом поворачивается к публике, издевается над своими поклонницами и вообще груб и не умеет должным образом пользоваться тем даром, которым наградил его Господь. Фигнер — другое дело! Это настоящий артист. Он в «Отелло» неподражаемо прекрасен. Над Соней подтрунивали, зачислили ее в фигнеристки. И когда у неё появились на её письменном столе портреты Фигнера в разных ролях, ее совсем зачислили в разряд поклонниц Фигнера. Слушая восторженные восклицания Сони о Фигнере, я приходил в мрачное настроение. Эти восторги так не свойственны Соне, так не идут к ней. Мне было не до шуток. Какое-то новое чувство шевелилось в сердце. Что это было? Ревность? Может быть. Во всяком случае это было болезненное чувство.

Но вот раз мы с Соней поехали в концерт Фигнера и Медеи Мэй в большом зале Московского Дворянского Собрания. Народу было видимо-невидимо. Публика была нарядно одета.

Исполнителей приняли шумно. Концерт проходил прекрасно. Соня была возбуждена и, обращаясь ко мне, спрашивала:

— Ну, что, неужели не хорошо? И это не нравится? Какой вы странный! Это просто вы нарочно.

Мне всё очень нравилось, но я продолжал оставаться не в духе и сумрачно отвечал:

— Ничего особенного. У него крикливые ноты и держится он, как офицер!

Но вот концерт подходит к концу. Выходят Фигнер и Медея и под аккомпанемент рояля исполняют романс Глинки «Не искушай меня без нужды». Зал притих. Всё замерло. Только звуки, напряженный слух, да восторженные взоры, устремленные на певцов.

Не множь тоски моей, не множь,
Не заводи о прежнем слова
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь.
Я сплю, мне сладко усыпленье,
Забудь бывалыя мечты...
В душе моей одно волненье,
А не любовь, пробудишь ты...

Звуки замерли. Прозвучал последний аккорд аккомпанемента. А зал еще хранил оцепенение, не желая рассеять очарования. Но вот буря восторгов. Буря нарастающая, волнами несущаяся к певцам. А они оба красивые, счастливые — улыбаются толпе.

Снова повторяется «Не искушай». Снова буря восторгов. И так несколько раз. Публика встает с мест, обступает эстраду и всё умоляет повторить еще и еще раз это поистине восхищающее «Не искушай». В зале начинают гасить люстры. Последний раз в полутемной зале звучит дуэт. Фигнеры покидают

эстраду уже окончательно. Публика расходится. И тут происходит нечто необычайное для наших северных нравов. Медленно спускаясь по красивой, белой мраморной лестнице, сначала тихо, вполголоса, потом всё громче, публика поет очаровавший ее романс Глинки:

Забудь бывалыя мечты...
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты...

— Ну, что, разве плохо? — спрашивает Соня. — Разве и это не нравится?

— Нет, нет, это очаровательно! Это великолепно! Ваш Фигнер лучше Мазини, — волнуясь, спешу я признаться.

— Ну, то-то же! Наконец-то! Только почему это «ваш Фигнер», когда он и ваш, наш общий, правда.

Мы оба счастливы и довольны. Довожу Соню до извозчика. Ей к Патриаршим прудам, а мне в Большой Казенный переулок, к Курскому вокзалу.

— До свиданья. А что, в воскресенье пойдем в Третьяковскую галерею? Там есть новые картины?

— Хорошо, приду. Буду в Брюлловском зале. Только смотрите, не опаздывайте, как тогда. Ну, до свиданья. Покойной ночи!

Я застегиваю на санях извозчика полость. Извозчик трогает. «До свиданья!»

Стою на тротуаре. Смотрю вслед уезжающей Соне. Душа полна очарованья. Соня, Соня! «В душе моей одно волненье, а не любовь пробудишь ты...» — поет всё внутри. Почему не любовь?.. Почему?..

Мороз щиплет уши. Поднимаю воротник гимназической шинели, засовываю руки в карманы и бегу домой. А в душе всё

поет... «Не искушай, не искушай!» Как это было выразительно у Фигнера, точно он умолял, умолял о пощаде, просил избавить от какого-то страдания... «одно волненье, а не любовь пробудишь ты»... Странно, странно!.. Ах, Соня, Соня... Холодно, ногам. Мороз режет щеки. Бегу по пустынным бульварам. Вдруг всё очарованье исчезает. К холоду наружному присоединяется холод внутренний. Завтра — латинское экстемпорале — какая гадость! И когда всё это кончится? Никогда не уверен, что не наврешь. Особенно после этих «не искушай». Уже поздно. Звоню у ворот нашего домика. Слышу шаги дворника Петра в больших калошах. Отпирает ворота.

— Что это, барин, как ноне поздно!

Темно. Тихонько пробираюсь к себе в комнату. По дороге задеваю стул в столовой. Ворчу. Поспешно раздеваюсь. Укладываюсь в постель. Опять всё поет, далеко, прекрасно. Соня, Соня... В воскресенье нужно не опоздать в Третьяковскую галерею.

В воскресенье, после обеда, наскоро завтракаем и бежим в Лаврушинский переулок. Путь далек, извозчики дороги, хотя в те времена от Покровки до Третьяковской галереи извозчик на санках спрашивал 40 коп., а поторговавшись вез и за 30. Предпочитали бежать пешком, так как старые московские конки ходили необычайно медленно. Нужно торопиться, чтобы не заставить ждать Соню. А может быть, будут и Захарьины.

В Третьяковской галерее мы были привычными посетителями. И мы знали служителей галереи, одетых в черные суконные поддевки, артельщиками. Знали и они нас. Быстро, не останавливаясь, пробегали мы Верещагинские залы внизу и устремлялись по небольшой деревянной лестнице во второй этаж, в Брюлловский зал. В галерее как-то особенно пахло — немножко мастикой и воском от натертых полов, но более всего «картинами» — краской, лаком, холстом. Это был запах

приятный, свойственный только Третьяковской галерее. Окинув взором Брюлловский зал, на сей раз не картины, а посетителей, мы убеждались, что Ильиных еще нет. Заглядывали в соседние залы. Их и там нет. Хорошо, что мы не опоздали. Галерею мы хорошо знали. Знали все картины и всех художников. Каждый из нас имел свои любимые картины и любимых художников.

Меня постоянно привлекал портрет Н.Кукольника, написанный Брюлловым. Мне вовсе не нужно было знать, кто это. Но выражение задумчивого лица с едва заметной улыбкой, старый костюм — будили какую-то тревогу. Это прошлое глядело на меня задумчиво, чуть улыбаясь, как бы вопрошая. Подолгу я простаивал перед этим портретом, переживая какие-то смутные ощущения, не выливавшиеся в мысли и тем менее в слова. Казалось, портрет говорил:

— Ну, вот, нас уже нет, мы — прошлое. Ну, а вы, наше будущее, кто вы и что вас ждет?

Минуя ряды чудесных старых портретов, минуя всадницу Брюллова, княжну Тараканову, на которой все же на минуту останавливался взор, — в душе шевелилось негодование против человеческой жестокости, а слагавшийся художественный вкус шептал, что это всё-таки большая олеография, — бросив взгляд на «Неравный брак» Пукирева, который всегда вызывал чувство досады, обиды и негодования уже не на исполнение, а в связи с гримасой жизни, изображенной на этом полотне, — я непременно останавливался у другой, моей, любимой, небольшой картины в той же зале. Это было небольшое полотно Перова, «На могиле сына». Поникшие фигуры старика и старушки глубоко трогали меня. Я много раз потихоньку зарисовывал эту картину в свою записную книжку, а дома пытался воспроизвести ее масляными красками. Эта картина вызывала те настроения, которые, независимо от

художественного мастерства, составляли таинственные чары искусства. Художник затрагивал интимные струны души. Они звучали ему ответно. Создавалась радостная связь и соприкосновение с художником. В те времена именно эти ощущения и отзвуки и определяли мое отношение к искусству. Есть отзвук в душе — мне нравилась картина, музыкальная вещь, театральное представление. Нет отзвука — и произведение искусства теряло для меня значительно свой интерес. Однако, это не значило, что мы вовсе не разбирались в вопросах искусства. Мы уже умели различать правильность рисунка, уже тогда появлялось у нас чувство красок. Кто в этом отношении помогал нам? Думаю, что больше всего Третьяковская галерея, Передвижные выставки и художественные обозрения «Русских Ведомостей», в изложении В.И.Сизова.

А что же всё нет Ильиных? Время идет, скоро станет смеркаться. Неужели Соня не придет? Очевидно, то же думал Саша о Симочке, постоянно поглядывая на лестницу, по которой поднимались посетители галереи.

— Вот они! — почти восклицает Саша.

И действительно, на лестницу поднимаются Соня и Марья Осиповна. Соня в черной, высокой барашковой шапке, в очень короткой черной кофте, плотно облегающей её изумительно тонкую талию. В черной, гладкой юбке и с муфтой в руках. Лицо её серьезно, губы сжаты. Она довольно сухо здоровается, по-мужски протягивая руку. Марья Осиповна старается смягчить суховатую встречу. У Симочки болит горло. Сегодня вечером они едут в театр. Забежали в галерею только для того, чтобы мы не ждали понапрасну. Как-нибудь потом внимательнее все вместе осмотрим галерею, а теперь придется только обежать залы. Что же делать? А я так ждал этой встречи! Хотел рассказать о моем знакомстве с Левитаном. Я уже гимназист 8-го класса, мое пристрастье к живописи признано. Папина

знакомая художница, Софья Петровна Кувшинникова, жена московского полицейского врача Мясницкой части, предложила меня познакомить с Левитаном и ввести в круг художников. Первое мое посещение Левитана произвело на меня странное впечатление. В небольшой комнатке, в клубах синего дыма, сидело и полулежало на тахте, стульях, креслах и даже на столе — много народа. Кувшинникова представила меня — Левитан вежливо поздоровался. Другие обернулись, но тотчас же забыли о моем присутствии и снова погрузились в только что прерванное чтение. Я был рассеян, подавлен. Не знал, куда сесть. Свободного места не было нигде. Я плохо улавливал содержание читаемого. Внимание было занято людьми и обстановкой. Помнится, читали отзыв о какой-то выставке. Порою чтение прерывалось возгласами кого-либо из присутствовавших. Читали долго. Потом все разом стали говорить. Шум поднялся страшный. Ничего разобрать было нельзя. Я не знал, куда себя девать. Левитан был безмолвен, и, полулежа на тахте, смотрел на всю эту компанию печальными глазами под густыми черными бровями. А я всё стоял у двери, не знал, куда деть свои руки, куда деть самого себя. Кто-то стал прощаться. Его не задерживали. Воспользовался этим случаем и я. Простился с Левитаном. Он сказал что-то вроде, что будет рад меня видеть в другой раз, — и я поторопился уйти, унося с собой смутное сознание, что к художнику так просто прийти нельзя, что сначала нужно самому стать художником, а так... Чувство большой неловкости долго не покидало меня.

Но и об этом случае, который я собирался рассказать в шутливом тоне, упомянуть не пришлось, настолько торопливо мы проходили по залам. Все же скользя по полотнам, взгляды задерживались на некоторых из них. Шишкин, Куинджи, Ге, Дубовского «Притихло» — непременно привлекали к себе внимание. Не любить их в то время значило ровно ничего не

любить в живописи. Тогда все эти полотна имели прелесть новизны. Зала Крамского с его «Неутешным горем», с «Христом в пустыне», с его портретами — была одной из любимых наших зал. Кажется, самая любимая картина Сони была «Неутешное горе». Далее — Суриков, который затмевал для нас «Никиту Пустосвята» Перова и даже васнецовские большие полотна, в которых чувствовалась театральность, но который безраздельно владел нашими чувствами и воображением, помогая закреплять в образах ощущение русской истории. Всегда привлекали наше внимание женские типы Сурикова. В нашу приходскую церковь ходила молодая женщина, Елагина, вылитая суриковская женщина. А они были у него все одного типа. Наслаждаясь Суриковым, мы дружно не одобряли Константина Маковского. Далее — «Не ждали» Репина. Как бы ни торопились мы, а у этой картины всегда останавливались — смотрели на нее, изучали ее до мельчайших подробностей, читали ее, и каждый раз находили в ней все новый интерес и новое содержание. К «Ивану Грозному» отношения наши были разные. Тут было что-то вызывающее, резко бьющее, дисгармонирующее с общим впечатлением от галереи. Недаром какой-то маньяк ударил ее ножом и в нескольких местах повредил. Внизу обегаем залы Верещагина. Его проповедь против войны, его «Перевязочный пункт», «Поле битвы (победители)», «Раненый», «Апофеоз войны» — все на нас действует сильно, приковывает, проникает в сознание и самое сердце. Как тут отделишь содержание от техники, когда всё волнует? И чем дальше глядишь на картину, тем больше негодуешь и ненавидишь войну.

— Проклятая война! — заглушенным голосом говорю я. — Какая это гадость!

— А как без неё обойтись, когда без неё люди жить не могут? — подает реплику Марья Осиповна.

Все нападки на Верещагина за его холодность, фотографичность, за то, что он не художник, а иллюстратор, что он устраивал свои выставки с особенными эффектами и изображением за занавесом похоронного марша — на нас совершенно не действуют: Верещагина мы любим и охотно отдаемся проповеди его против войны.

Мы хорошо знали и Румянцевский музей, но Третьяковскую галерею любили больше. Она была для нас живой летописью современного нам живописного искусства. А к нему мы были чутки, неизменно посещая Передвижные выставки в залах Школы живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой, против Почтамта, а также Периодические выставки на углу Малой Дмитровки, в доме Шидловского. Там мы увидали в первый раз серовскую девушку под деревом с солнечным пятном. Это было новое откровение в живописи. Эта девушка имела какое-то отдаленное сходство с Соней Ильиной. Впрочем, может быть, это только мне казалось. Эту картину я увидал издали, нежданно, и был поражен ею. Девушка сидела под деревом, прислонившись к стволу, и солнце покрывало ее своими светлыми бликами. А неподалеку от меня стояла Соня Ильина, и солнце освещало её стройную и строгую фигуру.

Раз как-то мы сговорились с Соней сходить вдвоем в Третьяковскую галерею и основательно рассмотреть те картины, на которых мы обычно не задерживались. А с собой я захватил написанное мною стихотворение, посвященное Соне. Соня только что кончила гимназию. Вырвалась на волю... но воля оказалась довольно сурова. Пришлось думать о работе, о заработке, и Высшие Женские Курсы Герье в Политехническом музее не могли быть использованы в такой полноте, как этого хотелось. Вот это и послужило темой для моего стихотворения. Только, конечно, в нём речь была не о Герье, не о курсах, не о работе. Стихи говорили о молодом орле, который

взвился в поднебесье, но вдруг неожиданно цепью железной оказался прикованным к скале. Но орел гордой главой не поник в неволе печальной,

А гордые крылья он крепко сложил
И так же, как прежде, в дали необъятной,
За тучи движеньем он молча следил.

Стихотворение могло бы быть прочитано довольно смело. Но оно было посвящено. А в судьбе орла так ясно виделась судьба Сони. И хочется ей передать написанные для неё стихи, и очень всё это неловко. Стихи жгут меня и очень мешают смотреть картины. Обычно я даю указания о художнике, о содержании картины, а тут путаюсь, всё думаю, можно ли передать стихи, или это глупо, как Соня отнесется к этим «сантиментальностям». Я так не люблю и боюсь этого слова, а оно часто срывается с её языка. Так в галерее я стихов и не передал. Картины просмотрели мы добросовестно, устали очень. Под конец у обоих разболелись головы. Всякий интерес пропал решительно ко всему. Мы взяли извозчика и поехали на Патриаршие пруды. Ехать было не очень удобно на старой пролетке. Голова все еще не переставала болеть. Хотелось есть. А тут стихи все еще беспокоят. Неужели так я и не найду решимости и не передам стихов... Наконец, после долгой паузы и большого количества переулков, которые мы проехали, я обратился к Соне с введением такого приблизительно содержания.

— Вот я хотел бы вам передать кое-что. Это для вас. Только не подумайте чего-нибудь такого. Я знаю — это не очень удачно по форме. Но, право, мне так жаль, что вы, кончив гимназию, и оказавшись на воле, как-то хуже и озабоченнее себя чувствуете, чем прежде. Вот, в этих стихах это и сказано...

Я вытащил из кармана листок и нерешительно протянул его Соне. Она поблагодарила меня, взяла листок и сказала:

— Я дома его прочту, благодарствуйте. А что касается до воли после гимназии, то... меня предчувствие не обмануло.

После этого наступило молчание. Я был рад, что передал Соне свои стихи. А в душе оставался вопрос: «Ну, а как она к ним отнесется? И что значит это таинственное «меня предчувствие не обмануло»?

Приехали к дому Вишняковых на Патриарших прудах, где жили Ильины. Простились у ворот. Отговорился необходимостью готовить уроки, побежал домой. Ответа на мои стихи не было. Да и какой мог быть на них ответ? Едва ли Соня согласилась со мной, что она, скромная курсистка, похожа на орла. А она всегда довольно реально смотрела на вещи и была чужда всякой «сантиментальности».

Свою судьбу Соня определила сама и определила ее трагично. Прошли детские годы. Молодость оказалась суровой. Гордая, с большими духовными запросами, она не нашла на своем пути того, что ответило бы её властной натуре. Наша детская дружба и юношеские увлечения не перешли в более глубокие чувства. Жизнь в Ярославле, Ташкенте, Петербурге, с её старшим братом — разъединила нас надолго. Протекли года. Участие в жизни у каждого из нас становилось все сложнее и неотрывней от новых условий и новых интересов. Редко, редко приходили вести о Соне. Еще реже появлялась она на нашем горизонте. Встречи были всегда радостные. Воскресали дорогие детские годы. Особенно ласково Соня относилась к брату Володе, которого называла не иначе, как Додо или Додоки, несмотря на то, что был уже женат и имел детей. Соня появлялась у нас всегда элегантная, как и раньше, с изумительно тонкой талией. Была всегда весела. Только глаза её време-

нами были холодны и суровы. Появилась суровая складка около её губ.

Однажды Соня известила Юлию Михайловну, что она выходит замуж и, проездом из Петербурга в Крым, будет у нас и познакомит нас со своим женихом.

Мы порадовались за Соню и с любопытством ожидали увидеть, кто же её избранник. Мы знали хорошо, что властная, независимая, самостоятельная, прямая, несгибающаяся и свободолюбива Соня лишь с большим трудом могла бы найти себе под стать спутника жизни. Кто же её избранник?

Посещение Сони и её жениха оставило у всех нас смутное чувство. Соня была по-прежнему элегантна, но суровость складки около губ и стальная холодность, минутами мелькавшая в её глазах, — говорили нам, что душевной гармонии Соня не обрела.

Её жених, товарищ прокурора, оказался довольно приятным, но весьма заурядным человеком. Таких много. А наша Соня неповторима. Глядя на них, мы не чувствовали радости. Какую-то другую судьбу хотелось видеть для нашего друга, для нашей Цинцан, для сильной и независимой Сони. Но решение принято. Оставалось только признать совершившееся.

Перед свадьбой, назначенной на осень, Соня с женихом уехали в Крым и поселились в Судаке. Прошло немного времени. И вот, как-то раз из Судака от жениха Сони получена была телеграмма, зловещий смысл которой даже не сразу был понят. Телеграмма извещала, что гроб с останками прибудет в Москву для погребения тогда-то.

Встретили мы останки милой нашей Сони на Курском вокзале. На руках донесли их до Алексеевского монастыря и там, в углу кладбища, схоронили нашу Соню.

Как это случилось, подавленный и растерянный жених её не мог толком объяснить. Вечером они читали Мережковского о Достоевском и Толстом. Слегка поспорили по поводу прочитанного. Разошлись по своим комнатам. А на утро рыбаки увидали на прибрежной скале какую-то, как они говорили, большую белую птицу с распластанными крыльями. Это оказалась наша Соня. В руке её был зажат небольшой револьвер.

Наши учителя

Нужно ли говорить, что гимназия 70-х и 80-х годов плохо влияла на характеры детей и молодежи, проходивших через её ферулу? Для сильных и крепких она мало давала. Для слабых и не сильных характером она была тяжелым, иногда непосильным бременем.

Паша, мой старший брат, вступил в гимназию легко и прошел ее спокойно, подчинив себя завету, которому он остался верным до конца своей жизни: жизнь есть труд и подвиг. Нужно суметь сделать этот труд и подвиг радостными. Он много и ровно работал в гимназии, без перебоев, и кончил ее с золотой медалью.

Саша, наш живой и талантливый Саша, легко и беззаботно прошел гимназию. Сначала живо интересовался всем новым, что она ему давала. Потом гимназическая премудрость ему надоела. Его живая и страстная душа увядала в скучной формалистике преподавания. Она искала новой пищи для своего роста. Он увлекался музыкой. Увлекся по-настоящему, конечно, в ущерб гимназии. После выпускных экзаменов директор Гулевич, прощаясь с выпускными гимназистами, сказал:

— Александр Астров свою медаль проиграл... — и, желая избежать двусмысленности своих слов, добавил: — на рояле...

Володя прошел гимназию с большим трудом, без всякого увлечения. Он выбрал для себя несколько предметов, которые изучил в должной полноте. Это были история, литература и новые языки. Остальное было грузом, который нес добросовестно, но без всякого удовольствия.

Я с трудом и сопротивлением одолел гимназию. Её приемы преподавания и воздействия на учеников были чужды мне и не давали результатов. А со многими формальными требованиями так до конца я и не справился. Так и кончил гимназию, не научившись писать экстемпорале. Интересы складывались помимо и вне гимназии. С самых первых шагов у меня почти бессознательно сложилось как бы некоторое противоборство гимназии во всём её целом. Гимназия казалась мне сосредоточением сил и влияний, враждебных началам и устоям нашей семьи. Там всё было не то и не так, как в семье, как дома. Я инстинктом почуял, что нужно что-то укрыть в себе, не обнаруживать того, что так абсолютно необходимо дома, не обнаруживать, чтобы не быть поднятым на смех, чтобы не получить замечания. Нужно было приноравливаться к новому укладу и к новым отношениям, которые не совпадали с тем, что было дома и что казалось абсолютным. Особенно смущали некоторые учителя, и притом самые главные, преподававшие самые трудные предметы. Они были так далеки от нас, малышей, казались такими враждебными нам, собранным в разобщающие и разобщенные классы. От них приходилось защищаться, с ними приходилось бороться. Вскоре почувствовались как бы две правды: одна настоящая, наша, та, что дома у отца, у бабушки, у мамы Юлии Михайловны, и другая, не настоящая, которая в гимназии.

Эти противоречия так и остались до конца не изжитыми. Они и определили мое отношение к гимназии. А окончание её ознаменовалось событием, в котором, как в символе, отрази-

лась борьба с гимназией и непризнание её правды. Положим, в этом эпизоде пострадала и правда объективная, общечеловеческая, но, как это будет видно из последующего, этот конфликт был вызван противоборством условной и отвергнутой мной правде гимназической.

В младших классах наши учителя были разные, как мы считали их — добрые и злые. Но, пожалуй, даже из числа добрых учителей почти никто не пользовался нашей настоящей любовью. И учителя, и так называемые классные наставники, и надзиратели были как-то далеки от нас, холодны и равнодушны. Это равнодушие было как бы системой и в основе педагогических отношений учителей к гимназистам. Это не внушало к ним особенной привязанности, хотя многие из них были несомненно очень хорошие люди.

Гроза малышей, классный наставник и учитель русского и латинского языков, А.П.Фивейский, наводил на нас трепет своей суровостью, требовательностью и грозным голосом. Его: «Стой столбом, болван!» или: «Пошел в угол носом!», произносимые с особенным ударением на «о», приводили в трепет. Провинившийся покорно поднимался и застывал, как соляной столб. Но, может быть, еще более уничтожающи были его немые взгляды, в которых мы читали не только осуждение и кару, но и свое собственное падение. Помню, как в первый урок латинского языка, в первом классе, Фивейский обратился с вопросом к классу: «Ну, кто из вас знает латинскую азбуку?» Среди других и я поднял руку. Фивейский вызвал меня к доске и стал называть вразбивку латинские буквы, предлагая четко писать их на доске. Всё шло благополучно и латинские буквы, не особенно красиво написанные, выводились мною на черной доске. Но вот А.П. назвал букву «ф». Я запнулся, напрягал все усилия, чтобы вспомнить начертание этой буквы, но никак не мог припомнить. Фивейский уставил на меня свой присталь-

ный взгляд. Я застыл, терял и память, и воображение, и энергию. А Фивейский всё смотрел на меня, пронизывая, изучая смущенного и растерянного. Так, ни слова не сказав, жестом отправил на место. Этот пристальный взгляд, это молчаливое изучение были убийственнее всякого наказания стоять столбом, стоять у стены или даже вне класса. Он усмирял нас, как зверенышей. Но вместе с чувством страха, у нас было к нему и какое-то надежное чувство. Это было доверие к нему: «Этот не выдаст и всегда заступится перед директором!» До нас доходили слухи, что Фивейский всегда «горой стоял за свой класс» на педагогических советах. Что значило «стоять горой», мы не очень знали, но Фивейского по-своему уважали и как-то даже любили.

Это отсутствие равнодушия к нам делало его нам близким. И мы покорно читали и переводили в первом классе латинские фразы, изготовленные чехами для усвоения русскими детьми. В одном из первых параграфов «Книги для упражнений» были, помню, следующие замечательные латинские фразы, которые жалобным голоском выводил вихрастый мальчуган: vehementer aegroto, saepe peccamus, quotidie ambulamus. Regina amat puellas. Rex amat pueros. Victoria gloriam praebet, и т.п.

Мы все очень жалели, когда, переходя в старшие классы, уходили, правда, из-под его строгой руки, сурового взора, но и лишались заботы его горячего сердца.

Но вот преподавателей безучастных, холодных, иногда мстящих нам за наши вольные и невольные прегрешения, злопамятных, — мы не любили. Или, вернее, мы им отвечали тем же равнодушием, какое чувствовали с их стороны. А с некоторыми у нас завязывалась настоящая борьба, в которой далеко не всегда побежденными оказывались мы. Бывало, что

учитель должен был в какой-то мере сдаться и прекратить преследование ученика, за которого стоял класс.

Некоторых учителей мы любили за их открытый нрав, кого за веселость и склонность к юмору, кого за доброту. Были и такие, которых мы и любили, и уважали, и с восторгом ждали их «вдохновений». А такие минуты бывали, и мы ими очень дорожили.

Уже в средних классах гимназии нам пришлось познакомиться с преподавателем латинского и греческого языков, С.Ф.Рожантковским. Он ничего особенного не вносил в свое преподавание. Та же грамматика, то же зубрение, те же экстемпорале. Но всё это было не так мучительно у него, как у других «язычников». Его открытое лицо, веселые глаза, красиво посаженная, несколько назад закинутая голова, постоянная улыбка, постоянная шутка — облегчали нам труд преодоления классической грамматической премудрости. Его строгость и требовательность смягчались милой веселостью. Иногда он заливался заразительным хохотом, когда другой латинист поднял бы крик негодования, гнал бы провравшегося ученика. Этот смех не был оскорбительным, не влек за собой, казалось бы, неминуемой двойки. Смех поддерживал бодрое настроение в классе. Запутавшийся мальчуган краснел, пыхтел и в то же время как-то выкарабкивался из пучины неправильных форм. Смех С.Ф. заставлял навсегда запомнить трудную форму глагола. Запоминал ее и весь класс. Уроки С.Ф. проходили без утомления, и мы с полным доверием смотрели ему в глаза, не опасаясь подвоха, уверенные в нем, зная, что он не подстерегает нас, чтобы напасть врасплох, и притом на самое незащищенное место.

Мы уже были в одном из старших классов, когда С.Ф. перевели куда-то инспектором в провинциальную гимназию. Мы

проводили его с печалью и на память поднесли ему традиционный бювар с чернильницей.

Любили мы и нашего француза, Макса Августовича Солюса. Любили его за его неподдельный юмор, за веселость нрава и за то, что он доверял нам и хорошо к нам относился. Он был страстный охотник. Это давало повод заводить с ним разговоры на неиссякаемые охотничьи темы. Среди нас были тоже подраставшие любители охоты, были и просто хвастуны по этой части. Уроки французского языка часто проходили в разговорах на эти интересные темы. Макс Августович увлекался и начинал рассказывать случаи из своих охотничьих приключений. Нам, не охотникам, того только и нужно было. В это время кто подзубривал латынь, ожидая, что его спросят, кто читал под столом интересную книгу, а кто, слушая рассказы о лесах и болотах, о собаках и утках — уносился мечтами в далекое и недавнее прошлое, в деревню, на дачу...

В случае тревоги, — а она подавалась учеником сидевшим ближе всего к двери, из которой был виден весь коридор, и который в этих случаях сигнализировал тревожным, шуршавшим шепотом: «Директор, директор!..», Солюс спохватывался, принимал позу сурового наставника и вызывал к доске одного из учеников, хорошо говоривших по-французски. Ученик начинал переводить «а ливр увер» с первой попавшейся страницы. Это был обычный прием, к которому мы уже привыкли и не терялись, каждый зная свою роль. Директор заставал в классе полный порядок, а легкий французский разговор Солюса с учеником, говорящим по-французски, завершал сцену.

Весь класс был доволен. Ученики и учитель как бы соучаствовали в общем деле и в удачном выходе из трудного положения.

Такие же молчаливые сговоры между классом и Максом Августовичем происходили, когда он приходил в класс крас-

ный, с тяжелыми, красными глазами. Мы уже знали, что это значит и в чём тут дело. Макс Августович клал свой журнал на кафедру, не раскрывая его, закладывал руки за спину под фалды своего короткого синего фрака и, помахивая ими, как хвостиками, начинал расхаживать по классу, не обращая ни на кого внимания. Мы знали, что у него мигрень. А гимназисты, что постарше и поопытнее, говорили, щелкая себя по воротнику:

— Вчера были именины Квятковского, вот, значит, и мигрень! Заложили здорово!

И тут мы охотно были в обоюдно выгодном для нас молчаливом договоре.

Это про Солюса, понизив голос, говорили старшие гимназисты, вспоминая злую шутку, которую сыграли с прежним директором гимназии, Сасфеновым. Сасфенов несколько раз сделал какие-то замечания по адресу самолюбивого Солюса. Тот смолчал, но затаил обиду. И вот однажды в лютые московские морозы, среди суровой зимы, в «Московских Ведомостях» появилось объявление:

«Расцвели пионы. Видеть можно на квартире директора 2-ой классической гимназии, на Разгуляе, от таких-то до таких-то часов».

Любители цветов, изумленные известием, со всех концов Москвы устремились к счастливому директору. Тут были и дамы, желавшие приобрести пионы в цвету, были и старички, знатоки-любители, были и просто любопытные... Директор гимназии был поражен и озадачен. Никаких пионов в цвету у него не было. А к нему всё приходили и приходили посетители и осведомлялись о пионах, показывая объявление в «Московских Ведомостях». Так продолжалось несколько дней, пока публикация в газетах не была забыта. Директор бесился. Он-то хорошо понял злую шутку. Он обладал большим красным

носом, на котором, когда он сердился, выступали яркие, как пионы, пятна. Весь гимназический двор, вся гимназия знала про пионы. Солюс ходил, как ни в чём не бывало, вместе с другими порицая шутника. Однако, молва шёпотом называла именно его этим злым шутником.

Среди преподавателей Закона Божия, скучных и ленивых, какими были батюшки Рубцов, Геликонский, Ляпидевский, нам был особенно дорог священник Андрей Григорьевич Полотебнов. Это был настоятель церкви Межевого Института, серьезный богослов, превосходный проповедник и человек непомерной доброты с нами. Его уроки были полны содержания и очень занимательны. Он умел оживить учебник и помимо его сообщал нам много интересного по истории церкви. А иногда он целый урок рассказывал нам о началах веры, о вере и жизни, о столкновениях между требованиями совести и условиями жизни, о смысле жизни, об ужасе и пустоте безрелигиозной жизни. Эти уроки были для нас источником живой воды. Кроткая и умная, проникнутая живым, трепетным чувством речь Андрея Григорьевича увлекала класс. Затаив дыхание, его слушали и мы, православные, и лютеране, и евреи. Это был, действительно, учитель жизни, это был источник света среди наших довольно скучных гимназических сумерек. Час урока отца Полотебнова пролетал незаметно. Раздавался звонок. Класс как бы пробуждался от чудесной грезы. Андрей Григорьевич как-то виновато улыбался, разводил руками и произносил ласково:

— Вот и не успел никого спросить. Ну, читайте молитву.

Уходя, говорил:

— А к следующему разу повторите старый урок. Тогда буду спрашивать.

И, поклонившись нам, а этого никто из учителей никогда не делал, низко опустив голову, уходил из класса.

Замечательно, что после ухода учителя обычно в классе поднимался шум и гомон, как реакция на вынужденную тишину. А после уроков Андрея Григорьевича класс оставался тихим, как бы желая сохранить и продлить очарование, под властью которого он только что был.

Проходила неделя. Снова являлся Андрей Григорьевич. Но сегодня он не в настроении. Он печален. Лицо его желто. Мы знаем, что у него тяжело больна его жена (мой отец лечит всю его семью). Андрей Григорьевич начинает спрашивать. Мало кто знает предмет. Тем, кто хоть немного отвечает, он ставит с удовольствием пять. Тем, кто обнаруживает интерес и знает больше, чем в книжке, он с нескрываемой радостью ставит пять с плюсом (он почему-то произносил это слово, сильно подчеркивая звук «а»). А тем, кто ровно ничего не знал, ставил четыре с минусом и как-то упрашивал поучить урок к следующему разу.

Был и другой у нас законоучитель, настоятель церкви Петра и Павла на Новой Басманной, отец Петр Алексеевич Смирнов, переведенный впоследствии в Исаакиевский собор в Петербург.

Это был знаменитый московский проповедник. Он был невероятно толст, что не мешало, однако, ему в совершенстве владеть своим дыханием и голосом. Он тоже, как и Полотебнов, иногда приходил в высоком настроении. Но у него это выражалось иначе. После прочтения молитвы, он медленно поднимался на кафедру. Садился на стул. Поворачивался всем своим грузным туловищем к окну, долго и задумчиво глядел в окно, на крыши домов, на небо. Брал с кафедры ручку и концом её долго ковырял в ухе... Так проходило минут пять... Мы знали, что после этой не особенно приятной для созерцания операции батюшка глубоко и шумно вздохнет и или начнет спрашивать урок, или, закрыв журнал, начнет ходить по клас-

су. А потом, положив свой могучий живот на край парты, начнет рассказывать... Его рассказы были несколько иного характера и тона, чем рассказы о. Полотебнова. У него было много ярких и сильных определений. Иногда юмор освещал его повествование. Иногда подлинный гнев вспыхивал, когда он говорил о зле, неправде, несправедливости... Иногда он сводил свою умную, интересную речь к самым простым образам из повседневной жизни, облекая их в чисто народные выражения. Всё это делало его речь изумительно живой, образной, интересной и захватывающей. Мы все были в восторге. Восторг был написан на наших лицах. Он видел это, чувствовал, что владел нами, раскрыл наши души, и говорил всё дальше и увлекательнее...

— Вот, дети, такова жизнь. Вот правда Христова и не принимается жизнью. Вот и отвергли Христа и его правду. Говорят, что и без Христа проживем!.. Материализм овладевает миром. Материей хотят всё истолковать и объяснить, всё оправдать по-своему... Вот вы, дети, скоро вступите в самостоятельную жизнь. Помните, что без правды Христовой человечество обречено на невероятные страдания. Храните в вашей жизни эту правду...

В другой раз, возвращаясь к той же теме о материализме, батюшка трактовал её в реалистических чертах.

— Говорят, наша жизнь на земле подобна сновидению! Ну, если это так, то сновиденья бывают разные. Вот, если ты перед сном помолишься, очистишь свои мысли и чувства, тогда и сновидения твои легки и светлы. Вот это жизнь в правде Божией. А другой на ночь, на сон грядущий наестся каши с квасом, набьет себе брюхо черной кашей с маслом... того всю ночь черти будут тузить по брюху. Вот так сон! Нечего сказать! Тут задохнуться можно. И кажется, что черти в ад тащут и поджигают каленым железом.

Этим образом он определял материалистическое, ненавистное ему мировоззрение. Это было грубо. Но толстый батюшка говорил так вдохновенно, так пылко, так гневно сверкали его красивые, большие глаза, что грубость формы не резала слуха, и мы отдавались его обличительному порыву.

Спрашивая уроки, о. Смирнов был много строже отца Полотебнова. Не знающего урок он прогонял на место, говоря:

— Сиись, два! Cura melius!

Первое слово обозначало: садись! Он произносил его «сиись», ибо его толстые губы ленились раскрываться для таких незначительных вещей.

Среди наших учителей были и такие, которых мы несомненно любили по-своему, но к которым относились с детской жестокостью и безжалостностью. Конечно, не все гимназисты были активными исполнителями этих настоящих экзекуций над некоторыми учителями. Исполнителей было не много. Это были отпетые озорники. Теперь их назвали бы хулиганами. В наше время этого слова еще не было. Но мы, остальные, не можем оправдать себя и почитать непричастными и неповинными в этом общем азарте. Мы были, конечно, попустителями и соучастниками. Только роли наши были второстепенные и менее заметные.

В чём тут дело? Отчего это в нас уживалось два, казалось бы, исключающих друг друга чувства любви и жестокости? Мы все, не исключая и патентованных озорников, любили нашего учителя истории и географии, Михаила Ивановича Владиславлева. Мы считали его добрым и хорошим человеком. А в то же время подвергали его иногда настоящим пыткам, издеваясь над ним грубо и приводя его в отчаяние.

В чём тут дело? Почему прекрасный учитель русского языка, И.П.Казанский, сразу прозванный «селедкой», просто не

выдержал издевательства мальчишек и бросил нашу гимназию, хотя она считалась строгой и образцовой по поведению, руководимая сухим педантом и безжалостно-строгим директором С.В.Гулевичем. Почему эта свора мальчишек, трепетавшая перед одними, была смела и разнуздана с другими? Конечно, тут имели решающее значение индивидуальные черты того или иного педагога. Воля и характер учителя определяли и отношение к нему стаи учеников. Имела тут значение и традиция, изменить которую в непрерывной смене классов гимназии было почти невозможно.

— Этот добрый! с ним всё можно!

Такое определение учителя ставило его в опасное положение. Малейшее послабление, уступчивость с его стороны, воспринятая как слабость, — и скрытый, подавленный дисциплиной, протест против гимназии вообще, озорство, всегда накопленное и находящееся в скрытом состоянии, вырывались наружу и проявлялись иногда в безобразной форме.

Обычно такие жертвы из числа учителей обладали какими-нибудь свойствами, которые делали их в глазах мальчишек почему-либо смешными, а потому и беззащитными.

Так, названный мной М.И.Владиславлев был очень близорук. Очки не спасали его. Подслеповатость отражалась на всей его фигуре, неловкой и неуклюжей. Он был мал ростом, сутуловат, как-то странно горбился. А когда он входил в класс, держа в одной руке наперевес навернутую на черную палку географическую карту, а в другой классный журнал, он производил комическое впечатление. Подавшись вперед, как бы нащупывая дорогу к кафедре, с картой в виде оружия наперевес, с журналом, прикрывающим часть груди, как со щитом, он в это время так оправдывал приставшее к нему и традиционно переходившее от одного гимназического поколения к другому название «макалы»... Откуда и как появилось это странное

название, не имеющееся ни в одном лексиконе, — никому не было известно. Но известно было всем, что «Макала» — это не кто иной, как М.И.Владиславлев.

И вот, появление Макалы с географической картой вызывало часто такую сцену. Долговязый Алексеев срывался с лавки и бросался навстречу к Михаилу Ивановичу.

— Михаил Иванович, позвольте я повешу карту!

Михаил Иванович сопротивляется. Начинает что-то говорить. — Опять вы, Алексеев...

Но Алексеев уже завладевает картой и устремляется к доске. Он долго возится с картой, что-то рассматривает на ней и наконец вешает её вверх ногами.

Должный эффект получается очень скоро. Алексеев просит Михаила Ивановича показать, где находится какой-нибудь город, который он никак не мог найти на своей карте.

Доверчивый Михаил Иванович слезает с кафедры, щурясь подходит к доске, начинает пальцем водить по карте в нужном направлении, не находя, однако, нужного города. Мы все сидим тише воды, ниже травы...

И вот раздается крикливый возглас Михаила Ивановича:

— Что за безобразие! Алексеев! Я запишу вас в журнал! Перевесить карту сейчас же! Опять.. Безобразие! Не сметь в другой раз брать у меня карту!

Далее происходит борьба из-за попытки Михаила Ивановича записать в журнал, что Алексеев Петр повесил карту вверх ногами.

Алексеев устремляется к кафедре и видя, что Михаил Иванович уже вписал его фамилию в журнал, как бы нечаянно, желая сделать умоляющий жест, проводит пальцем по только что написанной своей фамилии. В журнале получается размазанное пятно... Михаил Иванович вскрикивает. Волнение не

дает ему говорить Он задыхается, захлебывается, отталкивает Алексеева. Начинается настоящая борьба. Мы знаем, чем кончится вся эта история. Она кончится победой Алексеева.

Михаил Иванович грозит, что сейчас же пожалуется директору. Алексеев принимает трагический тон и говорит, что Михаил Иванович этого сделать не может, так как тогда уже наверное, его, Алексеева, исключат из гимназии.

Михаил Иванович говорит, что давно пора бы исключать из гимназии таких шалопаев. Но перо уже кладет на стол. Тон его уже без раздражения. Корит Алексеева за его озорство. Алексеев победил. Он показывает нам из-за спины всякие знаки, а сам поддерживает с Михаилом Ивановичем уже мирный разговор на тему о преступлении и наказании, доказывая, что в гимназии преступления гораздо легче, чем постигающие гимназистов наказания. Разговор идет уже в мирных тонах.

А время уходит. Мы рады, что добрых четверть часа ушло на борьбу Михаила Ивановича с Алексеевым.

Хуже бывало, когда на всех нас нападало возбуждение, требовавшее исхода. Тогда опять жертвой оказывался наш милый Михаил Иванович.

Однажды это возбуждение дошло до крайнего напряжения и могло кончиться плачевно.

Урок географии начался как обычно. Вызванный ученик рассказывал заданный урок. Вместе с Михаилом Ивановичем, повернувшись к доске, они отыскивали на карте реки, горы, города, торгующие юфтью, сапогами, пенькой... Отвечающий ученик и спрашивающий учитель были поглощены путешествием по изучаемой стране. Как вдруг на обоих окнах класса стремительно и с шумом упали шторы. В классе потемнело. В разных углах, на отдаленных партах в разных тонах зазвенели

перышки. Поднялось мяуканье, рычание и свист. К потолку взлетели чертики из бумаги и изображения инспектора, (он же «кит», он же «фуция»), надзирателя, по прозванию «красный нос». Изображения чертей и инспектора крепко прилепились к потолку. Из конца в конец класса проносились бумажные стрелы. Кто-то вымазывал сиденье пустого стула на опустелой кафедре мелом. В чернильницу на кафедре запихивали губку. Класс выл и мяукал, обращался в сумасшедший дом. Даже самые скромные гимназисты, поддавая общему увлечению, общей психической заразе, приходили в неистовство, издавали странные крики, хлопали книгами по звучным партам.

Бедный Михаил Иванович пришел в полное отчаяние. Он тоже издавал какие-то крики, метался из стороны в сторону, перебегал от парты к парте, хватал гимназистов за руки, грозя требуя, взывая, умоляя прекратить шум и неистовство.

Кавардак длился, конечно, не долго. Из соседнего класса выбежал инспектор Гетлинг.

— Тише, тише! Прошу вас! — восклицал он. Мотнув коротенькими фалдочками своего синего фрака (за эти коротенькие фалдочки его и звали «фуция», производя это слово от «куцый»), он стремительно исчез в длинных гимназических коридорах.

В классе наступила полная тишина. Азарт и озорничество слетели мгновенно. Всем стало неловко, не по себе. Перышки выбрасывались из ящиков, бумажные стрелы уничтожались. К окнам бросились наиболее длинноногие ученики и пытались поднять шторы. Но шнурки, при стремительном падении шторы, взвились так высоко, что достать их без лестницы не было возможности.

Через несколько минут дверь в класс широко распахнулась. В классе появился директор в сопровождении инспектора и старшего коридорного сторожа Ксенофонта, того самого,

которого гимназисты всех поколений называли не иначе, как Ксенофонт-Анабазис.

Директор был в ярости. Видя затихший класс в полутьме, с опущенными шторами, он строго обратился к Михаилу Ивановичу с вопросом:

— Что это у вас делается? Кто это безобразничает?

Михаил Иванович что-то несвязно бормочет. Обращаясь к классу, директор холодным и строгим голосом спрашивает — кто опустил шторы?

Класс упорно молчит. Видя, что добиться выдачи виновных возможности нет, директор говорит, что все без исключения должны остаться на два часа после классов, должны явиться на воскресенье. Пансионеры останутся без отпуска и, вероятно, всем будет сбавлен балл в поведении.

Пока идет определение должного возмездия, инспектор и Ксенофонт-Анабазис суетятся около штор, тщетно стараясь их поднять. Ксенофонт уходит за щеткой и с её помощью достает шнурки от штор. В классе снова светло. Класс стоит как вкопанный. Директор что-то строго говорит Михаилу Ивановичу, у которого весь зад оказывается выпачканным мелом. Волнуясь и не зная, что делать, он присел на свой стул. В результате, обе фалды оказались белыми. Директор обращает внимание на это Михаила Ивановича. Тот еще более сконфужен, отряхается.

А на потолке, на длинных нитках, раскачиваются чертики, «фуция» и «красный нос». Комки жеваной бумаги с этими бумажными фигурами крепко пристали к потолку, будучи ловко, опытной рукой, с размаху брошены вверх.

— Молодцы! Безобразники! Всем вам балл в поведении нужно сбавить! — говорит директор, глядя на потолок с болтающимися чертями и инспектором.

Гневно он выходит из класса. Ксенофонт старается щеткой согнать чертей с потолка. Но это ему не удается.

А тут наступает конец урока. Азарт прошел. Нам очень всем неловко. Особенно стыдно перед Михаилом Ивановичем, который пострадал несомненно больше всех нас. При выходе его из класса мы обступаем его и просим нас простить. Михаил Иванович обижен не на шутку. Он бледен и взволнован. Фрак его выпачкан мелом. Он не хочет с нами говорить. Протискивается между нами и как-то бочком, по стенке коридора, с картой наперевес, уходит от нас.

Остальные уроки проходят вяло. Мы расстроены, не столько ожидаемым наказанием, сколько тем, что обидели Михаила Ивановича.

В перемены к нам заглядывают старшие гимназисты. Кто посмеивается, кто рассматривает нас с любопытством. Учителя с нами суровы. Мы провинились. О нас говорят во всей гимназии. Только приготовишки и первоклассники с нескрываемым почтением поглядывают на нас: для них мы герои.

После последнего урока является к нам инспектор и, накричав на нас, жестикулируя объявляет, что по просьбе Михаила Ивановича наказание нам уменьшено. Мы оставлены только на один час после уроков и в воскресенье можем не приходить. Объявив это, грозит нам обеими руками, говорит, что жалеет, что мало наказали нас, озорников.

Нам еще более неловко перед Михаилом Ивановичем. Теперь он нас победил. Это последняя выходка нашего класса против него. Теперь мы никогда не позволим себе его огорчать. И действительно, наш класс становится с Михаилом Ивановичем в самые лучшие отношения. А многие из нас устанавливают с ним и личные добрые и приязненные отношения, остающиеся надолго.

Это 3-й и 4-ый классы особенно порывисты, неуравновешены и бурны в проявлении своих настроений. В старших классах складывались иные отношения между нами и учителями.

В этих порывах и неистовствах, в этих взрывах всё же был значительный элемент как бы мести и борьбы с общим режимом гимназии. Бессознательно мстили за подлинные мучительства, которым подвергали нас другие педагоги. Только объектом мести оказывались наиболее мягкие и наиболее беззащитные учителя, которые сами были в загоне среди классиков, делавших карьеры на древних языках и придававших гимназии такой серый, нудный тон, подчиняя всё сухому, формальному требованию, делая гимназию такой скучной и тяжелой школой.

Мы называли «хорошими» тех учителей, с которыми у нас, мальчиков и подростков, устанавливались добрые, человеческие отношения, для которых мы, как нам казалось, представляли индивидуальный интерес, а не только механизмы, обладавшие разными степенями и свойствами памяти для зазубривания правил латинской и греческой грамматики и быстрого, безошибочного их применения. Эти «хорошие» учителя были, по преимуществу, преподавателями второстепенных предметов. А в числе последних были, как это ни странно, русский язык и история, имевшие ничтожное количество недельных часов, по сравнению с латинским и греческим, обильно насыщавшими всю неделю. А по субботам латынь имела два сплошных часа, когда нас морили длиннейшими экстемпорале.

Таким «хорошим» учителем был Иван Семенович Розанов, преподававший русский язык в старших классах. Это был немолодой человек, переведенный в Москву из какой-то провинциальной гимназии. Говорили, что он был из семинаристов.

Лицо у него было рябоватое, издали довольно благообразное. Характерной для него была манера говорить. Он говорил глухим, несколько монотонным голосом. А в тех местах, когда хотел подчеркнуть содержание своей мысли, закатывал глаза и отводил их в сторону. Этот странный прием восполнял недостаток голоса и вместе с тем как бы стремился сосредоточить внимание слушающих на отвлеченной мысли, оторвав её от реальной обстановки. Это придавало Ивану Семеновичу несколько провинциальный характер. Его застенчивость и простое с нами обращение, совсем не похожее на обращение других учителей, сразу сблизило нас с ним, и мы охотно у него занимались, хотя и сознавали, что Иван Семенович не был из числа блестящих преподавателей, не был «орлом». Он нас взял уже в старшем классе, когда мы разбирались в достоинствах учителей и могли сами давать им оценку.

На юбилейном торжестве в память Жуковского, когда гимназисты декламировали его стихотворения, а мой брат Паша прочитал в актовом зале «Царскосельского лебедя», причем особенно тепло и выразительно у него выходили вступительные слова:

Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый,
Что так нелюдимо ты, отшельник хилый...

Розанов произнес речь о Жуковском. Речь его всем нам понравилась особенным, задушевным тоном, которым она была проникнута. Романтизм Жуковского овеял нас в простом изложении Розанова. А когда, по-видимому сам поддавшись очарованию поэзии, Иван Семенович закончил свою речь словами, обращенными к стоявшим в рядах гимназистам: «Дети, читайте Жуковского! В нём вы найдете много прекрасного и благородного, так необходимого для вашего ума и сердца», — мы ему горячо аплодировали. У нас возникло

желание читать Жуковского и мы его полюбили. Очень понравилось нам и интимное обращение к нам Ивана Семеновича, назвавшего нас всех «детьми», хотя некоторые из нас уже пощипывали пушок над губой — prima lanugo — как называли его римские поэты.

Иван Семенович был нам приятель при оценке наших сочинений. И тут у него была своя манера. Плохое сочинение он просто возвращал неудачливому автору, говоря: «На полях вы найдете мои замечания, мы с вами поговорим отдельно». Он не хотел конфузить неудачного сочинителя перед классом. Зато он с особой охотой отмечал удачные сочинения. Иногда сам прочитывал их вслух, отмечая содержание, построение мыслей, манеру изложения. В исключительных случаях, поощряя автора, он предлагал ему самому прочесть в классе свое сочинение. Это был настоящий триумф, который так залечивал раны, наносимые греками и латинистами. Как этот простой прием радовал нас! Как он отличался от классической системы «язычников»; которые с особым злорадством, как нам по справедливости казалось, подчеркивали только наши промахи, не обращая внимания на удачно преодоленные трудности, на удачно переведенные фразы, нарочно придуманных длиннейших периодов, которыми, конечно, никогда не говорили ни римляне, ни русские. Приемы Ивана Семеновича достигали хороших результатов. Мы с большой охотой писали русские сочинения, и многие из нас выработали приемы, свой стиль. Это отмечалось Розановым и поощрялось.

В нашей второй московской гимназии, да и во всех вообще классических гимназиях того времени, преподавание древних языков велось так, что всякое живое содержание чудесных произведений поэтов и прозаиков классической литературы исчезало. Это было чисто формальное усвоение правил грамматического, синтаксического и фразеологического строения

древних языков. Этому сухому усвоению языка приносились в жертву лучшие образцы древней классической литературы. Это была своего рода вивисекция. Эти операции над литературой вызывали явное нерасположение к объекту операции и совершенную неприязнь к тем, кто проделывал эти операции и над литературой, и над нами. А над нами совершали иногда нечто вроде инквизиции, в которой неисправимыми грешниками являлись вихрастые мальчишки, неуравновешенные подростки и юноши, у которых складывались свои вкусы и свои стремления. Всё, что не удовлетворяло точному штампованному, формальному трафарету, всё считалось неуспевающим. А неуспевающие, помимо нравственных страданий, постоянных унижений, подвергались оставлению на второй год и увольнению из гимназии. Сколько способных юношей оказывались в положении так называемых «путешествующих», т. е. переходящих из гимназии в гимназию, ищущих таких гимназий, в которых можно было бы укрыться от свирепствующих греков и латинистов. У нас в округе считалась наиболее благополучной по латинской и греческой чуме гимназия в Коломне. Одно время в Коломенскую гимназию был форменный наплыв московских путешествующих. И это были далеко не «отпетые», не бездарные, не классические лентяи.

О режиме классических гимназий недоброй памяти гр. Дмитрия Толстого много в свое время писалось. В художественной литературе даны яркие картины быта этих гимназий и педагогов в футляре и без оного. Мне хотелось бы бегло набросать несколько силуэтов педагогов нашей 2-ой Московской гимназии.

Вот несколько преподавателей древних языков моего времени. Это были 80-ые годы прошлого столетия. Может быть, это были хорошие люди. Нам этого не было видно. Они так отгородились от нас колючими проволоками неправильных

глаголов, всевозможных исключений, всяких ut finale, ut consecutivum, косвенными речами, герундивами, супинами и прочими препятствиями, что мы переставали видеть в них обыкновенных людей. Это были инквизиторы, мстители, каратели. При встрече с ними на улице или, еще хуже, в театре, чего Боже упаси! становилось как-то неловко, не по себе. Вот он, только что подловил меня в классе на какой-нибудь неправильной форме! Вот он, только что влепил мне двойку за этимологическую ошибку в экстемпорале. А в театре такие встречи вызывали состояние чуть ли не застигнутого с поличным на месте преступления. Вот, дескать, он ходит в оперу, слушает «Демона» с Хохловым, «Юдифь» с Корсовым, а не зубрит латинские тексты и не повторяет грамматику Черного...

Среди этих гонителей, убежденных и принципиальных, были и просто чудаки. В числе их наш инспектор К.В.Гетлинг, как уже было сказано, «кит» и «фуция». Это был немец, довольно плохо говоривший по-русски, большой, массивный, с изрядным брюшком. За эту тучность он и был прозван китом. Несмотря на свою полноту, он быстро носился по коридорам, взлетал по лестницам на третий этаж и всюду шумно наводил порядок, пресекал, предупреждал, карал и миловал. Это была бестолковая суета, «шабарша», как говорили старшие гимназисты. Он не был зол. К его шумливости и стремительности привыкли, его не боялись, с ним не считались, но и не очень любили. От него всего можно было ожидать. Такая же суета и бестолковщина были и в его преподавании греческого языка в младших классах.

Как известно, среди греческих глаголов есть глагол titemi. Некоторые формы его при ритмическом произношении звучали выразительно и даже красиво. И вот иногда, когда Гетлинг бывал в духе, он доставлял и себе, и всему классу большое удовольствие.

Отвечающий ученик начинал громко, нарочно повысив голос, скандировать: «Титей, титето, титетон, титетон, титете, титентон, титетоза».

Ритм и ударения были красивы и звучны. Гетлинг был в большом удовольствии.

— Ну, еще раз! — провозглашал он. И весь класс громко, нараспев, под управлением Гетлинга, в такт размахивающего руками, всё громче и громче выкрикивал спрягаемую форму. Хор повторял спряжение несколько раз. Гетлинг был в упоении. Наконец, спохватившись, восклицал:

— Тише, директор!

Хор обрывался. Гетлинг боязливо озирался на дверь, и опять начиналась скучная долбня неправильных форм и подлавливание зазевавшихся мальчишек.

А иногда почти половина класса вдруг получала за письменную работу по колу. Около этого кола была надпись: «Единица! Худо! За обман! Гетлинг»... В чём был обман — мы не знали. Но утешались тем, что кара и квалификация поступка поражала многих.

Еще чаще запутавшийся в склонениях ученик получал от Гетлинга такое определение: «Ну, конечно, ты дурак!»

Но бывали латинисты и греки не сумасбродные, вроде Гетлинга, а педагоги с каменной выдержкой. Среди них, кажется, первые места занимали наш директор С.В.Гулевич, О.А.Петрученко, Д.Н.Корольков и почти все чехи. Другие классики были более слабой разновидностью того же типа.

Гулевич считался в Москве одним из образцовых директоров. Гимназия у него была в полном порядке. Выпускные экзамены давали хорошие результаты. Гимназия считалась хорошо поставленной, особенно по преподаванию древних языков.

Директор был каменный. Это определение одинаково относилось и к его внутреннему существу, и к его внешности. Он был высок, массивен. Его большая голова с громадным открытым лбом и глубокими взлызами, была величественно посажена на его широкие плечи. Замечательно, что у него была очень короткая шея, совершенно неподвижная, — «волчья шея» — говорили про него. Чтобы повернуть голову, ему нужно было повернуться всем корпусом. Эта медлительность в движениях придавала ему особенную величественность. Он ходил большими шагами, держа руки в карманах брюк. Поступь его была важна, медлительно-величественна. Голос был низок и тоже величественный. Общий тон речи — безапелляционный. Слова отчеканенные. Глаза стеклянные, лишь изредка вспыхивавшие гневом. Он был движущимся изваянием. Это был классический тип холодного и бесстрастного начальства. Его все боялись, и гимназисты, и учителя, а особенно надзиратели. Его все стеснялись. При его приближении всё угасало — и смех, и шутка, и веселость. Наступала напряженная сосредоточенность, переходившая в великую, всепоглощающую скуку. Он мало говорил. Он вещал или отдавал приказания.

То же было и на его уроках. Он сидел неподвижно на кафедре и, казалось, с полным равнодушием слушал ответ ученика, вызванного к кафедре, скучно, без всякого увлечения переводившего Тита Ливия. Всё внимание было устремлено на то, чтобы не оговориться. Содержание было полностью поглощено формой. Приходилось иногда ловить себя и поспешно приводить себя в порядок, когда начинало увлекать содержание главы из Цезаря, когда начинали рисоваться картины чудесных метаморфоз Овидия, когда мы готовы были увлечься красноречием Цицерона. Всё это было не нужно в классе латинского языка, даже вредно, ибо отвлекало внимание от

синтаксического построения фраз, от своеобразных оборотов речи и глагольных форм.

А когда нас заставляли зазубривать наизусть целые страницы из Ливия, когда нас мучили двухчасовыми экстемпорале, для чего раздавали заранее заготовленные литографированные громадные тексты того же Ливия, когда мы должны были эти тексты тут же, без словаря и грамматики, переводить на латинский язык, — тогда мы преисполнялись ненавистью и к директору, и к методу преподавания, и к ни в чём не повинным Цезарю, Ливию, Цицерону и Горацию.

Таковы результаты. Интересно отметить, что в этих условиях у нас развивались своеобразные психозы. Я иначе не могу назвать того, что происходило с некоторыми из нас. Это напряжение бывало так неестественно, что получались какие-то странные провалы перенапряженного внимания. Я помню, например, свою систематически повторявшуюся ошибку, совершенно исключительную по своей нелепости. Ошибка эта преследовала меня. Я принимал всякие меры против неё. Писал роковое слово на медном кружке чернильницы, на промокательной бумаге, зажимал написанное слово в кулак... И тем не менее неукоснительно писал в экстемпорале romanibus, вместо romanis. Если это злосчастное romanibus попадалось в первых строках экстемпорале, директор подчеркивал это слово двумя чертами, ставил на полях знаменательное «этим. ош.», зачеркивал не читая всё остальное и ставил внизу жирную единицу. Выдавая тетради, он пожимал плечами и бесстрастным тоном произносил:

— Опять romanibus!

Если этого рода ошибки были своего рода неврастенией, которая была чрезвычайно развита в наше время в гимназии, то общее отвращение к классицизму было несомненно результатом системы, метода преподавания. Странно, что эти неглупые

люди, среди которых были совсем хорошие филологи и знатоки своего предмета, не хотели понять простой истины, что преподавание не должно быть только формальным. А может быть, они уже и не могли усвоить себе иной системы. Во всяком случае, их старания не увенчались успехом. Из выпускаемых классическими гимназиями учеников лишь самый ничтожный процент давал чистых филологов.

Если Гулевич нам внушал отвращение к латыни своим каменным педантизмом, то Петрученко достигал тех же результатов другими способами. В противоположность Гулевичу, это был человек очень маленького роста, с большим носом и предлинной бородой. Ходил он большими размеренными шагами по классу, а его черные глазки бегали из стороны в сторону и зорко следили затем, что творилось в классе. Казалось, он оглядит в окно, а в то же время оказывалось, что он видит, как сидящий на задней парте Шульц, великовозрастный рыжий немец, или подремывает после воскресного отпуска, или читает под столом книгу.

Гимназисты прозвали Петрученку, со дня его появления в гимназии, — Черномором. Его длинная борода была достаточным основанием для этого прозвища. А его жестокосердие в отношении к гимназистам оправдывало название по существу.

Петрученко преподавал греческий язык. Грамматика была в основе всего. Авторы анатомировались для торжества той же грамматики, а комментарии Петрученки при чтении авторов нередко смущали нас своим неожиданным оборотом.

Когда текст передавал миф о похождениях Зевса среди смертных, Петрученко неожиданно прерывал вялый перевод отвечавшего и, обращаясь к классу, заявлял:

— Вот какой Зевс был шалун! Он любил пошалить с красивыми женщинами! Правда, Шульц, Зевс был шалун?

Шульц с недоумением и тревогой поглядывает на Петрученку. А тот не унимается:

— Вот Шульц хорошо понимает, что значит шалить с женщинами. Он вчера тоже шалил. Правда, Шульц? Он вчера шалил, а сегодня мечтает!

Шульц пыхтит, неуклюже поднимается с лавки, становится красным, как рак, потеет и глупо улыбается.

А Петрученко наступает всё больше и больше. Смакуя похождения Зевса и Шульца, он расхаживает по классу, помахивая фалдочками своего фрака. И вдруг, стремительно, как коршун, направляется к Шульцу. Шарит в его столе и с торжеством вытаскивает французский роман, раскрытый на самом интересном месте. Раз ему попалась под руку фотографическая карточка какой-то скромной немки. Шульц клялся, что это его сестра. Но Петрученко продолжал свою атаку, пока не довел бедного Шульца до полного отчаяния.

Шульц был много старше нас. Ни с кем из нас не был близок. И в гимназию нашу перешел недавно. Он был нам чужой. Но несмотря на это, отношение Петрученки к Шульцу нам было противно. Мы мрачно молчали, нетерпеливо поглядывая на часы — сколько же осталось этого нелепого урока греческого языка.

Но бывали уроки и другого характера. При входе Петрученки в класс мы уже замечали, что он был зол. Тогда мы знали, что будет произведена экзекуция. И она производилась по трафарету. Замечательно, что мы никак не могли справиться со своими нервами и всегда оказывались побежденными, поверженными во прах налетом Черномора. Только очень немногие, и в том числе мой брат Александр, умели противопоставить озорству учителя свое хладнокровие и выдержку, не растериваясь и не поддаваясь на его происки.

Начиналась экзекуция с того, что Петрученко приказывал нам положить книги наши на стол и закрыть их, руки также положить на стол. Потом он принимался молча ходить по классу большими шагами, не глядя ни на кого из нас. Так продолжалось минут пять. Наши нервы напрягались, как струны. Вдруг он внезапно поворачивался на каблуках, останавливался среди класса и называл чью-нибудь фамилию. Вызванный поднимался и застывал в нерешительной позе не то готового бежать сломя голову, не то готового провалиться сквозь землю. За фамилией ученика следовало лаконическое слово, формулировавшее вопрос. Это был вопрос по склонению или спряжению. Система таких летучих вопросов заключалась в том, чтобы застигнуть врасплох. Поэтому далеко не все вопросы заключали каверзные исключения. Мы ждали именно исключений. А вопросы трудные чередовались с самыми легкими. Каждому по очереди задавался всего один вопрос. В течение каких-либо десяти минут весь класс был спрошен. Из всех ответов правильными оказывалось два-три, пылкого и живого моего брата Александра и флегматичного Флейшера. Случайно попадал правильно кто-нибудь третий. Все остальные ответы были ошибочны. Бухали что попало, наугад, так как ответы должны были следовать немедленно за вопросами. В результате, весь класс, за исключением двух-трех счастливчиков, получал по колу. Петрученко злорадно улыбался. Он был доволен. Психологический фокус опять ему удался. Влезая на кафедру, он говорил:

— Гимназист должен ответить на эти вопросы, даже если его разбудят среди ночи.

А мы были расстроены, возмущены, подавлены.

Такие эксперименты кончились не тогда, когда мы выучили грамматику, а когда научились оказывать сопротивление Осипу Антоновичу, когда нарочно медлили с ответом и откры-

то помогали не в меру растерявшемуся товарищу. Тогда эти психологические испытания или издевательства кончились.

Однажды, после такой экзекуции, раздосадованный на Петрученку, негодуя на себя, что опять попался на каком-то явном вздоре, я перестал слушать дальнейший урок и погрузился в рисование. Нарисовал безобразного идола и жреца, приносящего жертву этому идолу. Жрец был маленький, с длинной бородой и с развевающимися сзади двумя хвостиками в виде фалд. Я увлекся рисунком, тем более, что жрец вышел очень похожим на Петрученку. Пока я окружал эти фигуры соответствующим пейзажем, вдруг на мою тетрадь с рисунком быстро опустилась рука. Передо мной стоял Петрученко, незаметно подкравшийся. Он взглянул на рисунок. Поглядел на меня.

— Вы рисуете? И недурно... Похоже...

Взял листок, сложил и спрятал в свой карман.

Понял ли он символический смысл моего рисунка? Только возмездия не последовало.

Такие учителя не прививали нам любви к древним языкам, не порождали интереса и к основам языков. Не привязывали они и к себе. А их мы видали ведь каждый день. Это они создавали тон и содержание гимназической жизни. Они и были гимназией в прямом смысле слова. Он не столько учили, сколько боролись с нами. Боролись с ними и мы. Методы борьбы, как на настоящей войне, были самые неожиданные. В этой борьбе было всё дозволено. А самое страшное было то, что признававшееся морально недопустимым дома, в жизни, в отношениях между людьми, — было допустимо в гимназии...

Как бы апофеоз этой борьбы, как бы символ её, произошел при выпуске 1888 года. Это был наш выпуск.

Экзамен на аттестат зрелости в те времена был трудным экзаменом. Тут экзаменовались не только ученики данного состава VIII класса, экзаменовались преподаватели, директора, экзаменовались сами гимназии. Для каждого округа экзамены на аттестат зрелости происходили в один и тот же день и темы письменных работ были одни и те же для всего округа. Таким образом происходил как бы конкурс гимназий. В основе этих конкурсов лежали, конечно, темы по древним языкам. Проверялась восьмилетняя работа гимназии и умение учеников написать труднейшее и весьма длинное экстемпорале.

К этим экзаменам готовились и ученики, и учителя. Ученики неистово зубрили. Учителя подхлестывали, подтягивали учеников, чтобы не ударить лицом в грязь.

В большом напряжении проходили последние недели перед выпускными экзаменами. Приближались и самые роковые дни. Мы уже давно перестали ходить по московским часовням и ставить свечки чудотворным иконам. Детская вера покинула нас, хотя многие из нас сохранили свою религиозность.

И вот за два дня до начала выпускных экзаменов один из наших товарищей по VIII классу, Михаил Бородачев, таинственно заявил нам, что в Вязьме, где учился его брат, «добыли» темы и что темы будут доставлены в Москву, как только они будут переписаны. Всё это сообщалось под величайшим секретом. Как были «добыты» темы, оставалось неизвестным. Было, однако, вне сомненья, что пути эти были совершенно нелегальны. Мы, оканчивающие, были встревожены. Как быть? Можно или нельзя? Конечно, нельзя! Но это категорическое решение как-то не очень удовлетворяло и не исчерпывало вопроса. Решили ждать, что будет дальше. Там видно будет.

Наступили экзамены. Первый — русское сочинение.

Не без нравственного удовлетворения мы вошли в актовый зал. Мы не знали темы. Искушение пропало. Темы запоз-

дали. Однако, видно было, что многие волнуются и сожалеют, что не знали темы раньше.

Русское сочинение прошло благополучно. Через два дня латинский письменный экзамен.

И вот вечером поспешно, мне доставляют на квартиру пакет. В нём оказался невероятным почерком переписанный подлинный текст из Ливия. Сомнений нет, это тема латинского экзамена. Она у меня в руках. Посланный поспешно уходит, заявив, что ему нужно оббежать еще много квартир. Через несколько времени, уже поздно, раздается звонок и к нам почти вбегает наша учительница музыки, Анна Александровна, и шёпотом заявляет, что привезла нам темы из Вязьмы. Саша молчит. Я конфузливо говорю, что имею уже темы.

На следующее утро к нам является целая группа наших гимназистов, желающих совместными усилиями перевести текст, а главное, перевести его при участии брата Александра, который хотя и бросил заниматься латынью, но всё же знал предмет лучше других.

Саша еще вечером отказался посмотреть тему. Сегодня он наотрез отказался принять участие в переводе. Он коротко заявил:

— Я уверен, что мне дадут аттестат зрелости. А медаль, ну её к чёрту! Краденых тем знать не желаю!

Отказался и пошел играть на рояле.

Мы остались одни, сконфуженные, пристыженные прямотой брата. Но делать было нечего. Для большинства вопрос был предрешен. Отказаться от темы было нелепо, тем более, что судьба многих висела на волоске.

Итак мы узнали темы. Писали два экстемпорале — латинское и греческое — в обстановке полного к нам доверия. Столики, за которыми мы сидели, были отставлены друг от

друга более чем на сажень, чтобы нельзя было подсмотреть у соседа, перекинуться словом, тем более запиской. Не знаю, чего было больше в эти минуты, сознания ли совершаемого преступления или некоторой злой радости в процессе борьбы. Во всяком случае, было очень скверно на душе, и я с завистью поглядывал на брата Сашу, который углубился в перевод.

По выходе из зала не хотелось делиться своим настроением. Не все, однако, разделяли мое смущение и решительно мотивировали свою радость, как радость победы. Но и смущение, и торжество победителей было непродолжительно.

Мы явились на очередной экзамен, — уже начались устные — как ни в чём не бывало: острота впечатления от совершенного начинала исчезать.

Нас встретил Илья Семенович, в просторечьи Ильюшка-Цирюльник, словами:

— Что это вы наделали! Эх вы! Чем то всё это кончится! Наверху у директора помощник Попечителя Учебного Округа. Говорят, всех вас уволят. И как это вы заполучили темы!.. Эх, вы!

Илья Семенович сочувственно качал головой и разводил руками. Мы смущены. Но делать нечего. Дело сделано. Нужно принимать последствия.

Нас позвали наверх в актовый зал. Поставили в конце зала, а в глубине, у большого стола, стояли Гулевич и Исаенков и горячо о чём-то разговаривали.

Они оба направились к нам. Директор был полон олимпийского негодования. Исаенков испытующе поглядывал на нас. Раньше он был учителем в нашей гимназии и многих из нас знал хорошо.

— Ну, молодцы! Отличились! — начал директор свою речь.

Мы и сами знали, что отличились. Хотелось скорей узнать, чем же всё это кончится. А директор как будто нарочно тянул, читая нам длинное нравоучение.

Наконец, нам было объявлено решение Попечителя Учебного Округа. Нас хотели всех уволить, хотели оставить на второй год. Но решили заставить нас вторично держать письменные испытания по латыни и по одной из математик.

Мы вздохнули свободно. Возмездие — заслуженное. На душе и на совести стало как-то полегче. Мы искупали наш несомненный грех.

Борьба кончалась. В борьбе обе стороны потерпели немалый ущерб.

Вторичные испытания прошли благополучно. Мы получили наши аттестаты зрелости.

Часть вторая

Глава I. Университетские годы

Старший брат Паша уже в Университете. Он окончил гимназию с золотой медалью. Пошел на юридический факультет, хотя у него были несомненные склонности к философским наукам и к филологии. Выбор юридического факультета разочаровал гимназических классиков.

Подходит к концу и наш гимназический путь. Брат Саша сильно колеблется. По складу ума он был далек от отвлеченных наук. Его влекло к точным знаниям. Наш учитель математики, И.А.Фалеев, настаивал на том, чтобы брат Саша шел на математический факультет. Но его увлечение музыкой было не мимолетной прихотью, не забавой талантливого человека, а было настоящим влечением. По окончании экзаменов на «аттестат зрелости» мы целый день проходили с ним по окрестностям Москвы. Были в Петровско-Разумовском, в Медведкове. Заходили на дачу к Ильиным во Владыкине. Опоздали на последний поезд, ночью шли пешком из Владыкина домой. Во время этой прогулки Саша постоянно возвращался к вопросу: идти ли ему в консерваторию и посвятить себя музыке, или поступить в специальное инженерное учебное заведение. Его прямая, непосредственная натура не мирилась с половинчатыми решениями. Компромиссы были ему чужды. Он не мог делиться и делать что-либо наполовину. Музыку он не считал развлечением, но и избрать музыку, как главное дело жизни, он не решался. В нашей семье на искусство смотрели, как на нечто очень дорогое в жизни, но не самое главное. В основе жизнепонимания семьи было воззрение, что жизнь есть труд, труд суровый и ответственный, искусство же — радость жизни, её праздник, лучезарный дар. Гимназистами старших классов мы поочереди посещали симфонические концерты. У нас был один абонемент — место «за колоннами» в зале дворянских собраний, где давались

симфонические концерты. Не пропускали мы и других больших концертов. Мы, также поочереди, слушали исторические концерты Антона Рубинштейна. Симфоническими же концертами в то время управлял блестящий, но несколько сухой дирижер Эрмансдерфер. Слышали П.И.Чайковского, дирижировавшего своей знаменитой последней симфонией, слышали оркестр под управлением С.И.Танеева. Музыкальная культура занимала значительное место в нашей жизни. Но она была не на первом плане. Значительно более других музыке был предан брат Саша, а позднее младший мой брат, Володя.

Домой мы пришли, когда уже светало. Пришли усталые. Но решения не нашли. На утро Саша встал мрачным. Ни с кем не разговаривал. Наскоро напился чаю и сел за рояль. Он долго играл, играл со страстью. Знакомые вещи звучали сегодня както по-новому. Бетховен, Шопен, Григ, Лист и Бах сменяли друг друга. Саша словно искал чего-то, ждал от них ответа на мучивший его вопрос. Его тревожное, ищущее и вопрошающее настроение ясно выражалось в его игре. Лирические вещи его не удовлетворяли. Он начинал их и бросал недоигранными. Зато драматические вещи звучали с небывалой выразительностью.

— Ишь, как разыгрался сегодня наш Саша, — говорили сидевшие в столовой, — где это вы вчера так долго загуляли, что вернулись так поздно?

Я рассказал о наших разговорах во время нашего путешествия. Было ясно, что брат Саша еще не нашел решения, что он ищет его у рояля.

Через несколько дней стало известно, что Захарьины будут проводить зиму в Петербурге. Саша вдруг повеселел. Мрачность его вдруг исчезла. А через короткое время он заявил нам, что поступает в Горный Институт. Это было совершенной для всех неожиданностью. Но решение было

принято твердо и окончательно. Оно было тем неизменнее, что прекратило мучительные колебания. Выбор был сделан между искусством и практической работой. А Горный Институт! Это случайная подробность, вызванная случайным решением Захарьиных провести зиму в Петербурге.

Саша засел готовиться к конкурсным экзаменам. Работал без устали все лето, и с увлечением. Осенью блестяще сдал все нужные экзамены и поступил в Горный Институт. Около года провел он в Петербурге. Но вот от Саши письмо. Он просит отца и нас выяснить, может ли он перейти на медицинский факультет в Москву: Горный Институт ему не по душе, и ему хотелось бы вернуться в Москву.

— Вот как трудно Саша отыскивает себя и свой путь, — говорит отец, внутренне довольный, что Саша избирает медицинский факультет.

Начинаются хождения за справками. Оказывается, нужно особое разрешение Министра Народного Просвещения. Таковое получено. Саша возвращается в Москву.

Под его аккомпанемент я пою арию отца из Травиаты:

Ты забыл свой отчий дом,
Бросил ты Прованс родной,
Где так много светлых дней
Было в юности твоей.
Особенно выразительно выходят слова:
Годы поздние мои
Безотрадно, тихо шли,
Тщетно ждал в родную сень
Я тебя и ночь и день.
Скучен был мне отчий кров,
Ширь полей и тень лесов,
Грустный взор я не сводил,

Одинок я в жизни был.
Но прошел печальный срок,
В сердце нет былых тревог
и т. д.
Лес, поля, родной приют
Тебя, странника, зовут,
Отдохни на лоне их.
В их объятиях родных.
И т. д.

Все растроганы. Саша улыбается. Я широко, как отец в Травиате, открываю ему свои объятия. Няня Акулина заливается слезами. Мама Юлия Михайловна смахивает набежавшую слезу и целует Сашу. Отец очень доволен.

За вечерним чаем рассказ о Петербурге, о Горном Институте. О Захарьиных что-то нет упоминаний.

— Ну, а как Симочка? — спрашивает Володя.

— У них своя компанія, свой круг знакомых, военные, — нехотя бросает Саша.

Саша начинает ходить в университет. Каждое утро я с ним вместе быстрым шагом проходим Покровкой, Моросейкой, мимо красивой церкви Успенья, ныне снесенной большевиками, сворачиваем в Армянский переулок мимо Лазаревского Института, по Мясницкой, через Лубянскую и Театральную площади, по Охотному ряду, узеньким проходом между рыбными лавками и красной церковью Параскевы-Пятницы (тоже снесенной большевиками). Я иду в библиотечный зал, где читаются лекции студентам-юристам. Я уже на втором курсе юридического факультета. Саша проходит во двор старого здания Университета, в анатомический театр.

Недолго мы с ним так походили вместе. Он становился все мрачнее и раздражительнее. Новый факультет его явно не

удовлетворял, а анатомический театр вызывал непреодолимое отвращение. Он пересиливал себя, продолжал ходить и слушать профессоров медицинского факультета, но отталкивался от него все больше и больше.

Через несколько месяцев Саша заявил отцу, что не может более оставаться на медицинском факультете, что ошибся в выборе и что переходит в Императорское Московское Техническое Училище.

Происходят разговоры в кабинете отца. Отец сожалеет, пытается привести доводы в пользу медицины. Но не настаивает, не желая насиловать волю.

Опять хлопоты о принятии, опять экзамены и поступление на первый курс нового, уже третьего по счету, высшего учебного заведения. Это было окончательным решением и выбором брата Саши. Техническое Училище он окончил блестяще, в нем был профессором по кафедре гидравлики и водяных турбин, был деканом механического отделения и помощником директора этого училища имевшего громадное значение для Московского промышленного района.

Я тоже не сразу выбрал себе факультет. Мне хотелось пойти на медицинский. Хотелось это сделать, между прочим, и потому, что отец несколько печалился, что никто из его сыновей не хочет последовать его примеру и стать доктором. Но в то же время мои личные склонности и свойства влекли скорее в область гуманитарных наук. Отыскивая решение вопроса, как мне быть, — я пришел к несколько лукавому выводу: я пойду на медицинский факультет, но сначала пройду юридический. Это нужно для того, чтобы стать образованным и просвещенным врачом. Так на этом и порешили. Однако, решение это не осуществилось. Юридический факультет я окончил, а для прохождения после этого еще пятилетнего курса медицинского факультета не хватило энергии и духа. Да и интересы за годы

юридического факультета определились. К тому же нужно было, как говорилось, «становиться на собственные ноги» и помогать отцу, силы которого начинали слабеть.

Через три года и младший брат, Володя, поступил в Университет и тоже на юридический факультет, хотя у него ярко выражен был интерес к истории.

Таким образом, мы трое братьев оказались на юридическом факультете Московского Университета и притом, как бы в некотором несоответствии с нашими симпатиями и склонностями.

В то время, а это был конец 80-х годов, юридический факультет Московского Университета был самым многолюдным. С ним мог конкурировать только медицинский факультет, но там был определенный комплект. На юридический факультет валом валил молодой народ, получивший аттестацию о зрелости. Приходится признать, что сравнительно небольшое число студентов шло на этот факультет по призванию, по ясно выраженному желанию изучить право, ради интереса к праву. Факультет этот выбирался многими как самый легкий, как не замыкающий в пределы строгой специальности, как дающий общее образование. На него шли нередко, соблюдая семейную традицию, следуя примеру отцов и родичей. Шли, рассчитывая сделать карьеру, рассчитывая на хороший заработок «дядюшки адвоката». Но были и такие, которых пленяла изящная стройность юридических норм римского права, философия права, экономические науки, независимость судьи, идейная сторона адвокатской деятельности, защита угнетенных. Народников увлекала перспектива изучения политической экономии и постижение экономического материализма. Но большинство решало вопрос путем отрицания: филология надоела в гимназии, математику не люблю и рад, что отделался от едущих курьеров, бассейнов, наполняемых водой, естественных наук

не знаю, гимназия не давала о них ни малейшего представления. Итак, все отвергнуто. Остается юридический факультет. Поступлю на него, а там видно будет, что будет дальше.

Довольно скоро отбирались на факультете студенты занимающиеся, проходящие университетские науки, и лодыри, проходящие через университет.

Многим приходилось выдерживать жестокую борьбу за существование, пробиваться грошевыми уроками, перепиской, голодать и нередко изнемогать в этой борьбе. Эти студенты, истощенные, серые, в старых студенческих сюртуках и в скомканных темно-зеленых, с выцветшим околышком, фуражках, иногда без пальто даже в зимние стужи, так бесконечно отличались от «белоподкладочников». Те были в изящных мундирах в талию, на белой подкладке с гвардейской грудью, с длинной шпагой золингенского клинка. Они ходили зимой в николаевской шинели с мягким бобровым воротником с сединой. Эти франты держались в стороне, не смешивались с остальной массой. Впрочем, они скоро стали редкими гостями в университетских аудиториях, предпочитая другие, более веселые места в Москве. Разительным контрастом были два студента, оказавшиеся на нашем первом курсе юридического факультета. Маленький, живой, страстный и порывистый в речах и движениях Дубровин. Смуглый, по-видимому южанин, с горящими черными глазами. В рваном студенческом сюртуке нараспашку, в красной рубахе, вызывающе торчавшей из-под сюртука, в мятой фуражке на затылке, — он всегда на что-то негодовал, всегда протестовал против чего-то, с кем-то спорил и иногда заразительно смеялся. На лекциях бывал редко и начинал заниматься, как говорили, «с мочеными яблоками», т. е. перед самыми зачетными экзаменами, великим постом, когда в Москве появлялись разносчики с мочеными яблоками. Мы вступили в университет, когда только что был введен новый

устав, когда введены были полукурсовые испытания и репетиции. Но это не меняло положения. Система начала занятий с мочеными яблоками, т. е. перед самым началом испытаний, оставалась в полной силе.

Если в лице Дубровина мы видели вольнолюбивого, неукротимо протестующего студента, непременного участника всяких сходок, то в лице Оттона Фрейната мы наблюдали совершенно иной тип. Это был высокий белесоватый немец, всегда гладко выбритый, всегда одетый с иголочки в ловко сшитый сюртук, с накладными пуговицами. Это был типичный фат. Его сюртуки имели разные подкладки. Была и белая, но была и светло-синяя, которую он небрежно выставлял напоказ. Он являлся в аудиторию одним из первых. Садился у самой профессорской кафедры, причем так, чтобы быть всегда на глазах у профессора. Слушая лекции, он записывал их в аккуратно переплетенную тетрадь и в то же время сочувственно и почтительно слегка кивал головой в знак того, что он всё слышит, всё понимает и всему, что говорит г. профессор, почтительно сочувствует. Он ловил взор профессора и громко смеялся, когда профессор говорил какую-нибудь забавную вещь. Он приходил на лекции со своей чернильницей и добивался, чтобы случайно занявший его место студент пересел на другое место. В перерыве между лекциями он становился около кафедры лицом к аудитории, засунув руки в карманы, обнаруживал свою подкладку и с легким презрением оглядывал разношерстную аудиторию. Он искал знакомства только с богатенькими, со студентами, носившими имена, известные в городе, или приобретшими популярность в университете своими занятиями. Это был рассказчик сальных анекдотов, человек, поставивший себе целью сделать карьеру.

На нашем курсе было около 300 человек. Общей жизни не было, соприкосновения стали происходить впоследствии при

занятиях, на семинариях, в библиотеке. Ближе мы узнавали друг друга в кружках, где слагались прочные отношения. А пестрая масса народа, собиравшаяся в первое время в большой аудитории юридического факультета, в библиотечном зале, была настолько велика, что мы в ней тонули. Эта масса была довольно безлична и не имела руководителей. Среди этой разношерстной толпы юношей выделялся студент, тоже в студенческом сюртуке с синим воротником и громадной каштановой бородой, по фамилии Зданович. Он был старше нас, юнцов, только что соскочивших с гимназической скамьи, и обращал на себя внимание своей на диво громадной красивой бородой. В глаза бросались еще два неразлучных студента. Очень высокий, очень плотный и складный Г.В.Филатьев, и маленький, тщедушный, с большим носом Санандинаки. Они были всегда вместе и неразлучны. Среди толпы облеченных в мундиры резко выделялись два вольнослушателя, один пожилой, с сильной сединой, Боголепов, и тонкий, сухой, длинный, в черном, застегнутом на все пуговицы сюртуке, Ремизов. Последний — очень культурный человек, большой любитель музыки и видный деятель по Комитету вспомоществования нуждающимся студентам. Он вместе с нами, юношами, участвовал в практических занятиях у профессора Н.П.Боголепова и переводил Leges duodecim tabularum. В этих семинариях пылкий и бестолковый кн. Бебутов переводил латинские тексты с невероятной поспешностью, усердием, но и с такой наивной бессмыслицей, что даже Боголепов, каменный и неподвижный, улыбался и торопился на защиту законодательства двенадцати таблиц.

Среди моих однокурсников был П.Н.Малянтович, впоследствии видный московский адвокат, эс-дэк и недоброй памяти министр юстиции Временного Правительства. Ближе других мне был мой товарищ по гимназии, впоследствии

перешедший в Лазаревский Институт, А.Д.Солодовников, с которым меня связывала большая дружба, и А.Н.Тольский, очень толстый человек и очень способный, впоследствии мировой судья по гор. Москве. Исключительных способностей и дарований был С.А.Вержболович, с которым я близко сошелся по работе у профессора И.И.Янжула. Это был человек, который торопился жить и работать. Он сгорал на работе, а блеск его дарований поражал тех, кто видел его. В большой нужде, больной, с женой и младенцем на руках, он приглашен был И.И.Янжулом остаться по его кафедре. Это был бы несомненно один из самых талантливых его учеников. Вержболович быстро умер от чахотки.

Особой близости с моими однокурсниками у меня не было. Я был вовлечен в другой кружок студентов, которые были несколько старше меня.

Годы моего студенчества по политике были мало заметными годами. Накануне нашего вступления в Университет произошла шумная история Брызгалова и Синявского. В наши годы один только раз студентов загоняли в манеж и отправляли на Бутырки. В это время я лежал дома с высокой температурой. Больших волнений не было. Политических кружков я сторонился. Уж очень крепким духом социализма от них несло. Помню, как от нас отобрали подписку о неучастии в забастовках и нелегальных организациях. Помню неловкость и обиду, которые испытал. Как давать обещание на будущее? Эта подписка не связывает с теми, кто ее отбирает, скорей вооружает против них. Ругаясь и негодуя, Дубровин, в красной рубашке, дал такую подписку. Подписал, обругался и плюнул. Подписали и мы с Солодовниковым.

Первые недели все поступившие в Университет студенты, в полном составе, являлись на все лекции посмотреть и послушать профессоров, побыть в аудиториях Московского Универ-

ситета, благоговение к которому было велико. Юристы ходили не только на свои лекции. Для многих было необходимо, входило в их план, познакомиться с преподаванием на других факультетах, чтобы решить окончательно вопрос о выборе факультета. Поэтому можно было встретить в чужих аудиториях своих сотоварищей по первому курсу юристов. Одни были веселы и беззаботны, немного свысока делали свои замечания по поводу лекций И.И.Стороженко, А.Н.Веселовского, В.И.Герье и других профессоров историко-филологического отделения. Другие с напряженным вниманием слушали чужие лекции, очевидно отыскивая решение на вопрос: остаться ли на юридическом, или сбежать на историко-филологический? Но и те, и другие, и прогуливающиеся по чужим факультетам из любопытства, и старающиеся определить, что более отвечает их свойствам, — одинаково были пленены В.О.Ключевским. Этот профессор завораживал своим чтением. Его аудитории бывали переполнены любителями Ключевского из всех других факультетов. Так продолжалось до той поры, пока администрация университета не приняла решительных мер. Тогда у входных дверей аудитории, в которой читал Ключевский, ставили педелей других факультетов, которые вылавливали «иностранцев».

Заходили юристы и на медицинский факультет, в анатомический театр. Пробирались и на судебно-анатомические вскрытия. Для многих первые впечатления были решающими. Мой брат Володя, поступив на юридический факультет, зашел как-то в анатомический театр. Тяжелый запах и вид столов, на которых были разложены трупы, из коих часть была искромсана студентами, так на него подействовали, что он выбежал из залы, повторяя в волнении: «руки, ноги! руки, ноги!» С тех пор он избегал даже проходить мимо анатомического театра.

Первые впечатления от университета проходили. К актовому залу, к аудиториям успели присмотреться. Узнали своих и чужих профессоров; послушали рассказы о традициях университета, кое-какие интересные воспоминания послушали от стариков-швейцаров, огляделись и стали понемногу приноравливаться к новым методам занятий. Празднично-безответственный период проходил. Нужно было начинать самостоятельно заниматься. А к этому гимназия плохо подготовляла. Немногие вынесли из неё уменье и привычку работать самостоятельно. А тут — полная свобода, сознание всей полноты всех прав и... и... кажется, никаких обязанностей? И это после гимназии, где не было никаких прав и одни только обязанности!

Испытание для многих оказывалось довольно трудным. Не все его выдерживали. Для многих первый год пропадал целиком. Особенно трудно давалось это испытание на самостоятельный, свободный труд для приехавших из провинции. Перед ними Москва широко раскрывала все свои соблазны.

Профессора нашего факультета

Среди профессоров юридического факультета нашего времени первое место бесспорно принадлежало А.И.Чупрову. О нем так много сказано прекрасного и задушевного А.А.Кизеветтером в его книге «На рубеже двух столетий», что ничего не прибавишь к ожившему под его пером образу профессора и человека. Наука, человечность и служение людям так гармонически сочетались в нем, так увлекательны были его лекции, в которых он был безмерно щедр на мысли, идеи, в основе которых были прогресс и общее благо. Так неизгладимо интересны были встречи с ним, обаятельно было внимательное его отношение ко всякому вопросу, обращенному к нему.

«Когда начинает читать Чупров? Были ли вы на лекции Чупрова?» — эти вопросы задавались студентами, только что начинавшими университетский курс. Популярность А.И.Чупрова была, пожалуй, не меньше популярности Ключевского. На лекцию Ключевского шли с чужих факультетов немножко как на выступление знаменитого артиста. На Чупрова шли посмотреть, как на выдающегося человека своего времени, человека, участие которого в общественной жизни ощущалось повсюду. У Чупрова была постоянно полная аудитория. Около него был постоянно кружок способных и даровитых студентов, которые под его руководством вели серьезную научную работу.

Для вчерашних гимназистов незаменимой школой было преподавание римского права Н.П.Боголеповым. Сухой, холодный, бесстрастный — каменное изваяние — всегда ровный и, казалось, ко всему равнодушный, скучно монотонный в чтении лекций, Боголепов был для начинающих студентов совершенно ясен и отчетлив. Ясны и отчетливы были его лекции. Ясны и точны были его требования, обращенные к студентам. Просты и отчетливы были его практические занятия. Желающим заниматься было удобно работать у Боголепова. Его семинарии так напоминали гимназию с переводами с латинского на русский. Точный и ясный в том, что он давал студентам, он был требователен на полукурсовых испытаниях и на экзаменах. Он требовал от студентов такой же точности и ясности. Далеко не все могли удовлетворить этим требованиям, и поэтому Боголепов считался грозой студентов. Перед ним трепетали. Многие не выдерживали его холодных, стеклянных глаз, его сухого тона и леденящего безмолвия во время ответа всё более растеривающегося студента. Со мной вместе, по алфавиту фамилий, экзаменовался некий Айзенберг, краснощекий студент-еврей, в сшитом по моде студенческом мунди-

ре. Я благополучно ответил на все вопросы Боголепова. Айзенберг несколько раз просил дать ему возможность успокоиться и подготовиться к ответу. С разрешения Боголепова он несколько раз отходил от экзаменационного стола, усиленно пил воду, капал в стакан валериановые капли, его щеки то бледнели, то заливались краской. Бедняга никак не мог справиться с собой и решиться начать отвечать. Наконец, Боголепов спросил его, чего это он так волнуется, если не знает, может не отвечать и прийти в другой раз. Ответ Айзенберга был совершенно неожиданный:

— Ах, господин профессор, ваше превосходительство, это из уважения к начальству!

Боголепов невозмутимо прогнал его с экзамена.

Свирепым экзаменатором считался профессор Янжул. Этот был труден на экзаменах своей неожиданностью и грубостью. Его вопросы вроде: «Сколько собак в Англии?». Недоуменно смущенный вид студента на подобный вопрос считался незнанием и влек за собой провал. «Статистические цифры в финансовом праве господа студенты должны знать без запинки», — говорил Янжул, произнося шипящим звуком букву «с». Налог на собак в Англии был изложен в курсе Янжула. Там указан был размер этого налога, исчисленный по количеству собак...

Нелепый и бестолковый на экзаменах, Янжул был интересен на своих лекциях и, особенно, на практических занятиях. Он сообщал массу интересных фактов из того, что делалось в Западной Европе и Америке в области культуры и просвещения. Он несомненно будил мысль, давая не только отвлеченные, теоретические схемы права, а реальное претворение этих схем в подлинной жизни. В этом отношении он, может быть, более, чем другие профессора, вызывал инициативу и побуждал к действию. Это он в своем живом рассказе о народных

университетах в Америке вызвал целое движение среди студенческой молодежи. По этому поводу образовался кружок лиц, которые с оживлением обсуждали вопрос, что можно сделать в этом отношении в России. Решили пойти посоветоваться к Янжулу и просить его взять это дело в свои руки, сами же инициаторы обещали свое живое содействие и привлечение нужных средств. Янжул выслушал господ «студентов», почесал свою тыквообразную лысую голову и ответил, что его дело — бросить мысль, дать инициативу, а осуществляют эту инициативу пускай другие. «Делайте сами. Мое дело — подать идею».

Его семинары проходили очень оживлённо. На них читались и обсуждались рефераты студентов. На этих занятиях я сблизился с упомянутым Вержболовичем, И.Х.Озеровым, будущим заместителем Янжула по кафедре финансового права. Хорошо помню реферат Андреева об утопии Беллами. Реферат вызвал оживлённые прения, которые велись в ироническом тоне. Книга Янжула «Книга о книгах» была полезна и нужна нам не только в университетские годы. Она была руководством для чтения и в последующие годы. Его статьи и речи, изданные в двух томиках, свидетельствовали о том, что он был не теоретик, а живой человек, замечавший всё живое в жизни, откликавшийся на это новое и живое и популяризировавший то, что было бы полезно России.

Толстый, неуклюжий, грубоватый по внешности, он был общителен. По четвергам он принимал у себя в тесненькой квартире на углу Арбата и Денежного переулка. Его приходилось видать и в других профессорских кружках. Я бывал у него на его четвергах и видел его окружённого заботами его жены, Екатерины Николаевны. Заходил и по поводу своих работ в его семинарии. Несколько раз звал он меня к себе, когда предлагал

остаться при его кафедре и готовиться к магистерскому экзамену.

Много обещал нам, первокурсникам, и даже увлекал первое время, профессор энциклопедии права, а на втором курсе — философии права, Н.А.Зверев. Маленький, сухонький, он очень выразительно читал свой курс без особых туманностей, в доступной и даже увлекательной форме. Его манера читать лекции была своеобразна. Казалось, он вот именно сейчас находит счастливые формулы для выражения своих мыслей. Он сумел найти созвучие со слушателями, которых он как бы делал соучастниками в процессе творчества, которым казались его лекции. Я ходил на его лекции аккуратно и всё более заинтересовывался его предметом и его манерой изложения. Увы, некоторое разочарование сменило прежнее очарование, когда я познакомился с литературой предмета: курс, который читал Зверев, был почти дословным повторением учебника Льюиса. Столь подкупающее творчество оказалось чужим, довольно просто и точно изложенным в учебнике.

Но всё же лекции Зверева были несравнимы по живости с лекциями Мрочек-Дроздовского, А.Н.Филиппова, читавших историю русского права. Филиппов был невыносимо тяжелым лектором. Слова ему не подчинялись и речь его, даже по запискам, была нескладная, серая, бездарная. Мрочек-Дроздовский оживлял свои лекции анекдотами, иногда более чем сомнительными с точки зрения вкуса и элементарного приличия.

Профессор богословия, протоиерей Сергиевский, высокий старец иконописного облика в муаровой рясе, собирал первое время переполненную большую словесную аудиторию: его должны были слушать первые курсы всех факультетов. Лекции не увлекавшие нас, не талантливые. При внешнем сопоставлении лекций по богословию с лекциями по другим дисципли-

нам, успех и преимущество были на стороне первых. Отношение к богословию было чисто формальное. Нужно было сдать зачёт. Это делалось легко.

Мой приятель П.М.Богаевский, изрядно запустивший все зачёты, должен был во что бы то ни стало сдать богословие. Полистав конспект, порасспросив, о чём спрашивает батюшка, он отправился на экзамен после вечера, проведённого где-то шумно и весело. На вопрос о свойствах Божиих, Богаевский стал что-то молоть очень возвышенное и очень непонятное. Однако, он говорил громко и уверенно, тараща свои выпуклые глаза на экзаменующего священника.

Отец Сергиевский молча слушал его и, воспользовавшись паузой в неудержимой речи отвечающего, спросил:

— Откуда вы всё это знаете, господин студент?

— Из откровения Божия, господин профессор! — последовал убеждённый ответ.

— Вы бы лучше из моей книжки, — невозмутимо ответил Сергиевский, ставя «удовлетворительно».

На других курсах нас встречали новые профессора. В те годы юридический факультет Московского университета не блистал светилами. Ни Ковалевского, ни Муромцева уже не было среди профессуры. Были способные и знающие профессора, как например Гамбаров. Но у него установилась репутация ленивого профессора. Нерсесов барабанил свой курс торгового и вексельного права без всякого интереса и к предмету, и к слушающим его скороговорку. Интересен был не столько профессор, сколько его две хорошенькие дочки, кажется, почти каждое утро встречавшиеся мне по дороге в университет, в Армянском переулке.

Уголовное право читал Колоколов. Курс его состоял из множества разнообразнейших теорий по всем вопросам уго-

ловного права. Он беспощадно расправлялся со всеми теориями, иногда остроумно, иногда совершенно бездоказательно. Колоколов был бесцветен, скучен и неувлекателен. У него была репутация Дон Жуана. Глядя на него и слушая его монотонное чтение, лишённое искры Божией, видя его тёмное пенсне, скрывавшее его глаза, не верилось в правильность прочно установившейся репутации. А между тем факты были неоспоримы.

А.С.Алексеев читал государственное право. Этот профессор имел свои несомненные достоинства. Ф.Ф.Кокошкин, его ученик, вспоминает о нём с большим уважением. Но левое студенчество не могло ему простить того, что он заместил ушедшего «по независящим обстоятельствам» М.М.Ковалевского и согласился читать курс сокращённый, из которого, по словам обвинителей, были исключены те части, которые могли волновать умы и порождать бессмысленные и несбыточные мечтания.

А.С.Алексеев аккуратно и добросовестно излагал свой курс. Подробно развивал теории Монтескьё — Руссо, добросовестно давал систематический материал по преподанной программе. Для студента вообще этого было достаточно. А для желающих более подробно ознакомиться с предметом или отдельными вопросами, двери его кабинета были постоянно открыты. На экзамене у А.С.Алексеева со мной произошёл забавный случай.

Я был занимающимся студентом. По государственному праву работал и пользовался указаниями А.С.Алексеева. Курс его знал и не очень беспокоился перед экзаменом. За несколько дней до экзамена вижу во сне, что мне попадается 21-й билет по государственному праву. Сон запомнился и утром первым моим движением было посмотреть по программе, что это за 21-

й билет. Оказался это Комитет министров. Билет лёгкий. Посмотрел и перешёл к штудированию всего курса.

В день экзамена опять снится мне 21-й билет. Иду в университет. В большой словесной аудитории должен происходить экзамен. От кого-то сильно пахнет валериановыми каплями. Входит Алексеев. Раскладывает перед собой веером билеты. Начинается экзамен. Вызывает меня. Мы знакомы. Раскланиваемся. Поднимаю руку, чтобы взять билет. Рука направляется к правому концу веера и как-то сама переходит к левому концу и берёт третий билет с края. Поднимаю билет, переворачиваю... 21-й. Я побледнел и издал какой-то звук не то недоумения, не то смущения. Алексеев вопросительно смотрит на меня: «Может быть, переменить?» — «Нет, нет!» — заявляю я, отходя на скамью, чтобы готовиться.

Готовиться мне не пришлось. 21-й билет я знал хорошо. Но пока отвечал студент, вызванный передо мной, я погрузился в размышления о странном случае с 21-м билетом. Нечего и говорить, что экзамен прошёл блестяще.

Студенческие годы пролетали с неимоверной быстротой. Курсы, профессора, экзамены, семинарии, рефераты, доклады, сочинения — всё это сменялось, чередовалось и сплеталось с жизнью, которая шла вне стен университета, часто связанная с ним, а часто далёкая от него, даже в противоречии с ним. В студенческие годы произошли новые встречи, образовались новые связи и привязанности.

Мой большой друг, которому я весьма многим был обязан в первые годы моей студенческой жизни, Н.Н.Харузин, был в центре небольшого кружка студентов, которые с чрезвычайным увлечением и серьёзностью принялись за изучение этнографии и обычного права. Н.Н.Харузин, студент-юрист, ещё со старших классов гимназии пристрастился к этнографии. Работая под руководством профессоров В.Ф.Миллера, Д.Н.Ану-

чина, он занял выдающееся положение среди этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Его работы по этнографии, его большой труд, исследование о лопарях, привлекли внимание. Большие средства, затраченные им на издание «Этнографического сборника», передали ему в руки большое научное и хозяйственное дело по изданию этого учёного журнала. Его брату Алексею Николаевичу принадлежал тоже очень солидный труд по этнографии — это исследование киргиз Букеевской орды. Н.Н.Харузин привлёк к своей работе ряд студентов. В их числе оказались мой брат Павел Иванович, П.М.Богаевский, В.В.Кандинский, впоследствии Солодовников, Е.О.Шарко и др. В этом кружке принял живое участие и я, что дало мне возможность совершить несколько интересных этнографических поездок в Тамбовскую губ. и в Эстляндию. Работа по этнографии так захватила нас, что некоторые почти прервали свои занятия в университете и только с опозданием на год, или более того, окончили университет. Брат Павел Иванович заболел, вышел из университета и окончил Ярославский Демидовский лицей.

С работой по этнографии связаны воспоминания об интересных вечерах, проведённых мною у художника Николая Авенировича Мартынова. Он не столько был известен как художник, сколько как учитель рисования. Кто, кто только не учился у него из нашего поколения: тут были и молодые девушки с талантом и без всякого таланта, тут были студенты и профессора, и люди всякого звания и положения в обществе. Проф. Северцев, зоолог, рисовал у него птиц. Другие приходили научиться у него техническому рисованию. Среди последних был и я, который в качестве рисовальщика должен был ехать в этнографическую экспедицию на Кавказ, с проф. В.Ф.Миллером во главе. Мне нужно было выправить моё рисование, что и заставило меня обратиться к Н.А.Мартынову,

проживавшему тогда в Ваганьковом переулке, в доме кн. Долгоруковых. Как ни разнохарактерна была компания учеников Мартынова, собиравшаяся у него по вечерам, но все без исключения были чрезвычайно удовлетворены этими вечерами.

Пока я вырисовывал акантовые листья или растушёвывал орнаменты с гипса, а другие рисовали и писали, что им полагалось, под руководством Николая Авенировича, его дочь играла на рояле или читала вслух письма Крамского или другие вещи, имеющие отношение к искусству. Время пролетало незаметно. Настроение создавалось превосходное, помогавшее работать. Эти вечера были большой и светлой радостью и память о них и милом Николае Авенировиче сохранилась на долгие годы.

Кружок Харузина был интересен и по работе, которую он производил, и по тем людям, которые связаны были с этой работой. В доме Харузиных на Собачьей площадке, в большом особняке с мезонином, собиралось по средам интересное, довольно разнообразное общество. Семья Харузиных, купеческого происхождения, была очень одарённой. Мария Михайловна Харузина принимала у себя друзей и знакомых своих сыновей. Три сына — Михаил, Алексей и Николай — все очень способные, все с интересом работали в области науки. Старшие, Михаил и Алексей, делали административную карьеру. Михаил состоял чиновником особых поручений при кн. Шаховском, Эстляндском губернаторе; он рано умер. А Алексей дослужился до должности товарища министра внутренних дел и при его участии были произведены знаменитые выборы в 3-ю Государственную Думу. Николай Николаевич остался верен науке и продолжал работать по этнографии до самой своей весьма ранней смерти. Ему деятельно помогала его сестра Вера Николаевна, которая посвятила свою жизнь служению науке и памяти своего брата после его смерти. С ними у

брата Павла Ивановича и у меня установились добрые, дружеские отношения.

У Харузиных по средам мы встречали профессоров А.П.Богданова, Д.Н.Анучина, И.И.Янжула, Н.П.Стороженко, А.Н.Веселовского, хранителя Исторического музея кн. Щербатова, В.Н.Сизова, Орешникова. Изредка появлялся М.М.Ковалевский. Постоянными посетителями сред были участники кружка Николая Николаевича, молодые этнографы, среди которых были Н.Я.Янчук, В.В.Каллаш и др. Бывал там завсегдатаем наш друг с молодых лет, Вл.Ив.Арандаренко, который впоследствии женился на Елене Николаевне Харузиной.

Харузинские среды проходили не очень весело. Однако, нередко среди профессоров завязывался интересный разговор об искусстве, о литературе. Интересны были рассказы о летних экскурсиях по Кавказу Миллера. Шумен и говорлив был Янжул. Остроумен и язвителен В.Н.Сизов. Марья Михайловна Харузина, уже старая женщина, с рыжевато-оранжевыми волосами, была со всеми изысканно любезна и с особой восторженной похвалой отзывалась на всякую доблесть или смелый поступок. Она жила в грёзах, окружая себя фантастическими образами рыцарей. Эту слабую струну Марии Михайловны знали и охотно рассказывали что-нибудь героическое, «рыцарское». Когда разговор оживлялся в гостиной и в центре его оказывался кто-либо из маститых профессоров, около которого образовывался тесный кружок слушателей, Марья Михайловна брала меня под руку и вела в залу. Я уже знал, что будет следовать дальше.

— Ну, милый Николай Иванович, спойте «Иль на щите, иль со щитом»!

Я отнёкивался, ссылался, что не в голосе, указывал на Е.О.Шарко, который любил попеть при публике. Но всё было безуспешно. Рояль открыт. У рояля уже сидит постоянная

наша аккомпаниаторша Мария Александровна и берёт первые аккорды глинковского «Прости, корабль взмахнул крылом, зовёт труба моей дружины». Я начинаю петь «рыцарский романс». Мария Михайловна довольна. Ей особенно нравится, как «на ста языках сто певцов запоют и заиграют». А заключительная фраза «иль на щите, иль со щитом!», произнесённая с особым выражением, приводит её в полный восторг. Она аплодирует и говорит, что у меня как-то по-особенному выходит эта заключительная фраза.

Следом выступает Е.О.Шарко. У него большой репертуар. Голос у него несколько сух, слегка деревянный. Но поёт он охотно. На звуки рояля из гостиной выходят дамы. Величественная Евгения Викторовна Миллер, с пышным, высоко поднятым высоким корсетом бюстом. Она часто смеётся. Но смех её не отражается на её красивом и холодном лице: оно остаётся почти неподвижным. А.К.Сизова живо на всё реагирует и вставляет свои замечания по поводу происходящего в зале.

Иначе проходили вечера в кабинете Николая Николаевича. Тут раскрывалась его очень одарённая и глубокая натура. Большие и широкие планы набрасывал он будущего развития этнографического отдела, будущих этнографических исследований России. Он торопился работать, боясь опоздать, предчувствуя, что жить ему недолго. Какая-то тревога не оставляла его. Воспитанный, владеющий собой, он временами впадал в прострацию и бессилие. Чувство неудовлетворённости не покидало его, несмотря на большой, признанный успех в науке. Много вечеров мы провели с ним в его кабинете. Наши разговоры касались самых разнообразных предметов. Только не было в них политики. Нас сближало взаимное чувство большой приязни. В минуты усталости и душевного упадка,

которые часто случались с ним, он вдруг встряхивался и, обращаясь ко мне, говорил:

— Ну, жердочка (так меня звали за мою худобу и рост), спой «Знойной мы степью идём».

И я исполнял арию Олоферна из «Юдифи», подражая Корсову, который мастерски исполнял её, сопровождая выразительной игрой. Иногда Николай Николаевич просил исполнить «Три карты» из «Пиковой дамы».

Так наши беседы об этнографии, о жизни, об окружавших людях перемежались с пением из опер. Ему всё чаще требовалось возбуждение, которое он стал находить в вине.

Он умер сравнительно в ранние годы, от общего перерождения внутренних органов. Смерть эта опечалила многих. Он умер, не успев осуществить своих планов. Вспоминая об этой рано прервавшейся, очень одарённой жизни, лица, знавшие его, отмечали в его судьбе роковую роль интенсивного развития умственных и духовных сил у представителей недостаточно подготовленных к этому напряжению сословий. В данном случае, это было первое поколение старого купеческого рода, которое вступило в интеллигентскую среду и заняло в ней видное положение. Но напряжение сыграло в судьбе одного из самых даровитых представителей семьи, в судьбе Николая Николаевича, фатальную роль.

Шумно и весело проходили вечера у Сизовых. Небольшая квартира наполнялась и профессорами, и «молодежью» из театрального училища. В этой семье совсем не было тихого промежутка времени, пока собирались гости. Шум и гам, хохот, восклицания начинались разом при появлении гостей. Впрочем, здесь гости почти не переводились, и каждый вечер кто-либо заходил посидеть, поболтать, справиться о чём-нибудь, рассказать какую-нибудь театральную новость. А в вечера, когда приглашали гостей, здесь бывал настоящий улей.

Шум, возгласы, перекрикивание друг друга, шутки, споры не смолкали. На всех нападало какое-то возбуждение. Один только Алексей Николаевич Веселовский оставался величественным и великолепным. В черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, он поглядывал на шумную толпу гостей своими всегда несколько мутными, слегка на выкате глазами и витиевато рассказывал что-то из области литературы или театра, как бы не принимая участия в общем оживлении. Н.И.Стороженко шутил и заливался заразительным смехом. Что-то громко доказывал Янжул. О чём-то торопливо жужжал Ермилов. Заливался сам и смешил окружающих Максим Ковалевский. Иногда появлялись Пьер Бобо (Боборыкин), Джаншиев, Угримовы, Булдин, Изучевский. Всё это говорило и шумело разом, на все голоса. На столе уже стояло красное вино. Ученики театрального училища, а среди них были и пожилые люди, например Носов и Ухов, быстро приходили в настроение. Начинались рассказы, споры, декламация, пение. Парамонов вызывал дружный хохот. Смешила Турчанинова. Поодаль держалась Серафима Нечаева, немного позировавшая и подражавшая знаменитой Федотовой. Милая, с прелестными лучистыми глазами, тонкая и длинная Нина Шерваль, Харитонов, Подарин, Грибунина, все будущие артисты Малого театра — все были тут и все вносили что-то от своих малых или значительных дарований. Всем было хорошо на этих вечерах, и всякий находил в них что-то для себя.

Признаться, я никак не мог попасть в общий восторженно-разгульный тон университетской Татьяны. Чего тут не хватало у меня — темперамента, удали, увлечения? Думаю, что всё это было у меня не в меньшей мере, чем у других, но именно в дни Татьяны это не обнаруживалось. Что-то отталкивало от такой формы празднования дня русского просвещения. Даже речи ещё трезвых профессоров со столов «Эрмитажа», среди воз-

буждённой толпы полупьяных и пьяных студентов, остроумие Ф.Н.Плевако — не увлекали, не поднимали настроения. Было как-то неловко, немножко стыдно и служителей «Эрмитажа», и извозчиков. А «Стрельна», «Яр» с пьяными речами, с лазаньем на пальмы, купаньем в бассейне для рыб, было неприятно. Старался быть веселым, пил водку и шампанское, слушал речи, сам произносил речи. А на душе становилось всё более мутно и не по себе. Очень пришлась по сердцу известная статья Толстого о Татьянином дне, напечатанная в «Русских ведомостях». Почувствовал ещё большую неловкость после этой статьи и перестал бывать на Татьянином дне.

В университетские годы в нашей семье ещё более процветала музыка. У нас появились две консерваторки, Женичка Михайлова и Александра Емельянова-Щелокова, впоследствии, по сцене, Ростовцева. Каждое воскресенье пенье не смолкало. Сначала это были институтские романсы на сентиментальные слова: «Увы, завяли эти розы», а потом, по мере развития консерваторок, зазвучало настоящее пение. Александра Емельянова вместе с братом Сашей играли без устали в четыре руки. Репертуар их увеличивался с каждым годом, а успехи в технике исполнения превосходили всякие ожидания.

Университет, его профессора, учёные диспуты, новый метод работы, бездны знаний и мудрости, приоткрывающиеся в его прекрасной библиотеке, попытки научной работы — всё это вовлекало не сразу, но сила притяжения университета становилась всё значительнее по мере прохождения его курсов. Как подавляющее большинство студентов, я не стремился выбрать одну из дисциплин для специального изучения. Работал по большинству предметов, не отдавая явного предпочтения какому-либо из них. Сочинение писал по уголовному праву. Историю русского права, гражданское право изучал, увлекшись обычным правом и специально интересуясь этно-

графией. Работал и по финансовому праву и политической экономии. Общее настроение, которое слагалось и крепло в университете — это было настроение бодрости, некоторого изумления и решимости…

Бодрость внушало соприкосновение с сокровищем знания, неиссякаемые кладези которого вот тут, в этом храме науки, в нашем Московском университете.

Изумление вызывало то, что всё более обнаруживалось, как всё у нас в России недавно началось, как ещё молодо всё то, что кажется бесспорным, как молода наша новая культура и как на это бесспорное ополчается реакция.

Решимость слагалась всё крепче — стать в дальнейшей работе на защиту этого бесспорного. А бесспорными казались и идеи права, и принципы гуманности и либерализма. Эти формальные термины заключали в себе определённо сложившиеся убеждения, в которых исключались насилие и произвол, укреплялась идея права, прочно связанная с принципами морали, отвергались привилегии классов. Мир внутренний и внешний рисовался основанным на усовершенствовании людей, на эволюции, на любви к человечеству и на торжестве правды. Это не была выработанная программа жизни. Это были скорее настроения, характерные для того времени.

А что у нас всё так недавно — поистине поражало. Помню наши разговоры по пути из университета с моим другом А.Д.Солодовниковым о реформах Александра II. Ведь всё это, все «великие реформы» происходили за семь и четыре года до моего рождения, не без некоторой гордости говорил я, называя ему 1868 год моего появления на свет. Первая текстильная фабрика в России оказалась открытой, когда отец моего собеседника уже был юношей. Певца эпохи великих реформ, Гр.Ав.Джаншиева, маленького, горбатого, неиссякаемого рассказчика интереснейших подробностей об этой эпохе, мы

постоянно встречаем в семье Сизовых, у которых я даю уроки маленькому Лёде.

А вопросы пасифизма? Так было ясно, что война — пережиток варварства, что войны больше не может быть в условиях культурных завоеваний. Рассуждения гр. Комаровского, читавшего международное право, были так бесспорны, трактаты и договоры казались так всесильны.

Курс административного права открывал грандиозные перспективы в области устройства жизни в городах. Учреждения города Москвы, которые мы осмотрели под руководством проф. И.Т.Тарасова, показали, как недавно Москва стала освобождаться от архаических учреждений Приказа общественного призрения и стала обзаводиться учреждениями европейского типа.

Везде намечались новые, обширные практические задачи. Всё требовало приложения сил, знания и культуры. Тревога, хорошая тревога ощущалась, когда думалось, как много предстоит работы во всех областях жизни России и как хочется приобщиться к этой работе.

А защита принципов Судебных уставов Александра II, судебная деятельность в соответствии с этими Уставами — и это пленяло и казалось стоящим, чтобы этому делу можно было посвятить жизнь. Довольно частое посещение судебных заседаний в здании Московских судебных установлений пленяло торжественностью и стройностью форм нашего суда. В.М.Духовской, читавший уголовный процесс, хорошо истолковывал Судебные уставы Александра II.

Политика в её чистом виде и технических действиях не занимала в то время первенствующего места. Вспоминая свои настроения того времени, я сказал бы, что относился к той категории людей, которые решительно отвергали всякие насилия, откуда бы они ни исходили, от власти или от тех, кто

боролся с властью. Разрешение всех вопросов казалось на путях общей, большой работы для всех, в повышении уровня культуры, в просвещении народных масс, в уравнении прав всех живущих в России, в проведении в общественной жизни принципов права и справедливости. На этих путях виделось и разрешение вопросов, вытекающих из классового неравенства.

В таких настроениях покидал я наш Московский университет. Думаю, что это был основной тон нашего университета того времени. Гуманизм и либерализм — вот что было в основе университетского преподавания того времени, что обвевало эти аудитории, что составляло дух и душу этого храма истинного просвещения.

Первоначальное предположение о медицинском факультете после окончания юридического исчезло без следа. Юридический факультет основательно заполнил интересы и внимание. Участие в жизни сказывалось всё определённее, склонности и свойства достаточно определились. Вот почему, без колебания, я ответил отрицательно И.И.Янжулу на его предложение быть оставленным при его кафедре.

Польщённый его предложением, я ответил ему, что на профессорское дело я смотрю как на священнослужение в храме, божеством которого является наука и знание. Для этого жреческого служения нужно особое призвание, которого я в себе не нахожу. Иван Иванович ухмыльнулся, вскинул на меня свои зелёные глаза в золотых очках и сказал:

— Ну, это вы преувеличиваете! Какой же я, например, жрец? Разве я похож на жреца?!

И действительно, толстый, с громадным отвислым животом, с тыквообразной лысой головой, он вовсе не походил на жреца в том идеальном храме, о котором я говорил; он скорее походил на Фальстафа.

Государственные экзамены мы сдавали в Государственной комиссии под председательством Киевского профессора Ренненкампфа. Это была вторая Государственная комиссия со времени введения нового университетского устава. Экзамены прошли хорошо. В результате их — диплом студента первой степени. Это новая терминология нового устава, соответствующая прежней степени кандидата прав. Прежнее название нам больше нравилось.

Иду с одним из приятелей получать диплом. Говорят, диплом выдаёт ректор университета, Н.П.Боголепов. Идём к нему. Боголепов встречает любезно. Даже что-то вроде улыбки появляется на его лице. Осведомляется, куда мы предполагаем поступить. Оказывается, оба подаём заявление о зачислении кандидатами на судебные должности при Московском окружном суде. Боголепов передаёт нам дипломы, жмёт руки и говорит на прощанье:

— Желаю дослужиться до генеральских чинов.

Пожелание Боголепова вызывает полное недоумение. Уже этого-то менее всего ожидал я, покидая Московский университет. Никогда о генеральских чинах не помышлял, слушая лекции по римскому праву и по другим предметам. Что-то чужое и холодное почувствовал я в этом пожелании, так не гармонировавшем с общим настроением.

Окончание университетского курса, конец Московского университета вызвало во мне настроения меланхолические. Так быстро промелькнули эти четыре университетских года. Так мало забрал я из этих сокровищ, которые предлагались нам: бери, захватывай возможно больше, бери всё. Потом некогда будет. И вот я ухожу. В руках диплом первой степени. Сокровища замкнулись, а вместо них — пожелание дослужиться до генеральского чина…

Глава II. Московский окружной суд

Окончив университет, получив из рук Н.П.Боголепова диплом, я представил его при своём прошении в Московский окружный суд. Просил о зачислении меня в кандидаты на судебные должности, а сам, продолжая чувствовать себя свободным, в тот же день уехал в Ревель догонять своих сотоварищей, отправленных Этнографическим отделом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в Эстляндскую губернию для изучения тамошних обычаев и, в частности, артельного устройства рыболовных промыслов.

Поездка в Эстляндию была очень интересна и дала некоторый материал, доложенный нами в Этнографическом обществе. На мою долю выпали, помимо собирания сведений по определённой программе, зарисовки типичных жилищ эстонских крестьян, предметов из хозяйственного быта, узоров и вышивок и т.п. Материалы эти с иллюстрациями были в свое время напечатаны в трудах Этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Мы объехали уезды Ревельский, Везенбергский и Вейсенштейнский, видели интересный водопад Яговаль, побывали в Гапсале. На одном из крайних мысов, вдающихся в Балтийское море, куда мы явились для исследования рыбачьих артелей, нас приняли за губернских чиновников, явившихся производить ревизию. Оказалось, что местные жители не столько занимались рыбной ловлей, сколько контрабандой. Наше положение оказалось довольно трудным. Пришлось отступить перед агрессивно настроенной толпой, которая решила защищать себя от непрошенных гостей.

Пока я занимался интересными исследованиями и, при содействии и любезной помощи губернатора, князя Шаховского, разъезжал по Эстляндии с подорожной и на заявление

«opuset valmis» получал лошадей, над моей головой собиралась первая служебная гроза.

В Москве меня хватились, так как председатель суда Ф.П.Ивков распорядился прикомандировать меня куда-то, где не хватало кандидатов. Меня вызвали в канцелярию председателя. В Ревель полетели телеграммы, требующие, чтобы я немедленно вернулся «на службу». В простоте душевной я ещё никак не считал себя чиновником на службе, ещё меньше казалось мне, что я начал службу с проступка и самовольной отлучки…

Пришлось спешно возвращаться в Москву. Секретарь председателя суда, Фиников, качал головой и говорил, что председатель суда Ивков требует, чтобы я немедленно явился к нему. Провинившийся, не имеющий что представить в своё оправдание, я явился к Ивкову. Большой кабинет, громадный стол; в глубоком кресле маленький человечек с седыми, бобриком подстриженными волосами и чёрными, острыми, сердитыми глазами.

— Ах, это вы так прекрасно начали вашу службу! Да вы знаете, что вы наделали! Самовольно, без разрешения… Слова чеканные, острые как его глаза, гневно и неудержимо следовали одно за другим. Это был форменный разнос.

— Ну, что вы скажете? Ваш проступок я не могу так оставить.

Что я мог сказать гневному председателю, который имел все основания негодовать и корить? Мне оставалось только повиниться и неожиданно для себя я добавил, что поездка в Эстляндию оказалась очень интересной. Это добавление плохо вязалось с условиями разноса.

Ивков вскинул на меня ещё гневный и, в то же время несколько удивлённый взор. Секунду поколебался, разнести ещё или помиловать.

— Как вы говорите? Поездка была интересна? Где же вы были и что делали?

Я рассказал о задачах поездки и о том, что удалось получить. Острые глаза Ивкова приобрели совсем другое выражение. Умные и проницательные, они следили за моим рассказом, как бы изучали.

— Ну, хорошо! Это интересно. Я вас командирую в IV гражданское отделение, к Н.И.Покровскому. Только помните, что вы теперь не вольная птица, а кандидат на судебные должности. Это налагает обязанности.

Через полгода я сдавал экзамен на старшего кандидата. В экзаменационной комиссии председательствовал Ивков. По окончании экзамена им были сказаны по моему адресу комплименты и отмечено было, что вся комиссия осталась особенно удовлетворена моими ответами. А мне казалось, что ответы мои были самые простые, не представлявшие ничего особенного.

Четвёртое отделение Московского окружного суда не было в числе выдающихся отделений по своему составу. Там не было крупных юристов. Знаменитый Эспер Николаевич Сумбул был в 5-ом отделении. К нему за консультацией ходили не только из нашего отделения, но и сам председатель Ивков. Значительнее других был член суда Ягелло. Председательствовавший в отделении Н.И.Покровский, в седом парике, скрывавшем его огромную лысину, был мягкий, добрый человек, но уже утомлённый годами и службой. Работа по составлению определений суда почти целиком передавалась кандидатам, что было для них хорошей школой. Присутствие в судебных заседаниях вводило нас в технику процесса. Особой радостью

было спешно приготовить проект определения суда по делу, в котором выступал С.А.Муромцев. Его статная, красивая фигура, его величественно посаженная голова привлекали наше общее внимание. Мы любовались им, с жадностью слушали его судебные речи, а исполнить его просьбу доставляло истинное удовольствие. Сразу завоевал мою симпатию только что получивший значок присяжного поверенного А.Р.Ледницкий, пришедший заказать мне копию определения по делу Дмитриевых.

Пройдя гражданские отделения, я был командирован для ознакомления со следственным производством к судебному следователю С.И.Трусову. Это был хороший судебный деятель, очень почтенный человек, с неизгладимым отпечатком провинциала.

В бытность старшим кандидатом я пристрастился к судебным защитам и охотно ездил на «казённые защиты» с выездными сессиями окружного суда. На эти сессии тогда выезжало 1-ое отделение окружного суда, во главе которого стоял старик П.С.Кларк. Это был суровый, раздражительный старик, не любивший, когда ему «затягивали» дела.

Досталось мне от него однажды в выездной сессии у Троицы. Я был командирован в качестве казённого защитника. Все дела с присяжными заседателями проходили очень плохо. Ни одного оправдательного приговора, даже не давали снисхождения. Состав присяжных заседателей из простых мещан и крестьян оказался как никогда суровым. Товарищ прокурора, В.В.Цубериллер, также из кандидатов — торжествовал. Молодые защитники недоумевали и досадовали. В состязании с товарищем прокурора, своим же собратом, в судебном процессе всё же был некоторый элемент спорта: — кто кого!

После одного из особенно неудачных дней, когда все мои дела провалились, а товарищ прокурора проявлял даже явную

небрежность, зная наперёд, что присяжные вынесут обвинительный приговор, я за обедом со старыми чиновниками канцелярии выездной сессии поделился своей печалью. Ведь совсем не так проходят дела в других местах. Один из этих стариков, Пронин, много лет выезжавший с сессией, сказал:

— У Троицы так всегда бывает, когда в составе присяжных оказывается этот старый бородач.

— Кто такой, какой бородач?

— Да этот старик Горский, профессор Академии. Он в совещательной комнате грозит мужикам, что они ответят на страшном суде, если будут оправдывать всяких мошенников. Уж если царский прокурор обвиняет, значит виноват. И крышка! А этих молокососов, т.е. вас-то, защитников, и слушать не стоит.

Судебный пристав, охранявший тайну совещательной комнаты, подтвердил слова Пронина — сам, дескать, слышал.

Я был поражён. Все принципы судебных уставов оказались нарушены. Какой уж при этих условиях состязательный процесс, когда грозят загробной ответственностью.

Вспомнил лицо этого старика, учёного профессора Академии, который неизменно попадал в состав присяжных и избирался их старшиной. Вспомнил его недобрые глаза и ироническое выражение, когда защита приводила, казалось, неопровержимые доводы в пользу обвиняемого. Так это вот что значит! Вот где причина наших неудач у Троицы!

На следующий день первое дело моё — кража с пожара. Все предварительные формальности процесса проходят быстро, гладко. Скороговоркой П.С.Кларк, не дожидаясь и не ожидая ответа, ставит обычный вопрос:

— Стороны не имеют отводов по списку присяжных заседателей?

Я, подавляя волнение, заявляю, что имею отвод.

— Вы? Имеете отвод? — Багровый, недоумевающий и негодующий Кларк уставился на меня и переспрашивает:

— Вы имеете отвод?

Внимание всего зала на мне. Очевидно для всех, я делаю какую-то огромную бестактность. Чувствую себя очень неловко. Но отступления нет. Подхожу к столу и вычеркиваю фамилию Горского.

Кларк испепеляет меня своими маленькими, ставшими злыми, презлыми глазками. Горский в состав присяжных не попадает. И он, и многие из публики понимают, в чём дело.

Процесс проходит нервно. Кларк не скрывает своего раздражения. Прокурор подтягивается. В зале чувствуется особое напряжение.

Дело довольно простое. И пожар был, и кража была, но обстановка такова: всем миром тушили и всем миром тащили.

Прокурор и защитник обменялись речами. Моя задача была отвергнуть квалифицирующий признак. Резюме Кларка было сурово и далеко не беспристрастно. Обвиняемому приходилось плохо.

Как только присяжные заседатели удалились в совещательную комнату, а судьи ушли в свой кабинет, Кларк грозно позвал меня в комнату судей.

— Как вы смели отвести Горского? Да вы знаете, что это такое?

Старик сердился и кипел и говорил явные несообразности.

— Но это моё право, указанное в законе...

— Какое такое право... Правом нужно пользоваться не так... — Старик кипятился всё больше.

Но объяснение наше кончилось скоро. Присяжные заседатели совещались недолго. Ответ был: «Да, виновен, но не во время пожара, и заслуживает снисхождения».

В зале пронёсся вздох облегчения. Это решение, не погашавшее прав обвиняемого, сводило деяние на простую кражу.

После этого дела и я и мой товарищ по защите, А.С.Спиридонов, неизменно отводили Горского. Решения присяжных стали много снисходительнее и более отвечающими жизненным и бытовым условиям. Теперь настала очередь прокурора негодовать и сердиться. Роли переменились.

Помню одно из первых дел, доставившее мне много волнения и, в конечном счёте, большую радость.

Опять выездная сессия с Кларком. На этот раз в Коломне. Обвиняется крестьянин Глазов в поджоге, от которого сгорела почти вся деревня. Дело большое, много свидетелей. Ознакомление со следственным производством в Москве даёт довольно бесспорную картину. Все улики, все показания свидетелей против Глазова. Сижу над делом, делаю выписки из показаний свидетелей. Готовлюсь. Пишу защитительную речь и чувствую, как всё рассыпается, как моя защита строится на песке, как всякие сомнения в пользу обвиняемого исчезают при дружном напоре свидетелей — это он! Он нам грозил. Его видела Анютка, как он крался!

Дело изучено. Составлен в воображении образ обвиняемого. Написана и хорошо выучена защитительная речь.

В Коломне прошу свидания с Глазовым. Боже! от моего представления о невинной жертве человеческой ненависти и клеветы — ничего не остаётся. Передо мной большой, угрюмый, чёрный мужик с опущенной головой, с потупленными глазами. В глаза не глядит. На все вопросы один ответ:

— Знать не знаю. Вина не моя. Не поджигал.

Больше ничего от него не мог добиться. Последняя надежда рухнула. Обвиняемый в поджоге не располагает к себе. От моей защитительной речи остаются разрозненные клочки.

На следующее утро заседание суда. Моё волнение достигает большого напряжения. Жалею, что поехал на защиту. Какой я защитник! Что буду говорить? А прокурор Газенвинкель имеет репутацию злого и красноречивого прокурора. Нахожу большой ошибкой суда, что по таким большим и ответственным делам посылают неопытных кандидатов.

Из комнаты судей посылают узнать, кто из кандидатов будет защищать Глазова. Дело считают серьёзным. Ах, Ты Господи! Чвствую себя, вероятно, так же скверно, как и Глазов. Но делать нечего.

— Суд идёт! Прошу встать, — провозглашает судебный пристав.

Входят Кларк, старик А.И.Григорович и местный уездный член окружного суда, Золотарев. За ними товарищ прокурора Газенвинкель. Назначается к слушанию дело Глазова. Вводят обвиняемого под стражей. Глазов такой же угрюмый, суровый и неприятный.

Я занимаю место перед ним. Безнадёжно раскладываю на столе свою тетрадь, в которой выписаны показания свидетелей. Сую под тетрадь написанную речь, чувствуя к ней отвращение. Впадаю в безразличие и лишь смутно сознаю всё, что происходит.

Свидетели, односельчане Глазова, явились разряженными, словно на праздник. Избегают смотреть на Глазова. Обвинительный акт не сложен. Загорелось с краю деревни, ветер подхватил пламя. Сгорело столько-то дворов. Свидетели показали, что поджог Глазов, его alibi не установлено, а потому

и т.д. Свидетели показывают дружно и как-то особенно легко. Никто как Глазов, другому некому. Он давно грозил, что спалит деревню.

Оживаю и после прокурора начинаю допрашивать свидетелей. Оказывается, Глазова давно деревня не взлюбила. С миром Глазов не в ладах. Разорился и стал самым бедным, угрюмым, нелюдимым. Мир стал опасаться его, ожидая крестьянской мести. А тут пожар! Никто, как Глазов!

Так допрашиваю я свидетелей. А из допроса прокурора выходит другая картина. Слышали, как грозил спалить, видели, как бродил и таился, исчез, когда разгорелось и т.д. Газенвинкель произносит короткую речь. Всё ясно, всё вне сомнений. Прокурор кончает. Но что же я буду говорить? Всё спуталось. Аргументы прокурора так убедительны. Мысль растерянно обращается к подготовленному плану, к заученной речи, но тотчас с ужасом отметается и от плана, и от заготовленной речи.

— Господин защитник, ваше слово — обращается председатель.

Тут впервые я испытал таинственную работу подсознательного, ощутил неведомые доселе психические процессы.

Вся растерянность моя исчезла, как только я должен был начать говорить. Не связанные до сих пор обрывки мыслей и впечатлений быстро уложились в какую-то систему, откуда-то взялись слова, образы, сравнения, сопоставления. Как-то неожиданно для меня самого аргументы прокурора обратились против него. Увлекаясь всё более и отдаваясь потоку новых образов и мыслей, я говорил, что это месть не Глазова односельчанам, а односельчан Глазову. Тон свидетелей только подтверждает моё утверждение. Неожиданно для себя замечаю, что и Кларк, и Григорович повернулись ко мне и слушают с небывалым вниманием. Вижу лица присяжных заседателей.

Вижу и чувствую, что они не только слушают, но и сочувствуют. Ещё более неожиданно для себя пытаюсь объяснить угрюмость и нелюдимость Глазова — разорившегося, затравленного и всеми отверженного. Чувствую, что как-то помимо себя и в полном противоречии с тем, что было мною подготовлено, я овладел новым материалом, переработал его внутренне и этот переработанный материал сам облёкся в словесную форму.

Этот новый для меня процесс был лёгок и радостен. Он был тем радостнее, чем мучительнее было всё то, что ему предшествовало. Чувствовалось участие в отыскании правды и содействие в её обретении. Резюме Кларка было кратко. Он подчеркнул мои доводы.

Я сидел радостный и ещё взволнованный. Присяжные удалились на совещание. Меня позвали в комнату судей. Иду. А навстречу мне Кларк, судьи и Газенвинкель. Жмут руку и поздравляют с прекрасной речью.

Глазов был оправдан.

А когда к нему подошла его жена с ребёнком на руках, когда ребёнок протянул ему руки, лицо Глазова просветлело, угрюмость исчезла без следа. Я оказался прав и в определении психологии этого угрюмого человека.

Этот успех не исцелил меня, однако, от волнений, предшествовавших публичным выступлениям. Заметил, что выступление всегда удачнее, когда ему предшествует наиболее острая тревога и возбуждение.

Потом пошли командировки по исполнению обязанностей городского судьи, судебного следователя. Новая работа интересовала всё больше. Появился вкус к ней и уверенность в своих силах. Наряду с этим — знакомство с провинцией, с захолустьем, где исправника Перфильева называли «трешницей», по минимальному размеру взяток, которые он брал, где

жандармский полковник Грушевский возбуждал политическое дело по оскорблению Величества против пьяненького мужичка, спросившего себе в трактире водки — «на всего лысяка»! При этом он щёлкнул по прилавку серебряным полтинником, на котором изображён был профиль Александра III, обладавшего, как известно, большой лысиной.

Наши уезды Московской губернии, даже в то не столь отдалённое время, были мало благоустроены. Ко мне в Можайске привели однажды буйного сумасшедшего, спалившего деревню. Он в течение многих лет сидел на цепи в тёмном чулане. Сорвавшись с цепи, он сжёг деревню. Бывали и аграрные беспорядки, в которых бабы играли первенствующую роль. Черноглазая молодая крестьянка подняла целый бунт из-за покосов. Вся волость пошла за Катериной Комаровой защищать свои покосы. Становой бежал от Катерины. Началось дело, кончившееся, к счастью, ничем.

Мой старший брат, Павел Иванович, одновременно со мной был кандидатом на судебные должности. Он работал в камере прокурора, исправлял обязанности городского судьи в Твери. Потом был следователем в Подольске, Московской губернии. Он весь отдался своему делу. Мы подшучивали над ним, над его серьёзностью, и воспевали его в стихах, которые без конца росли по мере того, как он давал новые поводы своими неожиданными выходками, проистекавшими от безмерной доброты, чистоты сердца и рассеянности.

Посвящено ему было стихотворение под названием «День кандидата». В этих стихах изображён был трудовой день кандидата. Там были, между прочим, и такие строфы:

У Кандидатова патрона
Прогнана нянька Матрёна.
Кандидат не унывает

И с ребятами гуляет.
Стал он есть по пол-котлеты,
Обрати свой взор в газеты...
Правила о кандидатах,
Рецидивах и окладах
Тщательно он вырезает
И в свой ящик убирает.
Наши вирши кончались так:
И в подушках утонув,
Видит он, сладко заснув,
Что он Прокурор Палаты,
А кругом все кандидаты...

Это были шутки над братом Павлом Ивановичем. Он давал много поводов для них своими своеобразными манерами, большой непрактичностью, из-за которой часто попадал впросак и в смешное положение. Но по существу, именно наш Паша меньше всего мог бы быть объектом шутки и, тем более, насмешки.

Он не плыл по течению. Он мучительно отыскивал смысл, цель, содержание жизни и своё место в ней. Ещё с гимназических лет он строго и точно определил свой долг, и ни на шаг не отступал от его выполнения. Это было — верность принципам, заветам, традициям, служение людям во имя Христа, подавление личных влечений, если они противоречат «верности» и мешают «служению». Нечто аскетическое, подвижническое было в нём, во всём укладе жизни, который он сам создал для себя. В основе его жизнепонимания было глубокое религиозное чувство. Чувство это он стремился укрепить не только в молитве, на которой он по долгу простаивал, но и в чтении творений отцов Церкви и русских духовных писателей. Его письменный стол был завален томами духовных книг. Он не только читал, он работал над чтением и, главным образом, над

собой. Работа была не легка. В своём чрезмерном напряжении она довела его до глубокого нервного расстройства. Пришлось вмешаться отцу, как врачу, и предписать полный и продолжительный отдых. Покорный, он подчинился требованию отца, пресёк и свои занятия этнографией. Безропотно смотрел, как его этнографические материалы сложены были в ящик и отправлены в каретный сарай. Покорился и тому, что творения святых отцов были возвращены священнику Андрею Григорьевичу Полотебнову и в библиотеки. Послушно уехал в загородную санаторию д-ра Огановича. Прервал работу в университете. Но остался верным себе и обретённой им истине, которую он и пронёс через всю свою жизнь. Вера в Бога, верность русскому православию, служение людям — вот что было обретено им в его мучительных исканиях. По призванию он должен был бы стать учёным, вне сомнения мог бы стать незаурядным профессором. Впоследствии он и стал преподавателем права на курсах Полторацкой в Москве. Но в те молодые годы он находил нужным быть на работе в самой жизни. Он стал судебным деятелем, руководясь всё той же идеей служения людям. Был членом Московского окружного суда по гражданскому отделению. Карьера судебная его вовсе не прельщала. Он вообще не искал и не желал создания положений и успехов. Свой опыт судьи претворял в специальных докладах в Юридическом обществе и с увлечением работал по нескольким социальным вопросам. Он мучительно переживал судьбу «детей подмостков». Судьбе этих детей было посвящено несколько его печатных статей. Писал он и по вопросу защиты труда, защиты рабочих в некоторых особо опасных для здоровья производствах. Особенно много души и увлеченья отдал он изданию двух сборников под названием «Свободная совесть». Около этих сборников и сложился тот кружок лиц, о которых упоминает Андрей Белый в своих воспоминаниях,

посвящая брату Павлу Ивановичу несколько строк приязни и уважения. Он говорит, что «в те годы П.И.Астров старался естественно сочетать устремление к эстетизму с моральным, сверкающим пафосом; этот-то пафос нас влёк к нему. Впоследствии «астровская» общественность вылилась в кадетизм; и мы с ней разошлись («аргонавты» держались гораздо левей); но дружеские отношения с П.И.Астровым сохранили надолго мы» («Эпопея», № 2, стр. 157).

Этот кружок образовался значительно позднее того времени, о котором записываю сейчас, подчиняясь хронологической последовательности событий из жизни нашей «Семьи». Может быть, к этому кружку будущих «аргонавтов» вернусь в последующих записях. Сейчас лишь упомяну, что в него входили: Андрей Белый, С.М.Соловьёв, П.К.Батюшков, М.А.Эртель, Эллис (Л.Л.Кобылинский), художн. И.А.Астафьев, Шкляревский, Грифцов, Ф.А.Степун и др. Частым посетителем этого кружка был Г.А.Рачинский, иногда П.Г.Виноградов. Нередко появлялась известная в Москве антропософка Христофорова и др. Это был кружок молодых поэтов, эстетов, искателей. Брат Павел Иванович не был ни эстетом, ни поэтом. Искателем тоже трудно было его назвать, ибо для себя он давно обрёл правду и оправдание жизни. Но эти талантливые люди привлекали его внимание горением, возможностями, которые таили в себе их несомненные дарования. Они же ценили в брате Павле Ивановиче самоотверженную верность чему-то такому, что не укладывалось в узкие рамки установленных программ, патентованных схем и «хорошего тона» в областях духа и мысли. Склонен думать, что не совсем верно объясняет А.Белый причину расхождения «аргонавтов» с «астровской общественностью». По его мнению, причина эта была в том, что «астровская общественность вылилась в кадетизм, а аргонавты держались гораздо левей». Брат Павел

Иванович не был кадетом. К тому же политические темы не входили в интересы кружка, собиравшегося в доме брата. Не думаю, чтобы моё участие в партии к.д. могло окрасить в к.д. цвет «астровскую общественность».

Подтверждение этих мыслей нахожу в только что присланных мне (1 марта 1934 г., а мои записи относятся к июлю-августу 1931 года) интересных страницах одного из пылких участников этого кружка. Это Л.Л.Кобылинский-Эллис свидетельствует о моём брате Павле Ивановиче. Его свидетельские показания я надеюсь использовать в дальнейшем изложении, так как они представляются мне чрезвычайно ценными для понимания духовных исканий и всей жизни моего брата. Здесь же, в связи с мимоходом брошенными замечаниями Андрея Белого, отмечу несколько штрихов из характеристики Павла Ивановича, данной Эллисом.

Вот какими словами Эллис определяет положение Павла Ивановича в кружке, собиравшемся «в небольшой, скромно-серьёзной гостиной Павла Ивановича».

«Свойства Павла Ивановича сделали его сосредоточением нашего кружка. Все шли к нему охотно и уже не покидали его. Он сумел объединить самых разнообразных лиц. Его роль в нашем кружке, подготовившем незаметно и нечаянно почву для позднейшего крупного культурного начинания, основания издательства «Мусагет» и для работы «Пути», была роль крупной, духовно объединяющей, светлой и стойкой личности, основа которой состояла не в создании ценностей, могущих быть отделёнными от самой личности, создавшей их, но в излучении этой самой личности... Он был «единяющим морально и религиозно связующим началом»... «Он испускал тихий, ясный свет, озаряя других»...

«Трудно рассказать о всех бесчисленных вопросах, идейных разногласиях, гармонических аккордах и тревожных

исканиях, о всей симфонии душевных движений, прозвучавшей в нашем кружке. Отдельные речи, слова, доклады забываются, но незабвенной навсегда остаётся та духовная атмосфера, свободная, искренняя, бескорыстная, ищущая правды, ревнивая, иногда слишком горячая, но чуждая всякой лжи внутренней и фальши внешней, она не исчезнет и пребывает навсегда. Эта духовная атмосфера царила в небольшой скромно-серьёзной гостиной Павла Ивановича.

«Вся сущность его личности и его пути заключалась в тревожном и серьёзном искании внутреннего примирения трёх начал, а именно: 1) совершенно цельной религиозности (церковности и догматической истины), 2) общественности в духе мирной и гуманной эволюции и 3) культуры (не только внешне традицирующей, но творческой). Он искал прежде всего синтеза догматической правды с деятельной любовью».

Эллис вспоминает, как однажды Павел Иванович, Андрей Белый и он шли тихой, зимней ночью по Новинскому бульвару, беседуя о нашем «Арго». Полузадумчиво, словно в беседе с самим собой, Павел Иванович сказал: «Как всё дело просто, его можно выразить двумя словами. Ведь наш идеал будущего может быть назван ясно и точно. Тот лик, который нам всем предносится, как живое воплощение синтеза, есть лик культурного праведника, святого будущего!...».

Этими выдержками из свидетельского показания одного из участников кружка моего брата Павла Ивановича, пока я ограничусь.

Глава III. Мировой съезд

Моя общественная служба началась довольно для меня неожиданно. Я был избран в Московские Мировые Судьи на дополнительных выборах добавочных судей осенью 1894 года. Я был ещё слишком молод и не имел за собой никаких заслуг, чтобы рассчитывать на избрание мировым судьёй, да ещё в составе такого суда, как московский. Однако, выборы прошли с полным успехом. Московская Городская Дума удостоила меня избранием московским судьёй. Отношу это исключительно за счёт моего отца, имя которого, как московского доктора, было достаточно популярно в то время.

В Вербную субботу в церкви Межевого Института отец встретил С.И.Печкина, председателя Московского Съезда Мировых судей, осведомился у него о предстоящих выборах Добавочных Судей и тут же было решено, что я выставлю свою кандидатуру на эту должность. К тому времени я кончал свой кандидатский стаж и уже несколько раз исполнял обязанности городского судьи и судебного следователя.

Службы этой я не искал, довольно равнодушно ожидал назначения на какую-либо судебную должность в провинции. Когда же выяснилась возможность баллотироваться на должность мирового судьи, я вспомнил жизненный совет нашего учителя математики, П.А.Фалеева, который, однажды, в связи с неудачно списанной задачей по тригонометрии, сказал мне: «Господин Астров, предоставьте всё своему течению».

Вот и тут я предоставил всё своему течению. Никаких предвыборных хлопот не проделал. Никого не просил. Представился председателю Съезда, подал в Городскую Думу нужные документы и, по совету С.И.Печкина, отправился к Л.В.Любенкову просить его разрешения посещать его камеру и приглядеться к работе мирового судьи.

Любенков ласково меня принял и охотно допустил к занятиям в его канцелярии. Там уже занимался молодой помощник присяжного поверенного И.И.Шейман, который, как оказалось, тоже собирался баллотироваться в добавочные Мировые Судьи.

Работа у Л.В.Любенкова оказалась исключительно интересной. А его беседы с нами — откровением. Если, как мне казалось, я знал Судебные Уставы, научился понимать и применять материальное право во время занятий в университете и, особенно, в годы кандидатства, то после разговоров с Львом Владимировичем мои знания оказались такими маленькими и ничтожными, что становилось жутко. Но это чувство оторопи, благодаря всё тому же Льву Владимировичу не уничтожало, не парализовало, а побуждало скорей переучиться, скорей узнать то, что ускользало раньше. Любенков подходил к Уставам и к материальному праву не с формальной стороны, хотя требовал точного знания и соблюдения формы, а со стороны внутреннего смысла, самой идеи Уставов и права. Занятия у него требовали большой работы. А когда эта работа была произведена, решения его стали казаться такими цельными, простыми, логически необходимыми, такими ясными, что первоначальные растерянность и оторопь исчезали и получалась некоторая уверенность в себе (о, конечно, не самоуверенность! Это состояние было всегда чуждо мне), проистекавшая от знакомства с делом. Уроки Любенкова были драгоценны. Они были многообразны и далеко не ограничивались техникой дела мирового судьи. Это был большой общественный работник, типичный русский либерал того времени. Это был человек высоких моральных требований и своеобразно умный человек. Встреча с ним на первых шагах общественной работы была большим счастьем. А его ласковость в обращении с людьми поражала и пленяла. Только значительно позднее эта ласко-

вость обращения с людьми оказывалась выработанной манерой и некоторыми воспринималась, как нечто искусственное и неискреннее. Но первые соприкосновения с ним поражали своей непринуждённостью, простотой и искренностью. Во всяком случае, эти внешние приёмы обращения с людьми облегчали работу у него и делали приятным общение с ним.

На работе у Любенкова в Пречистенской камере я очень сблизился с И.И.Шейманом, который оказался недюжинным по своим способностям. С ним на долгое время у меня сохранились добрые, дружеские отношения. С ним в один день мы оказались избранными на должность добавочных Мировых Судей.

Московский Съезд Мировых Судей за Москва-рекой, у Б. Каменного моста, занимал в наше время двухэтажное каменное здание, расположенное в части усадьбы Винно-Соляного двора. Фасад здания выходил на Москва-реку. Перед ним, немного слева, сиял своим золотым куполом храм Христа Спасителя, ныне снесённый большевиками, а несколько правее — величественный Кремль с соборами, Иваном Великим, царским дворцом, зубчатыми стенами и башнями. Из окон Съезда особенно была видна красавица Водовзводная-Свибловская башня.

Помещение Съезда не имело ничего характерного. Два обширных судебных зала во втором этаже; между ними широкий кулуар с большим портретом государя Александра II во весь рост. Около портрета стол — юридической консультации присяжных поверенных. Слева от входа по лестнице, приёмная непременного члена и его кабинет. Должность непременного члена занимал, чуть ли не с самого введения мировых судебных установлений в Москве, старик П.П.Строев. Типичная фигура староверческого чиновника и в то же время хранителя форм и традиций судебных уставов и, в частности, традиций

Московского Мирового Съезда. Неторопливый, со скрипучим голосом, достаточно упрямый и формально требовательный, он исправно вёл не очень сложный механизм по распределению судебных дел по отделениям и составам Съезда, и по назначению в очередь этих дел, выдавал содержание судьям, был хранителем ценностей.

Рядом с его кабинетом, кабинет председателя съезда, Сергея Ивановича Печкина. Благообразный, совсем седой, невысокого роста, с небольшой круглой бородкой и гладкой причёской на пробор, со светлыми и ласковыми глазами, Сергей Иванович был хороший юрист и, может быть, ещё лучший бытовой судья. Он сначала был судьёй Яузского участка, потом долгое время председателем Съезда. Он был прекрасный председатель Съезда, и судебных заседаний. Его любили и ценили и судьи, и население Москвы. Он с большим достоинством представлял Съезд и в Московской Думе, когда давал объяснения в частных совещаниях гласных, и в министерстве юстиции в случаях, когда приходилось отстаивать независимость Московского Съезда.

Московский Съезд нерушимо хранил заветы Судебных Уставов Императора Александра II и соблюдал московские традиции. И вовне Московский Съезд имел свои отличительные черты. Так например, в отличие от Петербургского Съезда, судьи в судебных заседаниях Московского Съезда были в судейских мундирах и, по заведённому обычаю, мундиры эти были не застёгнуты на все пуговицы, тогда как Петербургские судьи заседали во фраках. По сохранившейся с дореформенных времён привычке, на столах судебных заседаний долгое время не было заведено бюваров с промокательной бумагой. Вместо них, около массивных чернильниц стояло бронзовое блюдечко с такой же ложечкой. Блюдечко было доверху полно тончайшим песком, которым присыпали свежие чернила написанных

решений. Старые судьи неизменно присыпали песком свои писания и ловким движением стряхивали песок с листа бумаги, иногда в сторону, а иногда себе на колени. К концу судебного заседания стол покрывался слоем тонкого песку. Это была традиция. Но не только в песочницах Московский Съезд соблюдал свои традиции.

Мировой Суд был введён в Москве 17-го мая 1886 года. Этот суд сразу завоевал расположение и доверие населения, принят был им и был признан. Случилось это не потому, что все судьи оказались особенно выдающимися юристами или исключительными людьми. Произошло это оттого, что сам суд, его доступность, гуманность, его гласность, близость к населению были действительно на большой высоте и несравнимы с недавним судом «полным неправды чёрной», крючкотворства и взяточничества. Новые судьи усвоили дух нового суда и сами внесли в новый суд свою преданность делу, свой энтузиазм, и своей волей воплотили дух Судебных Уставов в новые формы суда. Основным правилом Московского Съезда, традиционно передававшимся от старых судей к молодым, было правило в простых словах выраженное Л.В.Любенковым: «помни», говорил он молодому, вступающему судье, «что ты для идущих к тебе в камеру за правдой, а не они для тебя».

Конечно, по-разному творили суд московские судьи, индивидуальность каждого сказывалась в отправлении правосудия. Но и за индивидуальными чертами судьи, всё же всегда чувствовалось нечто незыблемое, надёжное и гарантирующее, если не объективную правду, то правду житейскую. Это незыблемое было — Судебный Устав Императора Александра II.

Носителями добрых традиций Московского Съезда, охранителями его «добрых нравов» и достоинства суда и судьи, были уже названные Л.В.Любенков и С.И.Печкин. Из них

первый был наставником судей и высоким моральным авторитетом.

Среди московских судей нашего времени были чрезвычайно яркие индивидуальности и очень интересные люди.

Вспоминаю милого, шумно-болтливого старика Г.Н.Кругликова, неудержимого в своей живости и подвижности. Население его участка (Хамовнического) любило его. К нему шли за советом не только по судебным делам. Самые интимные, семейные дела несли к нему не для судебного разбирательства, а для совета. Как к священнику-духовнику, шли к нему, чтобы он посоветовал, усовестил, сказал — можно ли выдавать дочку замуж за такого-то. Добрый, ласковый, приветливый, сердечный, говорливый, иногда крикун, он был на своём судейском кресле — отцом родным.

Когда в его камере слушалось дело, почему-то затрагивавшее интересы местного населения, его камера была переполнена народом. Тут были и заинтересованные исходом дела: как-то Георгий Николаевич разрешит сложное дело, которое волновало публику? Были и просто любопытные, которые знали, что судья сумеет подчеркнуть бытовые стороны спорного дела и докопаться до самого существа бытовой правды. Когда нерв дела оказывался обнаруженным, всё в камере приходило в возбуждение. Тут все — и истец, и ответчик, и свидетели, сам судья, да и вся публика, начинали шумно реагировать на раскрывшееся существо дела. Поднимался общий гомон, среди которого громче всех раздавался голос судьи. Вся камера участвовала в этом своеобразном судоговорении. Если иск оказывался по-человечеству несправедлив, все начинали усовещевать истца: — Да будет тебе! Ведь говорит тебе господин судья — брось! Ну и брось, чего дурака валяешь! — раздавался внушительный совет из публики.

Из другого угла неслась шутка и язвительные замечания по адресу истца. Дело было ясно. Голос «народа» умолкал тогда, когда истец сдавался и, махнув рукой, говорил:

— Будь по-вашему, господин судья! А ты у меня смотри, вперед не попадайся, — обращался он к ответчику.

Если же истец был непреклонен, то судья, по указу Его Императорского Величества, отказывал ему в иске при общем одобрении камеры, а лавочник лез в карман, доставал двугривенный и заявлял:

— Копию пожалуйте. Я этим судом не доволен.

Кругликов переживал каждое дело, которое несла ему сама жизнь. В этой жизни он принимал самое непосредственное участие. Всякое дело было его собственным делом. Это чувствовали и тяжущиеся. Вот почему Хамовнический участок, в бытность Кругликова судьёй этого участка, стоял на первом месте по числу мировых сделок. Он был поистине «Мировым» Судьёй. А когда ему не удавалось убедить по его мнению неправую сторону, он и самое решение делал, по живости своего нрава, частью житейского процесса и живого спора, в котором принимал непосредственное участие. Так, тщетно убеждая некую Амалию Карловну заплатить разносчику за купленные яблоки, он вынужден был написать решение, присуждающее с неё, что полагалось в пользу истца. Объявив, по указу Его Императорского Величества своё решение, он тем же голосом добавил:

— Любите, Амалия Карловна, яблочки покушать, любите и денежки платить.

Кто из судей умел чувствовать быт и понимал этот своеобразный московский красочный быт, тот становился любимым и популярным судьёй. И как были дороги и необходимы эти судьи, равные для всех, судьи, для которых не существова-

ло ни классовых привилегий, ни классовой правды. Правда была одна для всех. И если эта правда не была оторвана от жизни, она была понятна и была принята.

Полную противоположность Кругликову, по внешности, по тону и приёмам, представлял собой судья Тверского участка, П.С.Гончаров. Это был барин в полном смысле этого слова. И осанка у него была барская, и голос зычный, властный, был барский. Один глаз его немного косил. П.С.Гончаров обладал прирождённым юмором. Одним словечком умел он определить всё существо иногда весьма запутанных отношений, одним словом, интонацией, выражением лица умел поймать и подчеркнуть фальшивую ноту в отношениях судящихся. Иногда это словечко было настолько метко и создавало такое неожиданное комическое положение, что вся камера разражалась неудержимым смехом. Сражённый «словечком» невозмутимо спокойного и величественного судьи, обвинитель путался, сбивался и проваливался. Дело оказывалось решённым одним метким словечком судьи. Только один глаз П.С. немного косил и легонько шевелился тонкий ус, выражая участие судьи в общем настроении радости по поводу добытой жизненной правды. Замечательно, что люди не обижались на П.С. за его иронию, вероятно подчиняясь художественной силе его тонкого, истинного юмора.

Когда молодой кандидат на судебные должности собирался баллотироваться на должность Мирового судьи, или студент-юрист приходил узнать, где он мог бы поучиться процессу в суде первой инстанции, — мы давали такой совет: У Печкина поучитесь образцовому ведению судебного процесса, у Любенкова — судебной этике, у Гончарова — жизненной правде.

Московский Съезд моего времени (конец 80-х и начало 90-х годов) представлял собою дружную семью людей, любя-

щих своё дело, верующих в высокие идеалы Судебных Уставов. Московский Съезд умел перерабатывать и отшлифовывать входящих в него новых людей. Они, или уходили из Съезда, или усваивали его традиции и становились настоящими московскими судьями, отличительной чертой которых были: независимость, самостоятельность, преданность идеям Судебных Уставов и чуткость в жизненной правде. Если и были диссонансы в общей гармонии Московского Съезда, то они всё же были исключением и не портили общего высокого тона работы московских судей.

Был старый чудак Н.Н.Каринский — ленивый, уже уставший от работы. Про него рассказывали, как он подлавливал своих клиентов, ведя с ними хитрую борьбу. Его камера была на Новинском бульваре. Нередко по бульвару провозили хоронить на Ваганьковом кладбище военных в высоких чинах. Похоронная процессия сопровождалась военной музыкой. При звуках похоронного марша вся публика высыпала на улицу. Камера пустела. Этим пользовался старик судья. Поспешно вызывал стороны по гражданским делам и по частным обвинениям и, за неявкой сторон, исключал дела из очереди или прекращал их. Покойника с музыкой провозили на кладбище. Публика возвращалась в камеру, где рассыльный объявлял, что все дела прекращены, а судья уехал домой.

Жестокий, злой и раздражительный был П.Н.Панин. Его приговоры были всегда чрезмерно строги, а приёмы разбирательства совсем не походили на общие приёмы московских судей. Однажды, он приговорил к длительному аресту мужичонка, приехавшего из деревни на базар — за оскорбление конного полицейского, находившегося при исполнении своих обязанностей. Оскорбление оказалось в том, что сани раскатились на повороте и задёли грядкой за ногу лошади, на которой сидел полицейский.

Московский Съезд был школой для начинающих общественных деятелей. Через эту школу прошли многие видные члены Московской Городской Думы. Среди них Н.Н.Щепкин, братья Гучковы. Почти все наиболее видные деятели Москвы были почётными судьями. Тут были кн. А.А.Щербатов, Д.Ф.Самарин, кн. В.М.Голицын. Был и столетний старец Груднев, бывший на Дворцовой площади в день декабрьского восстания.

Связь Съезда с Московской Думой была органическая и крепкая. Московский Съезд был гордостью Московского Городского Общественного Управления. Московская Дума, избирая свой Съезд, своих судей, берегла их. Поэтому мы не чувствовали противоречия между принципом несменяемости судей и выборным началом. Московская Дума, как правило, переизбирала своих судей, и никогда не покушалась на их самостоятельность. Однако, это право переизбирать судей давало возможность отмечать общественную оценку действий судей. Так, упомянутый Панин всегда проходил очень плохо. Однажды, один старый судья был забаллотирован в участковые судьи и избран добавочным, за проявленную им бестактность во внесудебных отношениях.

Судьи жили дружной семьей. Сближала их общая работа, общее преклонение перед Судебными Уставами. Сближали и дисциплинировали общие собрания судей и авторитеты отдельных лиц. Не последнюю роль в деле сближения играли и общие обеды в юбилейные дни и ежегодный обед 17-го мая, в день открытия Мировых Судебных Установлений в Москве. Эти обеды были шумны, веселы и часто интересны. Они оправдывали в полной мере мнение одного иностранца, который изумлялся обычаю русских съедать два обеда подряд, один стоя, другой сидя. Обедали обычно в «Эрмитаже», на Трубной площади. Обильная закуска у стола, заставленного

всевозможными яствами. Чего, чего тут не было: рыбы, балыки, окорока, закуски холодные и горячие, всевозможные водки. Действительно, это был целый обед, вкусный, разнообразный и неограниченный в пределах потребления. Случилось однажды так, что один из моих друзей, неумеренно налегший на закуски и предварительную выпивку стоя, весь настоящий обед должен был пропустить, просидев в уборной, прикладывая к вискам мокрое полотенце и нюхая нашатырь.

Но такие несчастья случались редко. После закуски переходили в белый колонный зал «Эрмитажа», рассаживались за громадный стол, установленный покоем и тогда начинался настоящий обед. Недолго обед проходил в тишине. Гул и шум голосов становился всё громче, как только был съеден суп с пирожками. Гул усиливался, ибо все говорили, усевшись со своими приятелями. Но вот подают шампанское. Стук ножа о стакан. Водворяется тишина. Из центра стола поднимается председатель Съезда, С.И.Печкин. После официального тоста, он произносит речь о Судебных Уставах. Сергей Иванович говорит хорошо, спокойно, высоко поднимая брови в наиболее патетических местах. Он высоко ценит Судебные Уставы, преклоняется перед его создателями, вспоминает работу московских судей в первые годы введения Мирового Съезда в Москве. Речь Сергея Ивановича слушают с глубоким вниманием, с полным сочувствием. Судьи любят своего председателя, а речь его в полном созвучии с их настроениями. Ему долго и много аплодируют. По обычаю, все идут с ним чокаться и целоваться. Сергей Иванович доволен. Он красив и благообразен. Глаза его молодые и весёлые, а серебряная седина так идёт к его хорошему лицу. После речи председателя становится ещё шумнее. Обед вступает в новую стадию.

Мы, молодые судьи, сохранившие ещё должную свежесть, просим Л.В.Любенкова сказать слово. Он высокий, несколько

сгорбленный, седой, с длинной бородой и характерным продолговатым лицом русского старого, умного мужика, с маленькими, светлыми глазками и с причёской по-мужицки, немного в кружок и скобку — сегодня серьёзен и мало разговорчив. Он отнёкивается, не хочет говорить, показывает рукой на шумную компанию, сидящую за столом, как бы желая сказать, что уж поздно говорить, ибо настроение поднялось на высокие градусы. Однако, его уговорили. Стучат о тонкое стекло. Водворяется тишина. Все поворачиваются в сторону Любенкова, который уже поднялся. Он преобразился. Лицо серьёзно, выражение почти сурово. Он так непохож на старика с ласковыми глазами и ласковыми словами.

Любенков опытный оратор. Тульское земское собрание хорошо знает силу его речи и блеск ораторского искусства. Сегодня и голос у него звучит по-иному, чем обычно. Звучат суровые нотки. Любенков старый либерал русского типа. Его речь построена ловко. Слова обычные, а сказаны так, таким тоном и с таким выражением, что значение их становится новым, необычным. Тема его речи — покушение на Судебные Уставы, угроза мировому суду, опасное торжество реакции. В его словах и тоне слышатся гнев и суровое осуждение. Зал затих, ни звука. Все слушают в сосредоточенном молчании.

— Общественные учреждения должны отстоять свои права и право иметь свой суд, — заканчивает Любенков свою суровую и сильную речь.

Ему долго и много аплодируют. С ним чокаются. Он уже прежний, ласковый и улыбающийся.

Далее следуют вольные речи. Говорят старые судьи, говорят гласные Думы. Мы, молодые судьи, пробуем силы, выступая с речами на общественные темы. Наконец речи иссякли. Пора переходит к третьей части вечера.

Появляются ломберные столы и любители усаживаются за карты. Остальные образуют кружки и начинаются разговоры на самые разнообразные темы, подбодряемые коньяком и ликёрами.

К концу вечера Гончаров становится опасным для тех, кто попадается ему на язык. Он по-прежнему величественен и осанист. Но галстук съехал на сторону, запонка выскочила из намокшей рубашки. Громовым голосом он поносит аршинников и толстосумов, тыкая пальцем в купеческих сынов, играющих видную роль в Городской Думе. Звонким смехом заливается Н.Н.Щепкин, рассказывая разные происшествия из практики общественной работы. А Костя Дерюжинский уже начинает петь арии из итальянских опер. Это настоящий певец, удачно дебютировавший на сцене Московского Большого Театра, не ставший певцом из-за тяжёлой болезни. Ему аккомпанирует Ф.Д.Селивачёв, худой, суровый, с длинными чёрными усами.

На звуки арий итальянских опер выходит из-за карточного стола С.И.Печкин и, дождавшись окончания пения Дерюжинского, поправив пенсне, заложив руки в карманы, начинает — «La donna e mobile...».

У него больше увлечения, чем умения, больше крика, чем голоса, и полное отсутствие слуха. Но все довольны его исполнением. А больше всех он сам. Сговариваются ехать за город. Инициатор этих поездок всё тот же Гончаров, Вендрих и Приклонский.

В один из таких вечеров 17-го мая произошла страшная московская Ходынка. Слух о том, что произошло на Ходынском поле, зрелище того, что мы увидали на улицах Москвы, разогнали и хмель и веселость.

Старая реакция стремилась уничтожить Мировой Суд. Ей не удалось этого сделать во всей полноте её замысла. Зато

большевики выполнили эту работу с полным успехом. Суд по Судебным Уставам они уничтожили и создали пародию на суд, создав органы классовой расправы.

Кажется, никто из судей не пошёл на службу к большевикам по их «судебному ведомству». Горькую участь всей русской интеллигенции разделили и они. Многие из них погибли жертвами классовой расправы. Кн. А.С.Кропоткин умер от разрыва сердца в тюрьме, когда его вызвали «с вещами по городу». Говорят, его вызвали, чтобы выпустить из тюрьмы. На юге, после эвакуации Врангеля, были зверски убиты Мировые судьи Озеров и Андреев. По слухам, А.Н.Волков оказался епископом живоцерковцев в Москве. О судьбе моего брата Владимира Ивановича — ниже.

Глава IV. Смерть отца

За эти годы в нашей семье произошли большие перемены. Семья выросла и в этом процессе роста стала выделять из себя самостоятельные новые семьи. Эта «отсадка» молодой поросли производилась бережно и с сохранением возможно более тесных отношений с корнями семьи. Это было так естественно и просто, так как не было никаких центробежных стремлений у отдельных членов нашей семьи.

Первым обзавёлся семьёй наш младший брат Владимир Иванович. К тому времени он уже окончил юридический факультет, отбыл воинскую повинность в первой батарее артиллерийской бригады, расположенной в Покровских казармах, и женился на красивой девушке, бывшей с нами в дальнем свойстве через нашу маму Юлию Михайловну. Ещё будучи вольноопределяющимся, в семье своего будущего тестя, полковника Волкова, он ударил подвыпившего офицера, который позволил себе какую-то выходку, показавшуюся брату Володе задёвшей достоинство его невесты. Дело затушили. Оно не имело последствий. Пьяненький офицер больше не появлялся в семье Волковых. Вскоре отпраздновали свадьбу и Екатерина Васильевна или милая Катюша, как мы стали её называть, вошла в нашу семью. Молодую чету устроили в мезонине в нашем доме, куда вела скрипучая лестница с забежными, покатыми ступеньками. Кухонька в новом жилье оказалась такой крохотной, что приходилось нагибаться, чтобы пройти в неё. В этой более чем скромной и далеко не барской обстановке сложилась новая семья.

Володя поступил в Канцелярию Московской Городской Думы и стал одним из помощников городского секретаря, которым был в то время известный в Москве Н.И.Бабаев.

Вскоре женился брат Саша на дочери известного математика, профессора и директора Московского Технического Училища, Алексея Васильевича Летникова, Вере Алексеевне.

Семья Летниковых — большая и многочисленная, была своеобразной семьёй. Некоторые её члены унаследовали несомненную талантливость покойного отца, А.В.Летникова. Выдающейся по даровитости, образованию и культурности была старшая дочь, Екатерина Алексеевна. Яркими дарованиями отличался единственный сын в семье, Владимир. Он с ранних лет поражал своими математическими способностями. Умственный труд был для него легок, память — изумительна. Но, кажется, надо всем преобладали его музыкальные способности. В детских годах он уже достиг большого мастерства в игре на рояле. Знал музыку теоретически и сам композиторствовал. Ещё в годы гимназии обнаружилась его страстная натура. Уже тогда, подростком, он создавал свой собственный мир исканий и ощущений. Но над всеми его дарованиями тяготели непреодолеваемые им меланхолия и угрюмость. Что-то неодолимо тяжёлое было в нём, угнетающее и давящее. Непокидающая его угрюмость так не шла к его внешности, к его яркому румянцу на щеках, к его голубым глазам, к его волнистым, поразительным по красоте, золотистым волосам. В нём было какое-то неизживаемое внутреннее противоречие, которое так подчёркивалось его внешностью. Шутя его называли, особенно в детстве «херувимом», а в глубинных переживаниях он был «демоничен», как также говорили о нём, отчаявшись вывести его из состояния злобного возбуждения или мрачного угнетения. Он искал спасения самого себя в музыке, в работе, отдаваясь женщинам, которых привлекал этот голубоглазый мальчик с суровой мрачностью. Они хотели спасти его от мрака, соблазняя великой радостью жизни. Он отдавался им, но становился всё мрачней и всё глубже уходил в неодоли-

мую безнадёжность. Его пытались лечить. Он с презрением отвергал советы и издевался над предлагавшимся ему режимом и над теми, кто его предлагал. Он пристрастился к алкоголю. Стал злоупотреблять эфиром. Всё чаще слышали мы от него логически построенную теорию самоубийства. Часами просиживал он за роялем. И жутки были его импровизации. Казалось, дух безграничного отчаяния владел им. Борьба шла в нём великая, борьба за уничтожение чего-то, что стонало, молило о пощаде, издавало вопли отчаяния и погибало в безобразных судорогах. И надо всем торжествовала жгучая ненависть. Громом разрушения и проклятиями заканчивалась безумная импровизация Володи Летникова.

— Володя, да что с тобой? Это тебя куда уносит! — говорил ему брат Саша.

— Какой ты талантливый, Володя, — говорил ему я. — У тебя это записано?

— Займись же по-настоящему музыкой, брось свою дурь. Возьми себя в руки. Ты губишь себя и свои таланты, — говорили ему разом мы, потрясённые его импровизацией. А он сидел, опустив свою курчавую голову, оставаясь ещё во власти жестокого очарования. Устремив свой неподвижный взор куда-то вниз и жадно затягиваясь двумя папиросами сразу, он вяло и нехотя бросал:

— Я сжёг это всё! Всё это ни к чему!

Злоупотребление эфиром давало свои тягостные и роковые последствия. Временами он был как безумный и всё чаще стал говорить о самоубийстве. Брат Володя и Саша нередко проводили с ним целые ночи, опасаясь, что он приведёт в исполнение своё намерение.

И вот в его настроении наступила перемена. Он бросил пить. Подтянулся. Он как-то внезапно, со всей своей мрачной и

тяжёлой страстностью, увлёкся Юлией Ц. Это была молодая девушка немного старше его. Её нельзя было назвать красавицей. Но она была неотразима всей фигурой, лицом и особенно выражением больших тёмных глаз. Хорошего роста, с мужественной походкой и движениями, тёмная брюнетка с тёмно-матовым, чуть желтоватым цветом выразительного и умного лица, с большим, открытым мужским лбом, гладко причёсанными волосами, Юлия Васильевна Ц. выделялась из всех своих сверстниц. Что-то сильное, властное, непреклонное было во всей фигуре, в выражении холодных глаз, в волевой складке губ. Её нельзя было не заметить. Её появление среди людей сразу чувствовалось по той сдержанности, которая невольно сообщалась самым разудалым и беззастенчивым молодым людям. Она скорее стесняла своим присутствием, чем оживляла. А реплики её, вопросы, были всегда заострены, часто язвительны, иногда высокомерны. Но ею нельзя было не любоваться. А когда чьё-либо удачное слово или интересный рассказ привлекали её внимание, она преображалась. Слегка наклонившись вперёд, она внимательно слушала рассказ, не сводя глаз с рассказчика. По мере возрастания интереса к рассказу, лицо её оживлялось, исчезала холодная надменность, глаза приобретали изумительную глубину и особый блеск, губы приоткрывались, лицо озарялось улыбкой, которая красила всё лицо.

— Экая красавица эта Юлия Ц., — говорили те, кто был постарше. — А ведь к ней не подойдёшь, как к другим, таким холодом обдаст, захолодит!

И действительно, кончился рассказ и с ним потухало и просветлённое выражение лица. Глаза становились холодные, надменные; снова появлялась властная складка около губ. И опять Юлия Ц. становилась неприступной, отчуждённой, холодной, неприятной. Семья Ц. как-то грубо и властно вторг-

лась в семью Летниковых. Вторглась, поработила и наложила свою тяжёлую руку на более податливую семью Летниковых. Старик Ц., вдовец, с большим количеством взрослых детей, выдающийся учёный профессор — женился на Екатерине Алексеевне Летниковой, дочери его сверстника и сотоварища по профессуре. Старший сын Ц. женился на другой дочери Летникова. Отец и сын оказались женатыми на двух сёстрах. Это вторжение семьи Ц. в Летниковскую семью производило тягостное впечатление.

Настала очередь нового осложнения между двумя родами, из которых один оказался властным и покоряющим, а другой мягким, уступчивым и порабощённым.

Володя Летников со всею неукротимостью повлёкся к Юлии Ц. По-видимому, и его захватила тяжёлая страсть. Что-то жуткое чувствовалось в соприкосновении этих двух одарённых, страстных и тяжких людей. Володя коренным образом изменил свои привычки. Но настроение его не становилось легче.

Внезапно Юлия Ц. уехала в Петербург и там поступила на Высшие Женские Курсы. Володя остался в Москве. Наступило зловещее молчание. Всё притаилось. Володя умолк и не выходил из своего кабинета. Мать Володи, добрая, привлекательного вида, когда-то на редкость красивая, теперь очень пожилая женщина, на цыпочках подходит к дверям кабинета сына и в щёлочку подглядывает, что делает её Володя. Она была в вечной тревоге. Воспользовавшись однажды его отсутствием, она унесла из его кабинета револьвер, унесла разные подозрительные склянки и пузырьки. Володя делает вид, что не заметил похищений, но озабочен, и в свою очередь, потихоньку от матери, шарит в её комнатах, в белье и... находит унесённый у него револьвер.

Томительно тянутся дни, недели. Мои братья, Саша и Володя, стараются угадать настроение и намерения Володи, не оставляют его. Он молчит и кажется даже спокойным.

Внезапно приходит известие из Петербурга, что Юлия Ц. пропала. А через день газеты сообщили, что на взморье обнаружен труп молодой девушки, оказавшейся Юлией Ц.

В тот же день Володя застрелился.

Окончив Техническое Училище, брат Саша вскоре поступил на машиностроительный завод в Рязани. Несколько лет он пробыл на заводах в Рязани и в Мытищах, а впоследствии стал профессором того же Московского Технического Училища.

Брат Павел Иванович — уже судебный следователь в городе Подольске, Московской губ. Он женат на Александре Михайловне Цветковой, дочери известной в Москве деятельницы по народному образованию, Елизаветы Ивановны Цветковой. Его судебная работа проходит среди большой культурной работы, среди исканий правды на земле и согласования правды Божьей с правдой человеческой.

Отпочковавшиеся семьи продолжали крепко и дружно держаться связанными друг с другом, не отрываясь от основного корня в розовом домике в Б. Казённом переулке.

Семья вся собиралась каждое 1-ое октября в доме отца. Это день переезда из Межевого Института в свой домик, в Б. Казённом переулке. В этот день, или в один из ближайших дней, у нас на дому служили молебен с водосвятием и с акафистом Покрову Божией Матери. Отовсюду съезжались молодые семьи с внуками и внучками к дедушке на молебен.

Молебен проходил благолепно и трогательно. Прекрасные слова акафиста, обращения к Всепетой Матери: «Призри на смирение души моея, покрый мя всемощным омофором Твоим, да избавлюся от всех бед и напастей, и в час кончины моея, о

Всеблагая, предстани мне...» — произносятся священником, старичком Далициным, с особым чувством и проникновенностью.

Отец стоит на коленях. Молитва захватывает его. Его лицо просветлено, но во всей его фигуре чувствуется утомление, а в глазах печаль и покорность.

Внучата, а их уже много, стоят поодаль, у зеркала, перед бабушкой, которую они все зовут «баба Юля». Все братья тут и их жены. Вся семья в сборе. Бросается в глаза что отец как-то очень постарел и сдал. С некоторым трудом поднимается с колен.

После молебна пьём чай. Стол раздвинут на все вставные доски. Вся семья едва помещается за этим столом. Марья Ивановна, тоже постаревшая, она в нашей семье с очень давних пор, неизменно разливает чай. Сколько чая было выпито при её непосредственном участии! Ведь она занимается этим делом с самого начала наших гимназических лет. Отец растроган. У него слёзы на глазах. Он шутит с внуками. Он говорит нам, что летом собирается съездить в родные места, в Тамбовскую губернию.

— Хочу съездить проститься с родными местами, — говорит он с печальной улыбкой.

Мы все приветствуем это решение и протестуем против цели поездки. Не проститься, а повидать родные места и людей, отдохнуть, набраться сил и т.д. Однако мы чувствуем, что отец правильно определил смысл своей поездки.

Последнее время он стал прихварывать, скорее уставать. Часто возвращается от «больных» сам изнеможенный и очень печальный. Он по-прежнему деятелен. Неизменный участник живой работы Яузского попечительства о бедных. По-прежнему у него больные и он у них. Так с утра и до вечера.

По-прежнему «Русские Ведомости» и газета «Врач» составляют его постоянное чтение. Но силы его заметно слабеют и падают.

Решив ехать в Тамбовскую губ., он оживился и стал деятельно готовиться к этой поездке. Списались с родными, установили маршрут, отовсюду получили радостные письма — непременно побывать, не забыть, заехать и т.д. Почти во всех уездах Тамбовской губ. оказались родные, родственники, друзья и лица, которые «по гроб жизни» обещали не забыть то доброе, что сделал для них Иван Николаевич.

И вот летом поездка состоялась. Вдвоем с Юлией Михайловной отец совершил задуманное им путешествие. Тамбовской губ., село Пичины встречало его радостно и радушно, с выражением признательности за всё, что он сделал, и признания дела его жизни. А это дело — было помощью людям в их беде, в их горе и страданиях. Эта поездка оказалась, действительно, завершением круга, завершением его жизненного пути.

Растроганный, душевно удовлетворенный, он вернулся в Москву. Вскоре он занемог своим обычным недомоганием около Рождества. На этот раз так он и не поправился. Он болел около года. Как доктор, он сознавал свое положение. Исполнял всё, что требовали от него товарищи и друзья-врачи, а сам готовился в новый путь, с которого уже не возвращаются.

Около него неотлучно была верная его спутница, наша вторая мать, Юлия Михайловна. Лето они провели в Сокольниках, на даче. В тот год осень была на диво красочная и золотая. В подмосковных Сокольниках, несмотря на их заселенность, есть уголки совершенно очаровательные, а широкие просеки местами проходят под сводом золото-желтых и красных кленов, пронизанных солнечными лучами. Прогулки отца по любимым его дорожкам становились все реже. Наконец, они вовсе прекратились. Врачи избегали называть его болезнь,

но не подавали никаких надежд. По-видимому, это была саркома легких.

Отец безропотно принял сложившееся положение. Он сам врач. Иногда, в отсутствие врачей, просил Юлию Михайловну дать ему аппарат с гуттаперчевыми трубочками для выслушивания сердца и легких. Вставив концы трубочек себе в уши и приложив чашечку, с которой были соединены трубочки, к своей груди, он долго с напряженным вниманием выслушивал себя. Его спокойно-покорное выражение лица не менялось, только становилось сосредоточеннее и печальнее. Тяжело вздохнув, он отдавал прибор Юлии Михайловне, закрывал глаза и оставался так, молчаливый и сосредоточенный. Слеза скатывалась из-под его закрытых век.

Он подзывал Юлию Михайловну, брал ее за руку, долго и нежно гладил эту руку и, вздохнув, говорил:

— На всё воля Божья! Юля, скоро конец. Переедем в Москву, домой. Там хочу умереть.

Он утешал маму, которая едва сдерживала слезы. Усаживал ее поближе к себе и говорил ей, как ей нужно устроить свою жизнь, когда его не будет.

— Дети все на ногах, они тебя любят. Ты их вынянчила. Они тебе будут опорой.

В Москве состояние отца стало ухудшаться. Он с печальной улыбкой встречал своих коллег врачей. Благодарил их за заботу и говорил, что нужно готовиться к концу.

— Впрочем, кажется, я уже готов, — говорил он Варнаве Евфимовичу Игнатьеву, врачу Константиновского Межевого Института, который забегал к нему «утрушком», как он говорил, и просиживал до вечера.

Отец охотнее вел беседы и слушал тихие разговоры священника Андрея Григорьевича Полотебнова. Эти разговоры и

напутствия «в путь ходящим» были ближе его душе верующего христианина. Однажды, когда отцу было особенно томительно, кто-то из близких ему людей предложил призвать Иоанна Кронштадтского, чтобы он «помолился».

Иоанн Кронштадтский вскоре приехал к нам. Мне не нравились приготовления к его приему. Я не сочувствовал, разделяя общее недоброжелательное отношение интеллигенции к этому, сделавшемуся популярным, батюшке. Дорогой портвейн определенной марки, которую только и пьет батюшка, цветы, особые груши, которые батюшка любит, ритуал приема его — всё это было сообщено специалистами и антрепренерами отца Иоанна. Всё это меня настраивало враждебно.

Отец, в подушках, сидел на диване, лежать ему было тяжко, казался безучастным, не замечая невольной суетни и приготовлений.

Вот с улицы дали знать — «едет!».

Засуетились. Все вышли к воротам встречать отца Иоанна. Я остался один с отцом. Он подозвал меня. Взял за руку и произнес чуть слышно: — «Я знаю, что умираю. Я готов. Но тяжко мне».

Я припал к его руке.

А из залы раздался резкий, громкий и как бы повелевающий голос:

— А где больной?

С этими словами, произнесенными резким тоном, так не соответствующим тишине, окружавшей умирающего, отец Иоанн быстро вошел в кабинет отца.

Резкий тон, шелковая муаровая ряса, кресты и яркие ленты на груди — всё это опять мне не понравилось.

— Что, нездоров, болен? Ну, ничего, поправишься. Бог милостив. Ну, помолимся. А как твое имя?

И это было сказано резко, грубо, даже с ноткой как бы некоторого недоброжелательства. Мне обидными показались и тон, и манера этого священника.

Начался краткий молебен. Отец Иоанн служил скороговоркой. Но вот он опускается на колени, распростирается и начинает громко молиться.

Что это была за молитва! Что произошло с отцом Иоанном и со всеми нами, сказать я не сумею и сейчас, когда с того времени прошло более 35 лет, а я помню всё, как будто это было вчера. Молитва его была поистине вдохновенна. Это был призыв к Богу, слияние с ним, просьба о милосердии и помощи, и пламенная вера, что душе, готовящейся и уже идущей, там уготовано место упокоения, туда, куда устремляются все души, свершившие свой жизненный путь.

Я глянул на отца. Он был весь просветлен, он как-то выпрямился весь. Глаза его широко открылись. Казалось, он видит и путь, и шествие, и место упокоения. Молитва чудная, неслыханная по тону и по проникновению, кончилась.

Отец Иоанн встал с колен. Благословил отца широким крестным знамением и поспешно уехал.

Отец долго оставался под обаянием этой чудесной молитвы и долго сохранял просветленное настроение духа.

Однако разрушение организма продолжалось. Иногда по утрам, зайдя к нему проститься перед отъездом в Съезд или камеру Пресненского участка, которую я получил в заведование после смерти А.А.Арнольди, я находил отца лежащим на полу. Томясь ночью и не находя себе места, он просил маму постлать ему тюфячок на пол и в изнеможении оставался на нем.

Ему становилось всё хуже и хуже. Ясно было, что дни его сочтены. Я просил освободить меня от разбора в камере и

заменить меня добавочным судьей. Но судьи все были заняты. 6 октября 1896 года в большой тревоге поехал я в свою камеру, оставив отца в великом томлении. Во время разбора дел ко мне подошел мой рассыльный Василий и шепотом сказал:

— По телефону из участка приказано Вам передать, что ваш батюшка померли.

В день похорон наш переулок запрудили пришедшие его проводить. Когда из ворот дома мы выносили гроб и несли его в церковь Воскресения в Барышах, слышно было, как в толпе говорили: — «Это наш доктор Иван Николаевич, царство ему небесное. Добрый был барин!».

Это хитровский народ, жители углов и подвалов, коечно-коморочных квартир и ночлежек пришли проводить «своего доктора».

Схоронили отца в Алексеевском монастыре, там, где схоронена была и наша мама Елизавета Павловна.

Часть третья

Глава I. Московская Городская Дума. 1897-1905

Это было 34 года тому назад. Я был тогда еще молод. На этих страницах вспоминаю, как началась моя общественная работа.

В мае 1897 года я избран Секретарем Московской Городской Думы (официально должность эта называется Городской Секретарь), избран против воли, при моем энергичном сопротивлении и даже при отказе от баллотировки. Я был совершенно удовлетворен своей работой мирового судьи. С некоторого рода презрением относился к тем, кто бросал судейскую работу ради «карьеры», какой бы то ни было и где бы то ни было. «Карьеризм» — разнозначило с беспринципностью. Уходить из судей — казалось изменять делу ради тщеславия или улучшения своего материального положения. Все это казалось недостойным судьи. Если мое сопротивление было все-таки сломлено, то только потому, что старик Л.В.Любенков однажды, видя, как я тяжело переживаю положение, в котором очутился нежданно-негаданно, после того как стали требовать, чтобы я шел в Городскую Думу вместе с кн. В.М.Голицыным, только что избранным Московским Городским Головой, сказал мне в одну из сред, после судебных заседаний в Съезде:

— Что это ты, ясочка, загрустил? Тащут тебя на большое общественное дело. А ты упираешься. Нельзя так. Мало ли что приятно. Иди, иди. Так нужно. Приходи ко мне в воскресенье. Ты что-то давненько у меня не был. Мы поговорим.

В воскресенье я был у Любенкова. Он увел меня в свой длинный узенький кабинетик, чтобы нам не помешали. Усадил в кресло и начал:

— Ну, рассказывай. Почему ты не хочешь идти в Думу с Голицыным?

И не дав мне докончить моих соображений о том, что я полюбил дело судьи, что городского дела не знаю, что купеческая Дума меня совсем не интересует, Любенков стал говорить о том, что такое общественное дело, каковы его задачи и как необходимо именно в Москве это общественное дело развить и поставить на надлежащую высоту.

— Ты будешь там не один. Там Николка Щепкин. Горяченек он. Но способный, талантливый. А Московская Дума, вот она какая! Какие у нее были головы! Орлы! Черкасский, Чичерин! Иди, иди. Князю Голицыну нужна помощь. Он хороший, но слабый. Ему будет трудно. Помоги ему. Нет, не отказывайся. Иди! Так надо.

По мере того как Лев Владимирович развивал свои мысли, я чувствовал, что моя сопротивляемость слабеет и разрушается. Мои основания к отказу, казавшиеся такими бесспорными, утрачивали свою убедительность даже в моих собственных глазах. Какой-то новый порядок мыслей стал овладевать мною. В нем растворялись мои недавние соображения. Что-то жутко заманчивое глянуло из-за серой, смутной неопределенности, которой представлялось мне общественное дело, творимое в красном, довольно неуклюжем доме на Воскресенской площади, дело более высмеиваемое газетами, чем поощряемое. Мотивы: мне хорошо здесь, я не хочу уходить от приятного для меня дела и от приятных для меня людей — поблекли и оказались слабыми и неубедительными. Даже как-то было неловко вспоминать, не то что уж выдвигать их на первое место.

Общественный долг. Общественное дело. Вот что стало передо мной во всем своем значении и увлекательности в этом тесненьком кабинетике Л.В.Любенкова.

— Мировой судья — это первая ступень общественного служения, — говорил Л.В.Любенков. — А там — гласный

земский или городской. Перед ними не только технические, хозяйственные дела. Большое культурное общественное дело, нужное для народа, для России. Там шире. И хорошо, что ты станешь Секретарем Московской Думы, да еще при мягком Голицыне. Все ты заберешь в свои руки. Ты с характером и с волей. Влияние твое будет большое. Иди, иди. Не сомневайся больше. А со съездом ты не порвешь. Ты наш. Мы тебя любим. Сам нас не забывай. Да ты и не забудешь. И хорошо, что ты сопротивляешься. Ишь, как упираешься. Не то что Мишка Приклонский. Тот хочет. Тому суд надоел. А ты не бросаешься. Значит, будет хорошо. Иди же, иди.

Уходил я от Любенкова, растеряв все свои доводы, вся моя решимость и сопротивляемость исчезли. Все, на чем, думалось, я твердо стоял, как на граните, оказалось размытым. Я очутился на песке. Новые, загадочно манящие перспективы открылись передо мною. Но между ними стояли люди, с которыми сопрягать свою судьбу мне все же не хотелось.

Я пошел к моему большому приятелю И.И.Шейману, с которым мы в один день были избраны добавочными мировыми судьями в Москве. Это было в 1894 году. С тех пор мы были неразлучны. В Съезде над нами подтрунивали и называли нас inséparables, а то и попросту — «ну вот, можно начинать заседание: Аяксы идут!».

И.И.Шейман был человек больших способностей и тонкого, аналитического ума. Он быстро овладел делом судьи и, пользуясь постоянным руководством Л.В.Любенкова, который очень его оценил, стал одним из выдающихся судей по знанию, умению разобраться в сложных юридических положениях. Это был образованный, начитанный человек, продолжавший читать и учиться. Он любил искусство, был настоящим европейцем. Мы с ним близко сошлись и, как говорили наши судьи, дополняли друг друга свойствами своих характеров. Иван Иванович

был мне близок многими своими чертами. А особенно привлекала меня к нему какая-то печаль в его глазах и во всем его тоне, когда мы оставались вместе, без посторонних. Трудно было объяснить эту присущую ему печаль, мало заметную на людях, но составлявшую основу его существа.

Иван Иванович был в полном курсе моих переживаний. Он был на моей стороне и не хотел, чтобы я уходил из судей. Мы должны были с ним начать одну работу по пересмотру Наказа Мировым Судьям, что предлагал нам С.И.Печкин. Иван Иванович разделял и мое не очень восторженное отношение к судьям, которые сами стремились в Городскую Управу и настаивали на том, чтобы я шел вместе с ними. Среди этих судей был Н.К. фон Вендрих, М.И.Приклонский и С.Д.Лебедев. Два последних были приглашены Голицыным на должность членов Городской Управы. Приклонский был способный человек, но никак не отличался ни тонкостью культуры, ни образованием. По существу это был человек без всяких принципов. Это была грубая натура, большой циник. В Съезде его сдерживало и облагораживало влияние Любенкова, которого он побаивался и мнением которого дорожил. Особенно радоваться компании Приклонского не приходилось.

Еще менее интересна была фигура Лебедева, ленивого и безличного человека. Старик Вендрих составлял для князя Голицына «кабинет». Сам он в Управу не шел. Это он, по поручению князя и вместе с ним, вел со мной настойчивые переговоры.

Н.К.фон Вендрих был старый судья и давний гласный Городской Думы. Фигура типичная и колоритная. У него нечего было искать идеологий, глубоких размышлений и принципиальных обоснований дела судьи или общественного дела. У него действия предшествовали слову и иногда, казалось, они опережали даже и мысль. Это был человек импульса, очень

пристрастный и предвзятых симпатий и антипатий. Ему не нужны были декларации. Ему нужны были действия, которые он оценивал с точки зрения своих настроений и вкусов. Горе тому, кто вместо правильных действий подставлял красивые слова. Такого преступника он сначала испепелял своими острыми, жгучими, сверкающими глазами, а потом разражался пучками вылетавших из него несвязных, обличительных слов. Он был грозой помощников присяжных поверенных, дерзавших свое незнание прикрывать праздными словами. Его боялись даже старые адвокаты и часто отказывались от дел у Мирового Судьи Александровского участка, каковым был грозный фон Вендрих.

Этот-то Вендрих и настаивал на том, чтобы я шел в Думу. Его главный аргумент был: «нужно помочь Князю». Но как я буду помогать, когда я не знаю дела! Доводы Вендриха скорее укрепляли мою позицию, и я упорно продолжал отказываться. Но после разговора с Л.В.Любенковым, он усмотрел во мне колебания. Немедленно сообщил об этом князю Голицыну и, после ожесточенного и последнего сопротивления, оказанного мною князю в его кабинете в доме Полякова, на Б. Никитской улице, князь просил меня все же прийти на заседание Думы, назначенное для выборов, и там дать мой окончательный ответ. Перед заседанием князь велел мне сказать, что он умоляет меня не снимать моей кандидатуры, иначе он должен будет уйти в отставку. Что мне было делать?

Я присутствовал при том, как Московская Дума почти единогласно избрала меня на должность Городского Секретаря. Я видел, как считали шары в моем ящике, слышал стук падающих на лоток шаров, и мне хотелось крикнуть — «да что вы там делаете? Вовсе не хочу я баллотироваться куда бы то ни было». — Но я этого не крикнул. Так судьба моя была решена. С острой болью я простился с моей камерой Пресненского

судьи, со Съездом, с судьями и вступил в красный неуклюжий дом на Воскресенской площади.

Жутко было. Люди новые. Первые встречи не особенно приветливые, за исключением стариков, сторонников Найденова, среди них член управы, Колоховский, которые рассчитывали во мне, молодом, найти поддержку. В Городской Канцелярии, начальником которой я оказался, леденяще холодный прием. Исполняющий должность Городского Секретаря В.П.Преображенский — философ, литератор, прикрыв рот рукой, сощурившись, острыми глазками следит за моими неуверенными шагами. Старший помощник Городского Секретаря, С.П.Юнгфер, деловито изысканно вежлив и строго формален. Из-за двери до меня долетают громкие голоса:

— А что, новый Городской Секретарь появился? Смелый молодой человек! Берется за такое дело! Ну, посмотрим.

Это А.А.Шилов и Н.М.Горбов в соседнем кабинете Товарища Городского Головы. Это оппозиция новому Городскому Голове и новой Городской Управе.

Начинается новая жизнь, новая работа среди новых людей. И во главе всего князь В.М.Голицын. Меня с ним связывают давнишние воспоминания, еще детские.

Князь В.М.Голицын, такой торжественный и красивый в своем камергерском мундире в церкви Межевого Института. Мы, детьми, любуемся им. Мы хорошо знали высокую, величественную княгиню Софью Николаевну, которая появлялась в церкви Межевого Института, становилась у правого клироса со всеми своими детьми, тремя мальчиками и двумя девочками. Иногда с ними являлась старушка бабушка, Луиза Трофимовна. А кн. Владимир Михайлович становился поодаль. Вся эта семья была как бы из другого мира. Это были первоосновы отношений к Голицыну. Теперь он избран Городским Головой в Москве, и я должен быть его ближайшим сотрудником.

Кандидатура кн. Голицына была выдвинута после тщетных упрашиваний и уговариваний К.В.Рукавишникова принять избрание на новое четырехлетие. Рукавишников упорно отказывался: устал, запустил свои коммерческие дела, больше не хочет. Купеческая Москва остановила свой выбор на князе Голицыне, подчеркивая этим свою независимость от Петербурга, свою самостоятельность в суждении и выборе: Москва имеет свое мнение и Петербург ей не указ. Голицын был в Москве губернатором и снискал общие симпатии и расположение к себе всех кругов Москвы. Он был прост, ласков и обходителен со всеми. Его благородная, изящная красивая наружность приятна была москвичам. Особенно дамы были очарованы князем Голицыным.

«Наш князь Владимир Михайлович, наше красное солнышко!» — так называли его московские дамы.

Князь Владимир Михайлович — человек просвещенный, дворянской культуры, либерально настроенный человек, никогда не был чиновником и бюрократом. Техническое дело управления, со всеми мелочами и формализмом, было ему скучно и чуждо. Он не скрывал, что мало интересуется этой стороной дела. Если он был «представительным» губернатором на Москве, то как чиновник министерства внутренних дел он был весьма слаб и мало отвечал требованиям Петербургских канцелярий. Говорят, что за время губернаторства кн. Голицына на Москве, о нем накопилось в Петербурге целое досье, которое называлось: «Дело Голицынских курьезов». Его происхождение и связи, связи его жены Софьи Николаевны, урожденной Деляновой, защищали Голицына и заставляли терпеть на посту Московского губернатора.

Но вот, однажды, терпение Петербурга иссякло. Какой-то служебный промах Владимира Михайловича переполнил чашу департаментского терпения. Петербургская бюрократия ото-

мстила ему разом за все его прегрешения и за «досье Голицынских курьезов». Он был назначен губернатором в Чернигов! Из Москвы в Чернигов! Это была явная административная кара. Никого не убеждали лицемерные заверения, что в Чернигове губернатор более независим, чем в Москве, где ему приходится все время считаться с генерал-губернатором. За что? Москва не знала за своим губернатором прегрешений. Петербургская демонстрация по отношению к князю Голицыну была принята недоброжелательно. Москва стала на сторону Голицына. Злоязычия, начавшиеся было по его адресу, успеха не имели и быстро смолкли. Голицын в Чернигов не поехал. Вышел в отставку, сложил придворное звание и стал «простым смертным», сойдя с правящего Олимпа.

Это еще более понравилось Москве. Московское купечество охотно называло его «Наш Князь».

С этого времени кн. В.М.Голицын еще больше входит в общественную жизнь Москвы. Московская Городская Дума выбирает его почетным мировым судьей. Его выбирают на почетные должности в разные благотворительные и просветительные учреждения. А в 1897 году Московская Дума выбрала его Городским Головой. Это была контрдемонстрация Москвы по адресу Петербурга.

— Вы, петербургские чиновники, не умеете ценить хороших людей. Вам они не нужны. Ну, а мы их любим, ценим, ими дорожим. Они нам нужны.

Таков был смысл избрания кн. Голицына на должность Московского Городского Головы.

Он был, действительно хороший человек. От него не нужно было требовать того, чего он не мог дать. Но он сам по себе являлся большой ценностью, будучи всегда и во всем благородным, чистым, безукоризненным джентльменом, культурным, прекрасно настроенным человеком. Он был барин в своем

глубоком существе. Барин культурный, достаточно просвещенный, понимающий недуги русской жизни и охотно прислушивавшийся к провозглашениям прогрессивных и либеральных идей и разделявший их. Но внутренний мир его не был исчерпан работой, которую требовало управление или ведение большого хозяйства. Недаром у него была своя «святая святых», недоступная никому. Даже жена его и дети не смели входить к нему в кабинет в определенный час дня. Он запирался в своем кабинете и вел свою запись, в которую заносил события и факты текущей жизни, свои размышления. Запись эта велась изо дня в день и должна представлять весьма ценный исторический материал. Где теперь эти записи?

Как губернатор он, может быть, плохо «управлял» вверенной его попечению губернией, так же и городским головой он мало интересовался, а иногда явно тяготился делами по управлению городским хозяйством, заседаниями управы, в которых он председательствовал, заседаниями комиссий, в которых ему приходилось присутствовать. Именно присутствовать, ибо объяснений от имени управы он не давал никогда, предоставляя делать это товарищу городского головы Ив.Ал.Лебедеву, или соответствующему члену управы, или мне.

Но зато он был незаменимым представителем города во всех весьма разнообразных случаях, требующих достоинства внешнего и внутреннего. Он был чудесным председателем думских заседаний. А что особенно было важно — он своим присутствием в Московской Думе и Управе, сообщал всему тот благородный, высокий тон, который так был необходим тому общественному делу, которое делалось в Москве и которое нужно было с достоинством оберечь от недоброжелательного, часто явно враждебного отношения со стороны Петербурга.

После Городского Головы Н.А.Алексеева с его бурнопламенной и кипучей деятельностью, после делового и формально подтянутого управления К.В.Рукавишникова, управления которого Найденовская группа ехидно называла «рука-Вишнякова», намекая на большое влияние крупного московского коммерсанта А.С.Вишнякова, — князь Голицын давал совершенно новый и своеобразный тип Головы в Москве. Сопоставляя его с двумя его предшественниками, Голицына находили не деловым, не деятельным, его упрекали даже в равнодушии к городскому делу, в отсутствии инициативы. Эти обвинения со стороны противников имели основание только формальное. Он не был дельцом, казался всегда сдержанным, не вступал в горячие споры и пререкания из-за того или иного вопроса городского хозяйства, охотно уступал своим оппонентам. Но это вовсе не значит, что он был равнодушен к делу. Если прежние головы сами были источниками инициативы, часто эгоистической и тщеславной, и трудно мирились с чужой инициативой, то кн. Голицын предоставлял широкую инициативу другим, своим сотрудникам, не стесняя никого, часто поощряя других, вызывал инициативу среди гласных. При нем общественная работа развивалась может быть больше, чем при его предшественниках. Гласные Думы получили возможность выдвигать новые и новые вопросы, не боясь, что встретят сопротивление и недоброжелательство, может быть нечто вроде зависти со стороны Головы. Тем печальнее было, что образовавшаяся в Думе оппозиция недоброжелательно отнеслась к князю, а то большинство, которое его поддерживало, представляло в общем довольно серую «домовладельческую» массу.

Мне было очень досадно и обидно, что группа гласных, сразу ставшая в оппозицию к кн. Голицыну и к его Управе, увлеченная борьбой и преследованием некоторых довольно

устаревших и ленивых членов Управы, сводившая счеты с группой Н.А.Найденова, который неизменно поддерживал князя Голицына — не замечала высокополезной и хорошей стороны в деятельности кн. Голицына, травила его и потешалась над его беззащитностью в хозяйственных делах. К сожалению еще большему для меня, одним из самых неукротимых оппонентов князя Голицына был и талантливый Н.Н.Щепкин, не мирившийся с кажущимся равнодушием князя. Щепкин, товарищ городского головы при Рукавишникове, отказался занимать эту должность при князе Голицыне, вышел из состава Управы и, во всеоружии знания городского дела, вошел в оппозиционную группу, которую вскоре стали называть «Торговый дом Братья Гучковы, Щепкин, Мамонтов и К°».

В основе этой оппозиции лежало нескрываемое недоброжелательство к тем группам думских гласных, которые выдвинули кандидатуру кн. Голицына в Городские Головы. Это была группа Н.А.Найденова, царившего тогда и в Биржевом Комитете и в Купеческом Обществе. У Найденова был тяжелый нрав и тяжелая рука. Сам очень умный, знающий себе цену, не ломавший шапки перед сильными мира, он любил показать свою силу и влияние. Маленький, сухенький, с рысьими, бегающими глазками и всегда покачивающейся из стороны в сторону головой, он говорил отрывочными словами, не повышая голоса. Выражение глаз заменяло ему интонации. Казалось, его не столько слушали, сколько были прикованы к его глазам. Он говорил, а глаза его свидетельствовали, что он не допускает возражений. Зависевшее от него московское купечество беспрекословно исполняло его приказания. Так было в коммерческих делах. Так было и при выборах в Городскую Думу, в Биржевой Комитет, в Купеческое Общество. Диктатура Найденова в девяностых годах тяготила многих. Стали образовываться среди купечества группы, дерзавшие высту-

пать против него. Так сложилась группа А.С.Вишнякова (впоследствии основателя Московского Коммерческого Института), которая имела против себя и старо-кредитного Общества группу Шильдбаха, и Найденовскую группу. Оппозиция князю Голицыну в Думе сложилась из недавнего окружения К.В.Рукавишникова. Она била по Найденову, а попадала в Голицына.

Группировки гласных того времени, чуждые каких-либо политических признаков, были, однако, предтечами группировок, которые образовались в начале наступившего столетия и получили явно выраженные политические очертания. Но в этих новых группировках произошли довольно неожиданные перемещения отдельных лиц: из оппозиции в реакцию, и из глубоких недр купеческой Москвы — в революцию...

Значение оппозиции того времени было благодетельно в том отношении, что она оказывалась постоянным стимулом к работе городской управы. Она не давала ни отдыха, ни срока. На оппозицию ворчали, на нее негодовали, от нее много страдали самолюбия отдельных лиц, но она торопила и улучшала работу городского управления. Благодаря ей, Московское Городское Общественное Управление стало вскоре всероссийской консультацией по городским делам.

Не без смущения вошел я в небольшой кабинет Городского Секретаря. Письменный стол с протертым по борту зеленым сукном против кресла свидетельствовал о долгой и напряженной работе. Против стола — желтый книжный шкаф с «законами». Небольшой узенький диванчик у большого окна, выходящего на узкий, длинный двор, отделявший здание Думы от Губернского Правления. На стене у кресла телефон № 102-47, и большой фотографический портрет в черной раме бывшего Городского Секретаря Николая Ивановича Бабаева.

Бабаев был многолетним Секретарем Московской Городской Думы. Дума неизменно и единогласно избирала его на эту должность. Сменялись Городские Головы, сменялись составы Городских Управ, а Н.И.Бабаев оставался на своем посту, хранитель традиций Московской Думы, связь прошлого с настоящим, непременный участник работы всех думских комиссий, знавший все прошлое, бережно относившийся к творимому настоящему и беззаветно преданный родной Москве. Все, без различия направлений и группировок, гласные, все составы Управ, все Городские Головы относились к Н.И.Бабаеву с величайшим уважением. Без него не предпринималось ни одно новое начинание, не принималось ни одно важное решение. В его лице была прочная связь между Думой и Городской Управой, в состав которой по закону Городской Секретарь не входил, связь между враждовавшими группами гласных. Он был добрый и мудрый советчик в общественном деле, которое любил и которому служил с беззаветной преданностью. Н.И.Бабаев умер от разрыва сердца на работе, в самом здании Думы, когда он вел деловую беседу с Городским Головой Рукавишниковым. Этого большого работника с почетом схоронили на кладбище Алексеевского монастыря. Временно, до новых выборов, его заменил В.П.Преображенский.

Мне, новичку в городском деле, совершенно неопытному, пришлось заменить такого крупного знатока городского дела, как Н.И.Бабаев, который был живой летописью и энциклопедией городского дела. Лично я сохранил от соприкосновения с Николаем Ивановичем чарующее впечатление. Мне пришлось обратиться к нему за разъяснениями по поводу условий выборов мировых судей. К нему я шел за справками и указаниями. Когда я входил в его кабинет, для меня ясно было, что иду беспокоить человека, который должен сделать мне одолжение, давая разъяснения и указания. А когда я выходил от него, мне

казалось, что это я сделал ему одолжение и доставил ему удовольствие тем, что пришел к нему за справками. Так ласково, радушно встретил он меня, так подробно рассказал не только об условиях баллотировки, но и о работе мирового судьи, и о Съезде в качестве почетного мирового судьи. Это приветливое обхождение с приходящими к нему высоко ценилось в Николае Ивановиче всеми и делало его особенно популярным в Москве. Своим обхождением с «просителями», а их было всего очень много, Николай Иванович осуществлял на деле один из существеннейших принципов общественной работы: общественные учреждения для населения, а не население для учреждений. Это было правилом и духом работы Николая Ивановича.

Входя в его кабинет уже Городским Секретарем, я вспомнил мою первую встречу с Николаем Ивановичем в этом самом кабинете, вспомнил основное правило его общественной работы — и, взглянув на портрет Бабаева, решил, что этому правилу буду стараться следовать и я.

Работа в Московской Городской Думе не терпит остановок. С первого же дня я оказался вовлеченным в поток текущих дел. Забрав новых пассажиров, поезд покатил дальше, потряхивая, погромыхивая, иногда ровно и гладко, без особой трясски, иногда с сильными толчками, весьма мало заботясь о том, как чувствуют себя эти пассажиры. О покинутом Съезде уже не приходилось сожалеть: некогда было! Новые задачи, новые заботы, новые, неожиданные широкие интересы, новые трудности заполнили и дни, и даже ночи. Работа поглотила всего. Работа, связанная с другими людьми, зависящая от них, от их решений, и в то же время влияющая на эти решения — стала увлекать. Общее дело, дело общественного интереса, дело ради удовлетворения «польз и нужд общественных», как говорил закон — раскрыло свои бездонные глубины. Конца-краю не

было этой работе, этим пользам и нуждам, этим потребностям населения, вопиющим, взывающим и неудовлетворенным. Методы этой работы оказались совершенно иными, чем все то, что приходилось делать до сих пор. Работа в Окружном Суде, в камере мирового судьи, в заседаниях Съезда мировых судей — оказалась такой маленькой по сравнению с тем, что делала Московская Дума и Московская Городская Управа. Там тоже жизнь и человеческие нужды, человеческие отношения, живые люди. Но роль судьи, его работа была лишена того непосредственного творчества, которое так радовало в широкой общественной работе. Там применение норм закона к индивидуальным коллизиям прав и интересов, иногда очень запутанным и сложным, болезненным для людей, вовлеченных в эти коллизии, иногда не разрешимым «справедливо» указанием закона. Там участие в жизни — со стороны, вне ее потока, как некий маленький регулятор этого потока. Здесь — работа в самой гуще жизни. Здесь — свобода инициативы, мысли, иногда увлекательнейшие речи на темы широкого общественного интереса таких людей, как С.А.Муромцев, кн. А.И.Урусов, В.М.Пржевальский, проф. В.И.Герье, В.М.Духовской. Постановка новых целей и задач во всех областях интереснейшего дела, которое называлось — далеко не охватывающим всего сложного содержания и внутреннего смысла, — словом «городское хозяйство».

В те времена, а это были годы на рубеже двух веков, XIX и XX столетий, Московское Городское Управление, продолжая работу предшествовавших лет, широко развивало свою деятельность по муниципализации городских предприятий. Городское благоустройство стало заметно улучшаться. Городской бюджет, к началу XX столетия выражался в сумме уже 13 145 056 руб. (1900 г.). Продолжались работы по расширению городского водопровода, начиналась постройка городской

канализации, город выкупал знаменитую московскую «конку», рассматривались интересные проекты московского метрополитена и московской окружной дороги, вопросы, связанные с постройкой новых железнодорожных путей, связывающих Москву со всеми концами России.

А в других областях выдвигались и разрешались вопросы об общедоступном и всеобщем обучении в городских школах, о внешкольном и ремесленном обучении, о приведении городских больниц в соответствие с новыми требованиями науки и с запросами увеличившейся нужды населения. В области общественной благотворительности укреплялась и развивалась работа городских попечительств о бедных. Благотворительность из дела частного и личного милосердия стала на твердую почву общественного дела. Городская статистика ставила себе все новые и новые задачи по учету городского населения. Городское Управление совершенствовало методы своей работы, искало новых людей для выполнения своих задач.

Словом, у меня голова шла кругом, когда я все глубже вступал в этот лес, казавшийся непроходимым и дремучим. Однако, в этом лесу уже были проложены тропинки, в нем прокладывались широкие дороги, намечался довольно стройный план разработки его. А освещение предпринимаемой работы в комиссиях, в общих заседаниях Думы гласным с таким талантом, как Н.Н.Щепкин — делало задачи увлекательными и участие в общей работе радостным.

На этой работе пришлось воочию убедиться в наличности двух начал русской жизни, бывших в глубоком противоречии друг с другом, часто в непримиримой борьбе. Эти два начала были: общественная работа и бюрократический произвол. Для нас, занятых практической работой в Москве, это было: Москва и Петербург, а вскоре это стало — Россия и Петербург. В общей работе Городского Управления роль Городского

Секретаря — была значительная. Его влияние на эту работу могло осуществляться разными способами. Оно могло быть прямое и непосредственное, в порядке высказывания мнения, подкрепленного ссылками на законы, на разъяснения Сената, на постановления Думы и установившуюся практику, на создавшиеся прецеденты. Оно могло выражаться в тактических воздействиях на оппозицию или Управу, когда взаимные отношения между ними особенно заострялись. Наконец, на Городском Секретаре нередко лежала обязанность улаживать трения, возникавшие между органами Городского Управления и органами местной власти. Переговоры с непременным членом Особого по Городским делам Присутствия, которым был в то время сухой, формальный, немного гоголевского типа чиновник В.В.Петров. Городской Секретарь был в то же время первым редактором докладов, вносимых в Городскую Думу. Но кроме того, Городской Секретарь своим образом действий и поведением мог разжигать страсти, которые всегда готовы вырваться наружу в работе многих, но он мог и вносить умиротворяющее начало в это соприкосновение людей, столь различных по происхождению, воспитанию, по культуре, развитию и пониманию общественных задач.

Я всеми силами старался упражнять методы второго рода: умиротворение, объединение усилий для достижения общих целей. Это мое стремление было скоро замечено, и ко мне стали относиться с доверием и сторонники князя Голицына, и его талантливая оппозиция, и Управа с громадным количеством служащих разных специальностей, так называемый «третий элемент», и органы надзора за деятельностью Городского Управления в лице Московского губернатора, непременного члена Особого по городским делам Присутствия, и Канцелярия губернатора.

Вот довольно неожиданная для меня оценка моего образа действий со стороны городских служащих. Одна очень почтенная старая служащая Московской Городской Управы, М.П.Ватсон, уже в эмиграции писала мне (3-го марта 1922 г.):

«Не знаю, имели ли Вы ясное представление о той тяжелой атмосфере, в которой приходилось служащим работать, о том унизительном положении, которое приходилось им терпеть? Я пришла в Управу еще при Городском Голове Н.А.Алексееве (раньше я была городской учительницей, но Ив.Ал.Лебедев признал меня неподходящей к его требованиям и выставил). И вот, когда мы переходили во вновь выстроенное здание Думы, я от служащих услыхала, что Н.А.Алексеев, устраивая новоселье, выразился так: «надо же эту сволочь (служащих) напоить шампанским». И служащие пошли на это новоселье. Этот факт необычайно характеристичен для того времени. Много примеров, характеризующих отношение к служащим и отношение последних к своему положению, можно было бы привести, но думаю довольно напомнить Вам, что Д.Д.Дувакин не подавал руки своему же брату, врачам, и почти не отвечал на низко отвешиваемые ему поклоны. Вы и кн. В.М.Голицын изменили это отношение: своим обращением со служащими заставили и других изменить его, да и самих служащих заставили почувствовать себя по-иному. Вы были «луч света в темном царстве» и Ваше появление в нашей среде вызвало то изменение, за которое, я полагаю, служащие и должны относиться к Вам с великой любовью. И представьте, кроме Вас и кн. В.М.Голицына, я никого не могу указать, кто бы относился к служащим, как равный к равному».

Так определилось мое новое положение в Московской Думе. Конечно, это произошло не сразу. Некоторое время происходило взаимное ознакомление и взаимное изучение. В мой кабинет заходили старые городские деятели «посмотреть»

на нового Николая Ивановича (покойного Бабаева звали тоже Николаем Ивановичем). Заходил старик кн. А.А.Щербатов — почетный гражданин города Москвы, первый всесословный Городской Голова в Москве по положению 1862 г. Заходил посмотреть, познакомиться и сказать несколько ласковых слов. Заходил с львиной седой гривой и острыми, живыми, насквозь пронизывающими глазами знаменитый городской деятель, исследователь и историк городского хозяйства города Москвы, Митрофан Павлович Щепкин. Этот пронизывал глазами насквозь, желая угадать, узнать, проверить: «годится или не годится новый Николай Иванович?». Через несколько времени мне дано было знать, что Митрофан Павлович, ознакомившись с несколькими работами нового Николая Ивановича — сказал: «годится!».

В самые первые дни моего появления в Думе, когда я был еще весь объят смущением, зашел ко мне гласный Думы Вл.А.Абрикосов, которого я знал давно. Я приподнялся, чтобы поздороваться с ним. Но он воскликнул:

— Нет, сидите, сидите, пожалуйста! Мне хочется посмотреть.

Я с недоумением смотрел на него. Вл.Ал. окинул взглядом кабинет, прищурил глаза, как рассматривают картину, постоял секунду, потом быстро подошел ко мне, крепко пожал руку и сказал:

— Поздравляю! Очень хорошо! А он еще отказывался!

В.А.Абрикосов на думскую работу смотрел больше с эстетической точки зрения. В думские заседания ездил, как в театр.

Приходили и гласные, председатели Комиссий, старые гласные — живая хроника Москвы. В разговорах в кабинете и в думских прениях вырисовывались интересные типы москви-

чей. Тут были представители тонкой европейской культуры и красочные представители московского коренного быта, кряжи, крепко сидевшие в самом материке старой Москвы. Казалось, никакие бури и ураганы не выкорчуют этих кряжистых москвичей, корни которых вросли в самую глубь истории Москвы.

При цензовых выборах в Думу, гласными были домовладельцы, купцы и фабриканты. Круг избирателей был сильно сокращен Городовым Положением 1892 года. На всю Москву, с ее населением в начале столетия 1 174 673 (по 31-ое января 1902 года), избирателей, заносимых в избирательные списки, было всего около 8 тысяч. А участие в выборах гласных принимало немного более 3 тысяч человек[4].

По степени образования избиратели, участвовавшие в выборах по личному праву, давали довольно печальную картину. Так, в начале столетия, на 4 563 избирателя (по личному праву), с высшим образованием было всего 475 человек, со средним — 620, с низшим — 1200, с домашним — 1393, вовсе неграмотных — 183, остальные грамотны, но не получили систематического образования. Эти довольно плачевные цифры требуют разъяснения в том смысле, что категории лиц с домашним образованием были совершенно исключительные по степени культуры, широкого развития и выдающегося ума люди. Это были по преимуществу купцы старшего поколения,

4 Число избирателей, внесенных в списки в 1909 г. было — 8151, а приняло участие в выборах — 3689; в 1913 г. — 9431, а участвовало в выборах — 3407. Замечательно, что по Городовому Положению 62 г. число городских избирателей было 13 240, а по Городовому Положению 70 г. это число возросло до 20 000.

по возрасту отцы нашего поколения. Они не имели официальных дипломов учебных заведений, но часто были весьма просвещенными людьми, иногда широкой европейской культуры, сделавшими для Москвы весьма много. Как на пример такого старого московского деятеля с домашним образованием можно было бы указать на умного, старого П.И.Санина, долгие годы бывшего московским гласным. Из более молодого поколения можно было бы назвать очень даровитого, очень много знающего во всех областях М.В.Челнокова, с честью несшего обязанности Московского Городского Головы в тяжкие годы великой войны.

В своем целом состав гласных Московской Думы в конце прошлого и в начале нынешнего столетия представлял весьма красочную картину. Это, конечно, не были представители всей Москвы. Далеко нет. Приведенные цифры показывают, какое ничтожное число населения города было представлено городскими гласными. Громадное большинство населения Москвы лишено было избирательных прав. Но таков был закон, носивший в обиходе название «Нового Городового Положения» по отношению к старому, каковым считалось Городового Положение 1870 года.

И тем не менее, Московская Дума была весьма разнообразна по своему личному составу. Может быть эта неоднородность, разношерстность ее состава и была одной из причин того, что она не костенела в неделании, а напротив того, несмотря на крайне ограниченные средства, постоянно проявляла деятельное искание способов возможно полнее ответить на запросы жизни, на нужды населения, на новые течения в областях «городского хозяйства», которое было вверено ее заботам и попечению.

А эти искания были трудны. Иногда наталкивались или на прямое, а чаще на пассивное сопротивление со стороны вла-

стей предержащих. Городовое Положение ограничивало не только круг избирателей. Оно ставило тесные рамки в работе Городской Управы, подчиняло эту работу неусыпному контролю администрации. А эта последняя иногда весьма бесцеремонно вмешивалась как в решения городских дел, так и в дело приглашения на городскую службу нужных людей. Неутверждения городских служащих стали обычным явлением в период, о котором идет речь. Городская Управа, преобразовав дело управления медико-санитарной частью, пригласила стать во главе санитарного отдела известного общественного деятеля и общественного врача, Михаила Ильича Петрункевича. Это был просвещенный и талантливый врач, которому по руке и по способностям была бы большая работа по его специальности в таком центре, как Москва. Однако, М.И.Петрункевич не был утвержден начальством. Это была явная «политика», но осуществляемая не Городским Управлением, а властью, которая карала Москву за свои счеты с Тверским земством и преследовала обоих братьев Петрункевичей за их земскую работу, за их либерализм. Михаила Ильича не утвердили в должности заведующего Врачебно-Санитарной частью гор. Москвы. А когда спрашивали: «в чем дело? Почему его не утвердили?», следовал ответ: «Да ведь это брат, знаете, того самого Петрункевича»... А вина «того самого» была в том, что он оказывался «живым центром русской либеральной мысли» (Дурново) и «не давал покоя бюрократии» (Горемыкин).

Неутверждения служащих следовали одно за другим. Но это вовсе не значило, что Городское Управление отыскивало неблагонадежные элементы и стремилось заполнить свои кадры революционерами. Совершенно наоборот. Политические тенденции Московского Городского Общественного Управления того времени были совершенно иные. Но об этом ниже.

Трудности работы Городского Управления были также и в том, что в его распоряжении были очень ограниченные средства, увеличить которые Думе цензового состава в те времена было довольно трудно. Надзирающая администрация не была склонна поощрять особо интенсивное развитие городского дела: чем спокойнее, тем лучше, тем меньше хлопот. Были бы выполнены обязательные расходы по содержанию полиции, войск, мест заключения и др. государственные повинности, а до остального администрации дела не было.

Состав гласных Московской Думы был действительно разнообразен и в своих сочетаниях довольно интересен.

Если гласные Думы знакомились с новым Николаем Ивановичем и изучали нового Городского Секретаря, то и он с величайшим интересом, любопытством, а иногда и увлечением, наблюдал и изучал это собрание преинтересных москвичей. Каждый в своем роде представлял не только себя самолично, но свою среду, колоритную, вековую, свой вековой быт, со своими стародавними преданиями, привычками и строго соблюдаемыми обычаями. А обычаи эти и уклады были разные для разных частей Москвы. Коренные жители Замоскворечья совсем были особенными. Обыватель Рогожской, Таганки, Преображенского не был похож на жителей Сущева. Мещанская часть совсем не то, что Лефортово, что Хамовники. Все эти «части» города были особенные, как бы сами города со своими нравами и причудами, особенностями, бытом, даже занятиями. Москва «интеллигентная» населяла Арбат и Пречистенку с лабиринтом их переулков. «Город» Москву-Сити — исключительно большие торгово-промышленные предприятия и банки. Замоскворечье — старозаветное московское купечество, в недавнем прошлом типы Островского; Рогожское — старообрядцы; Сущево — ямщики; Хамовники — ломовые извозчики и т.д. А московские ямщики — особый народ, со

своим самоуправлением, хранящие свои стародавние сословные учреждения и традиции! А ремесленники с их Ремесленной Управой с Игн. Алек. Александровым во главе, со своими цеховыми устройствами! А мещане — со своими учреждениями и сословными организациями — бесправные, «непривилегированные», стремящиеся выправить свое положение, стать, «как и другие», и в то же время не могущие отделаться от своей серости и воспитанной приниженности. Купеческое сословие имело свое самоуправление по своим сословным делам, имело своего купеческого старшину, которым в то время был небольшой, худенький, довольно бесцветный, однако с высшим образованием С.А.Булочкин. Но для общемосковского всесословного дела московские купцы и фабриканты, мещане, ремесленники, ямщики входили в Думу. К тому времени московское купечество уже ярко выделялось в Думе двумя поколениями. Тут были отцы, в большинстве с «домашним» или средним образованием; многие из них окончили московское немецкое училище Peter-Schule в Козьмодемьянском переулке на Покровке. Тут были и дети, уже прошедшие университет по разным факультетам и другие высшие учебные заведения.

В Думе одновременно заседали иногда целые купеческие кланы: отцы, дядья, сыновья и племянники, иногда одновременно даже внуки. Род известных московских жертвователей-«благотворителей» Бахрушиных постоянно имел в Думе одновременно нескольких представителей разных поколений. Старики-благотворители, Василий и Александр Алексеевичи Бахрушины, почетные граждане города Москвы в воздаяние за их непрерываемые, в интересном плане осуществлявшиеся пожертвования, их сыновья Владимир и Алексей Александровичи Бахрушины, из которых Алексей — известный создатель Театрального Музея в Москве. Впоследствии, представитель

третьего поколения, талантливый историк Сергей Владимирович Бахрушин. Кроме них заседали в Думе Константин и Николай Петровичи Бахрушины. Из них один отличался разве только своей чрезвычайной толщиной, а другой — молчаливостью. Одно время весь этот род заседал в Московской Думе, являя интересную картину крепкой семьи, крепко связанной с общественной работой, давшей Москве, в смене поколений, ряд индивидуальностей и ряд благотворительных учреждений.

Интересную семейную группу представляли Гучковы. Одновременно гласными Думы были Иван Ефимович Гучков со своим братом Федором Ефимовичем и приобретшие большую известность сыновья первого, Николай Иванович и Александр Иванович Гучковы. В то же время состоял гласным их младший брат Константин и, короткое время, Федор.

Тут были названные уже братья Николай и Александр Найденовы. Из них старший, Николай Александрович, издатель известного альбома Московских церквей, державший в свое время московское купечество в полном подчинении.

Отец, сын и дядя Вишняковы. Из них Александр Семенович Вишняков — один из основателей Московского Коммерческого Института, и старик Николай Петрович, уже в преклонных годах ставший неплохим художником и музыкантом. Два брата Абрикосовых и др.

Все это коренные московские семьи, крепко связавшие себя с московским общественным делом. Они были как бы непременными членами Московских Дум, звание гласных переходило из рода в род. Семья Гучковых, из которых Николай Иванович был избран в конце 1905 года Городским Головой, имела и в прошлом еще Городского Голову. В 1859 году в Москве был Головой Ефим Федорович Гучков. Семья эта оказывается связанной с городским делом не только в России.

Один из восходящих по роду матери, которая была француженкой, был мэром одного из городков Франции.

Среди гласных были и потомки бывших на Москве Городских Голов — Лямин, Третьяков, Рукавишников. Были и крупные, предприимчивые промышленники, были и крупные деятели торгово-промышленного мира, и общественные деятели.

Не стало больше московского купечества. Его старый быт с темными сторонами Замоскворечья нашел отражение в комедиях Островского. Не нашли отражения в литературе другие черты этого интересного «сословия», давшего такие крупные имена, как Алексеевы (Станиславский), Боткины, Бахрушины, Морозовы, Третьяковы, Щукины, Солдатенковы, Сабашниковы, Якунчиковы, Лепешкины, Мамонтовы и множество других. Среди этих имен мы встречаем и выдающихся русских женщин — Варвара Алексеевна и Маргарита Кирилловна Морозовы, В.И.Фирсанова, Е.С.Петухова.

Но в основе Московская Дума была довольно серой. Человеческая масса, составлявшая гласных Московской Думы, была в общем инертной массой, состоявшей иногда из очень трудолюбивых, благонамеренных людей наилучших побуждений, но малокультурных и привыкших смотреть на общественное дело, на сложное хозяйство Москвы, как на собственное маленькое дело. Методы управления городским делом, по их мнению, те же самые, что порядок управления собственными фабриками, булочными, трактирами и постоялыми дворами.

Московская Дума имела свои строгие нравы, свои обычаи, отступать от которых было невозможно. Так, далеко не все гласные могли свободно говорить в Думе. Право «выступать» в Думе нужно было приобрести. Пустой болтовни Дума не терпела. Неосторожный выступатель из молодых встречал такой суровый прием, такие недоброжелательные взгляды,

Дума обдавала его таким ледяным холодом, что надолго отучала смельчака от попыток выступить, не заслужив внимания Думы.

Замечательно, что в Московской Думе нужно было уметь говорить, чтобы слушали. Отмечалось всеми, не без своеобразного удовлетворения, что даже такие неподражаемые корифеи красноречия, как знаменитый Ф.Н.Плевако или, позднее, Н.П.Шубинский, никак не могли найти надлежащего тона, чтобы говорить в Думе, чтобы овладеть ее вниманием и сочувствием. Видно было, как эти избалованные ораторы сами чувствовали, что нашу Думу они не захватывают, что она холодна к их пафосу, что их речи пролетают мимо нее, не задевая, а часто вызывая скептические улыбки. Адвокаты недоумевали, раздражались, поднимались на самые вершины своего красноречия и явно для себя и для всех внемлющих — проваливались...

А следом за ними какой-нибудь А.П.Максимов, конфетный фабрикант с Алексеевской улицы в Рогожской, на своем своеобразном языке произносил речь «из нутра», пересыпая ее неподражаемым юмором и местными словечками... и его все слушали, одобрительно кивая головой на простые хозяйственные мысли, которые он высказывал, и ухмыляясь на его незатейливые шутки и меткие словечки. Он знал, что его слушают, и легонько, к общему удовольствию, зажмурив глаза, задевал раздосадованного златоуста.

— Где уж нам с суконным рылом да в Калашный ряд, где уж нам тягаться с знаменитыми адвокатами. Их вся Россия слушает! А мое дело пропеть! А там рассвело или не рассвело — судите сами.

И этот рогожский оратор, сам сравнивший себя с петухом, был близок настроению многих гласных. К нему относились с благодушием и уважением: знали, что только он один прочи-

тывает всю массу печатных материалов, которыми, в виде докладов, отчетов, смет — снабжали гласных Городская Канцелярия и Городская Управа. Этот рогожский оратор, со своим несравненным, ярким, образным языком, имел часто больший успех в Думе, чем лучшие ораторы и златоусты. Максимовы были непобедимы, когда затрагивались вопросы быта, обычая, коренного интереса их избирателей.

Но бывали и скучнейшие, бездарные и малограмотные местные Мирабо, которые изводили Думу своими пространными речами. Ими тяготились, их мало слушали, но им давали говорить, признавая их местными авторитетами. Среди них был, считавший себя выдающимся оратором, мещанин, косой Н.А.Алексеев. Он заводил свою речь издалека, оснащая ее цветами красноречия и иностранными словами. Становясь в позу обличителя, ядовито требовал объяснений от Управы, будучи на страже интересов пославшего его в Думу Лефортовского населения. Это были интересы своей колокольни. Но он был всегда на страже их. Жалуясь однажды на то, что его район еще не имеет канализации, он патетически заявил, что Управа обслуживает только центр города, что несправедливо, чтобы только из центральных частей «городские эксперименты текли на колониционные поля», когда окраины тонут в грязи и остаются бездоходными около зловонных городских свалок.

Были и гласные, которые, сверкая алмазами на перстнях, в минуты, когда администрацией нарушались права города, предлагали: «испросить уединенцию у Его Императорского Величества, Государя Императора, и доложить ему сущую правду».

Были простодушные старики, которые считали необходимым (в первые месяцы своей деятельности еще с непривычки к думским порядкам) по каждому докладу подниматься, требовать слова и заявлять:

— А я по докладу № такому-то — нет, не согласен.

Произнеся эту формулу, или противоположную по смыслу: «да, согласен», старичок садился, при общем недоумении.

Гласный Вавилов, из Сущева, любил аргументировать свои речи, произносимые безапелляционным тоном, сочно произносимыми словами: «Сама собой разумеется!». А гласный П.А.Работкин почему-то часто вставлял в свои речи два французских слова: dos à dos, придавая этим словам какой-то особый смысл и значение.

Баньщик с Мещанской, коротконогий, с сизым носом Малышев, на предвыборном собрании в трактире Бубнова, кланяясь составителям кандидатских списков, просил оказать ему милость, записать его в списки и избрать в гласные на новый срок.

— Прошу вас, господа почтенные, изберите меня в Градскую Думу гласным, чтобы при отлучке из дому мог сказать жене, что уезжаю, мол, в Думу, дела общественные решать.

И Малышеву оказывали милость и несколько раз подряд избирали гласным. В Думу он показывался нечасто, хранил глубокомысленное молчание, голосовал со своими, по указке.

На выборы гласных, производившиеся по шести частям, на которые был разделен город, являлся весьма разнообразный по составу избиратель. По второму избирательному округу, в состав которого входили Арбат и Пречистенская полицейские части — избирателями являлись представители интеллигенции — профессора, адвокаты. Иногда интеллигенции приходилось считаться с шумной, серой толпой избирателей Хамовнической части. Это были содержатели постоялых дворов, дворов для извозчиков, трактирщики, местные мещане. Ими руководили гласные, присяжный поверенный Ф.Ф.Воскресенский и А.С.-Шмаков, ведшие непримиримую борьбу с прогрессивными

течениями в Городской Думе. Замоскворечье, Рогожская часть, Сущево — давали серого избирателя. Являлись старозаветные, патриархальные старцы с длинными, седыми бородами, в длиннополых сюртуках, а то и русских поддевках, в сапогах бутылками. Среди этих старцев, нарочно приведенных для баллотировки, прохаживались взволнованные, озабоченные, красные, потные кандидаты, претендующие на избрание. Это местные тузы, ведущие борьбу, кто из тщеславия, кто из-за местного интереса.

— Уж ты, Иван Трофимович, поддержи, шарик-то свой положи мне направо. А я уж, когда буду в Думе, беспременно переулочек к твоему дому вымощу. Не все же в грязи тонуть. Уж окажи поддержку. А то вон как Привалов старается!

А в это время Привалов, как опытный демагог, произносит речь, окруженный внимательными слушателями. Он тоже говорит о замощении окраин, о свалках нечистот, которые подступают к жилью. Но его речь уже более общего характера. В ней чувствуется уверенный тон многолетнего гласного, не сомневающегося в своих силах.

Избирателей вызывают по алфавиту в большой думский зал, где длинными рядами на особых подставках расставлены избирательные ящики с ярлыками, обозначающими имя, отчество и фамилию баллотирующихся, с отверстием для руки избирателя и с двумя отделениями, черным и белым — неизбирательным и избирательным. Выборы происходят чинно, степенно, в полной тишине. Избиратели, сопровождаемые иногда специально приглашенными студентами, иногда торговыми смотрителями, проходят вдоль избирательных ящиков, получают для каждого ящика шар и таинственно опускают его в ящик. У некоторых в руках записка. Это значит — верен своей группе и избирает только тех, кто указан руководителем. А бывали и такие простецы, которые, получив шар, отходили

на некоторое расстояние от баллотировочного ящика и, прицелившись, бросали шар в дырку. Пускай сам скатится куда Бог велит. Не сразу такой избиратель понимал, что от него требовалось.

Попав в Думу, большинство «простых» гласных молчало и голосовало за своими вожаками или, впоследствии, за излюбленными руководителями, лидерами своих групп.

А таких блестящих руководителей думской работы в Московской Думе было много. В Думу охотно шли выдающиеся москвичи. Из состава московского просвещенного купечества и московской передовой интеллигенции и сложилась та большая культурная сила, которая создала так много выдающихся ценностей в Москве, для Москвы и для её населения; создалась та работа, которая ставила Московское Городское Управление во главе всех городских управлений России.

Эта сила вырастала из старого быта, который крепко еще держался в глубинах московских темных углов, но уже сменялся новыми слагавшимися привычками, вкусами и стремлениями, которые еще недостаточно оформились, еще не осознали себя в должной мере. Новый слагавшийся быт еще не окреп. Он должен был подвергнуться испытанию, чтобы определить свою жизненность. И испытание это наступило скорее, чем было нужно.

Среди группы талантливых руководителей городского дела Москвы нужно прежде всего назвать ныне покойного, убитого большевиками Н.Н.Щепкина[5] и обоих братьев Гучковых. В то время, конец 90-х и начало 1900-х годов, эти три

5 О Н.Н.Щепкине см. мою статью в сборнике «Памяти погибших». Париж, 1930 г.

лица составляли дружную группу хороших приятелей, которые являлись как бы живыми двигателями городского дела, будучи в то же время в оппозиции. Им принадлежала прогрессивная инициатива в городском деле, они, иногда очень больно, стимулировали несколько медлительную и недостаточно яркую Управу. Они были в центре городского дела в те годы. Их внимание было сосредоточено по преимуществу на хозяйственной стороне дела, в широком смысле слова. Финансы, сметы, городские предприятия, самый порядок ведения дела — вот что поглощало их энергию. Н.Н.Щепкин вел большую работу по подготовке устройства городского электрического трамвая, в сотрудничестве с инженерами А.Л.Линевым и Е.Я.Шульгиным. Московский трамвай в значительной мере обязан ему своим превосходным устройством.

Не вмешиваясь в борьбу оппозиции с Управой, принимали большое участие в городском деле выдающиеся москвичи того времени: С.А.Муромцев, В.И.Герье, В.М.Духовской, В.М. Пржевальский, П.Г.Виноградов, в короткое время пребывания гласным успевший провести и осуществить обширный план общедоступности начального образования в Москве, А.И.Реннерт, обычный защитник Управы всех составов, Н.Н. Перепелкин, Л.Н.Сумбул. Лица, вносившие в думскую работу инициативу, часто оказывались гласными «по доверенностям» от учреждений. Эти «доверенности» открывали путь в Думу не домовладельцам и не купцам. Они вносили большое оживление в работу Думы.

Участие С.А.Муромцева в Московской Городской Думе отмечено мной в статье, помещенной в Сборнике, посвященном его памяти. Муромцев вел большую работу в Думе. Вел ее со свойственным ему изящным педантизмом. Он председательствовал в Комиссии по организационным вопросам и по изданию обязательных постановлений Городской Думы. Тут

он проявлял великое мастерство тонкой юридической работы. Его доклады, которые он сам писал, представляли иногда шедевры юридического построения, а его речи в Думе, в пояснение или в защиту своих докладов, были блестящими лекциями из области административного права или на тему о задачах общественной работы. Его прекрасная, величественная фигура, его красивый голос, его часто очень оживленное слово приковывали внимание Думы. Его слушали все — старые и молодые гласные, арбатские и рогожские гласные. Всем было приятно и радостно послушать Муромцева, в котором так гармонически сочетались красота и величественность внешние с глубиной мысли. Он прививал Московской Думе изысканные нравы английского парламента. Его речи были образцом парламентского красноречия: ни одной резкости в самых жгучих прениях никогда от него не было слышно. Оружием, уничтожающим противника, была логика, неопровержимая аргументация, а иногда тонкий юмор, который заменял Роландовский удар, на который он, конечно, был способен. Однако, выдержка, дисциплина давали ему возможность блестяще обнаружить, как нужно вести борьбу с противником в общественном собрании. Его обращение к противнику, невежественному и бестолковому, горящемуся и говорящему заведомый вздор, со словами: «почтенный оратор, мой уважаемый оппонент, достоуважаемый гласный», уничтожали местного Мирабо, но придавали всему безукоризненный тон. Это были превосходные уроки общественности. Не ошибусь, если скажу, что гласные москвичи в подавляющем большинстве гордились, что в их среде Муромцев, тот самый, который был профессором Московского Университета, который по «независящим», как тогда говорили, обстоятельствам вынужден был уйти в отставку, стал адвокатом и с большим интересом работал в Думе, редко пропуская её заседания.

А Муромцев сам говорил, что работа в Думе его интересует, она является подготовительной работой к более широкой работе, которую когда-то русским людям придется производить уже не только для Москвы, а для всей России. Он говорил это, засиживаясь иногда в моем кабинете и рассказывая, как технически выполняет он всякую работу. Выдержка его, педантическая точность в каждой детали работы — поражали. У него можно было научиться не только римскому праву, не только юридической науке, не только общественному делу, но и тому, как нужно было делать это дело и как, добиваясь точности и ясности форм, можно было обеспечить существо дела. Муромцев частенько затрагивал в своих разговорах в моем кабинете самые широкие и разнообразные темы, далеко выходящие за пределы дел его Комиссий и задач Городского Управления. Он затрагивал иногда темы политические и, казалось мне, что ему доставляло удовольствие находить во мне созвучные настроения. Взаимное доверие между нами росло и перешло в добрые личные отношения, которые мне были очень дороги.

Муромцев очень живо интересовался вопросами, касавшимися коренных улучшений города Москвы. Будучи европейцем, он хотел дать Москве такое устройство, которое сделало бы из неё современный европейский город, сохраняя, однако, её своеобразие и историческую красоту. Поэтому он с особым интересом изучал проекты больших переустройств Москвы. Проект Балинского Рязано-Уральской ж. д., Московского метрополитена, большого проспекта Москвы — все это останавливало внимание, и он с головой уходил в обсуждение всех сторон интересовавшего его дела.

Впоследствии — председатель Государственной Думы — он вспоминал о нашей совместной с ним работе в Московской Думе и вновь повторял, что работа в Организационной Комис-

сии Московской Городской Думы очень помогла ему при составлении его первоначального проекта Наказа Государственной Думы.

Обычно Муромцев блестяще проводил свои доклады в Думе. Он был незаменимым творцом и редактором местного закона, которым являлись Обязательные Постановления Городской Думы. Но, однажды, он потерпел полное крушение и доклад его, который он защищал с горячностью, провалили при шумном восторге заполнявшей эстраду публики. Доклад был об издании обязательных постановлений о коровниках, содержимых в черте города Москвы. Проект обязательного постановления, составленный Муромцевым, был довольно скромен. Он не требовал голландских усовершенствований. Он требовал только элементарной чистоты, стоков и света. Проект вызвал целую бурю. Коровники со всех окраин города, проведав о проекте, завопили, бросились к гласным своего участка. Гласные взволновались, бросились к своим лидерам, к гласному Ф.Ф.Воскресенскому, оппонировавшему всякому предложению, откуда бы оно ни исходило, во имя идей одному ему понятных. Это было воплощение «особого мнения» по каждому вопросу.

Воскресенский, Найденов и все гласные, связанные корнями с интересами домовладельцев, горячо приняли под свою защиту интересы коровников. Проект обязательного постановления объявлен был нарушающим священные права собственности, обозван был социалистическим и неприемлемым для Московской Думы. Наступил день рассмотрения проекта обязательного постановления о коровниках. Гласные оказались в небывалом количестве. Торжественность и возбуждение были написаны на лицах гласных, которые должны были вступить в борьбу и состязание с самим Муромцевым. Эстрада для публики в большом Думском зале была переполнена

людьми в чуйках, какими-то бабами в ковровых шалях, людьми, которые никогда на думских заседаниях не показывались.

Произошел бой. Муромцев спокойно и веско защищал свой проект. Но сопротивление явного большинства было настолько ожесточенно, настолько злобно, что Сергей Андреевич не выдержал и обрушился грозной филиппикой на своекорыстную защиту частного интереса в ущерб общего дела. Но большинство было сплоченное. Доклад Муромцева был поддержан десятком-двумя гласных, близких Муромцеву. Громадное же большинство доклад о коровниках провалило.

Известный в Москве профессор В.И.Герье — был старым гласным Московской Городской Думы. В большом думском зале, который еще не имел неуклюжего амфитеатра последних лет, когда гласные еще сидели на простых «венских стульях» рядами, охватывающими большой стол Городской Управы, покрытый красным сукном, В.И.Герье, из четырехлетия в четырехлетие занимал всегда одно и то же место в первом ряду стульев, на правом углу управского стола. К концу столетия, уже в очень преклонных годах, Владимир Иванович в длинном черном сюртуке, с пачкой думских докладов под мышкой, являлся без опоздания в каждое заседание Думы. Он имел очень много заслуг перед Думой, вел большую работу, будучи бессменным председателем Комиссии о пользах и нуждах общественных, через которую приходили все просьбы учреждений и организаций, обращавшихся к Думе за пособиями. Ему с В.М.Духновским[6] Москва обязана созданием своих городских попечительств о бедных. К нему все относились с большим почтением. Знали и ценили его замечательную

6 Ему обязано население Москвы широко поставленным обследованием коечно-ночлежных квартир.

настойчивость по устройству и ведению знаменитых сначала Курсов Герье, а потом Высших Женских Курсов Герье. Вообще, это была очень заметная фигура в Москве и в Московской Думе. Это был один из почтеннейших гласных. Одно время он даже был Председательствующим в Думе при рассмотрении отчетов о деятельности Управы. Всегда сухой, часто готовый обидеться или напасть на возражающего, В.И.Герье редко участвовал в общих разговорах в кулуарах Думы, держался в сторонке, являя собой законченную индивидуальность, не ищущую слияния с другими и вносящую в общественное дело то, что он находил нужным. Эта некоторая отчужденность его осложняла отношения с ним. А его иногда скептической, иногда саркастической улыбки и редких, но колючих реплик побаивались даже опытные и смелые думские ораторы. Его речи в Думе никогда не были особенно пространны. Они всегда были хорошо аргументированы, всегда деловые, иногда язвительные, но без цветов красноречия, чаще сухие, как и он сам. Но особенно дорого было в них то, что каждый отдельный, разбираемый им случай связывался с основными принципами общественной работы.

В Московской Думе эти принципы очень оберегались. От них не отступали. Это делало работу Московской Думы устойчивой, ясной и понятной для населения. Цензовая Дума утрачивала свою замкнутость и изолированность от населения, ибо принципы её работы не были в противоречии с интересами населения. Напротив того, они в полной мере совпадали с его пользами и нуждами. Лучшие и наиболее талантливые гласные, имена которых уже были названы мной, оберегали эти принципы и продолжали традицию Московской Городской Думы, корни которой были заложены давно и которая оформливалась в годы кн. Щербатова, кн. Черкасского, Б.Н.Чи-

черина, при участии М.П.Щепкина, Н.С.Четверикова, Ив.Аксакова и др.

Существо традиций Московской Думы сводилось к тому, что Дума делает не чисто хозяйственное дело, а большое общественное дело, нужное для всей Москвы, для всего населения города. Московская Дума никогда не забывала, что Москва — сердце России и что её работа нужна для России, связанной с нею духовными и материальными узами. Московская Дума строго берегла свое достоинство и независимость, отдавала должное С.Петербургу, не фрондировала перед ним, исполняла свой долг, указанный в законе, но жила своею жизнью, создавала и берегла свои нравы и свой московский уклад. Будучи цензовой, поневоле считаясь с интересами класса, который был в ней представлен, она вела внеклассовую работу для всех. Московской Думе верило население. Ворчала пресса на её медлительность, на то, что она не обращает Москву в цветущий сад, в город со всем благоустройством европейской цивилизации. Но и она ценила работу Думы. А граждане Москвы несли ей свои пожертвования, отдавали свои капиталы и имущества, завещали свои средства, зная, что Московская Дума выполнит их волю свято. И Москва пользовалась сложной сетью учреждений благотворительных и просветительных, имеющих целью также и глубже идти навстречу общим нуждам всего населения. Будучи цензовой, Московская Дума делала работу, которая все более и более приобретала характер демократический. В этом заслуга крупных общественных деятелей, к которым перешло лидерство в работе Московской Думы.

Работу в Московской Думе мы привыкли называть общественной работой. Старые думские кряжи не любили этого нового термина. «Какая там общественная работа, просто работа в пределах, точно указанных в законе». Не удовлетво-

рялись этим термином и те, кто стремились к полному и широкому переустройству общественных учреждений на широких демократических началах. Таким образом «Общественная Дума» нашего времени, на рубеже двух столетий, оказалась переросшей узкие одежды, скроенные ей городовым положением 1892 года. Её состав был оторванным от толщи населения, ей не хватало прав, не было в её распоряжении надлежащих средств, чтобы развернуть дело в должном размере. Но тем не менее работа её шла, развиваясь и совершенствуясь. Сложилось с течением времени так, что мой маленький кабинет Городского Секретаря стал некоторым центром, в котором сосредотачивались мнения, пожелания, выражения неудовольствия гласных разных направлений, членов Управы, служащих и даже посторонних Думе лиц, которые обращались к Думе или к Управе с просьбами, жалобами и разными ходатайствами о пособиях. Говорили обыкновенно: «Не хочу беспокоить князя», или «с Управой вашей не договоришься, один посылает к другому, уж я вам расскажу свое дело». Вскоре мне пришлось быть как бы буфером между оппозицией и Управой. Братья Гучковы, Щепкин часто изливали мне свое недовольство на Управу, указывали на свои намерения. Иногда мы совместно устанавливали согласительный план действий. Вскоре мой кабинет стал действительным центром, в котором разговоры шли на самые разнообразные темы. Это стало особенно заметно, когда Московская Дума вступила на путь так называемой политики.

В указанные годы состав Городской Управы был не из блестящих. Фактическим руководителем её и ответчиком за её действия перед Думой был Товарищ Городского Головы Ив.А.Лебедев. Это был своеобразный человек больших качеств, но и преисполненный свойств, которые были в полной дисгармонии с его положением замещающего Московского

Городского Голову. Начать с того, что Иван Алексеевич обладал весьма непредставительной внешностью. Когда-то незаурядный историк, бывший прекрасный учитель гимназии, сухой, подслеповатый, с красным носом, с глухим голосом, чрезвычайно некрасноречивый, начинавший всякое свое слово с неизменных «тут — так», Иван Алексеевич одним своим видом навевал невыносимую скуку. Столь же скучны и нудны были его речи. Но кроме нудности в них, да и во всем его образе действий, было нечто деревянное, сухое и формальное. Казалось, что все, что проявляло жизненность и способность к движению, не только вызывало с его стороны протест, но даже оскорбляло его. Он не столько двигался сам, сколько сопротивлялся движению. К тому же он был нелюдимого, тяжелого нрава. С ним, бывало, не поговоришь и не посоветуешься. Однако, это был человек преданный городскому делу, знавший и любивший его по-своему. Только его взгляды на городское дело отставали от ускоренного темпа жизни, а в пылких речах увлекавшихся и живых деятелей, вроде Н.Н.Щепкина, он видел опасные для города затеи и авантюры. Это он, когда был членом Управы, заведовавшим Училищным Отделом, не допускал, чтобы городские учительницы выходили замуж. Для большого московского дела он не годился, хотя и представлял собой довольно точную справочную книгу по городскому хозяйству Москвы.

Из состава Управы того времени выделялся член Управы, заведовавший благотворительным отделением, В.Н.Григорьев, самый левый из всего состава Управы. Бывший саперный офицер, статистик, исследование которого в давние времена было однажды сожжено по распоряжению губернского начальства, Василий Николаевич был близок к Короленко — это он и познакомил меня с маститым писателем. Василий Николаевич обладал благообразной внешностью. Умное лицо, большая

седеющая борода, лысина, обрамленная седыми волосами венчиком, как у Николая Чудотворца. Он был приятен в обращении, не глуп, но все в нем, начиная с выражения глаз, улыбки, недоговоренных мыслей, недосказанных слов, кончавшихся всегда не утверждением, а вопросом — не вызывало к нему особого доверия. Он всегда чего-то не досказывал, останавливался на полуслове, как бы боясь договорить свою мысль до конца. Так было во всем и в вопросах, которые имели политический оттенок, и в вопросах чисто деловых. Василий Николаевич всегда был окружен лицами, которые чаще всего попадали в административную беду; по его отделению чаще всего не утверждались служащие. Часто, часто Василий Николаевич заходил ко мне в кабинет и начинал свое обращение стереотипной фразой: «Николай Иванович, я знаю, какой вы добрый и отзывчивый человек»...

Я уже знал, что следует дальше. Оказывалось, что совершенно ни в чём не повинного человека сегодня ночью арестовали, что ему грозит высылка из Москвы в Сибирь или ещё что-либо похуже. У него жена и новорожденный ребенок. Нужно выручать... После этого передавалась записка с именем и фамилией лица и я должен был ходатайствовать в Канцелярии Губернатора о судьбе ни в чём не повинного человека. Много таких ходатайств было в свое время обращено мною к губернскому начальству через доброго и отзывчивого А.М.Полянского, заведовавшего много лет Канцелярией Московского Губернатора, и много облегчения было оказано разным людям. Бывало, кое-кто зайдет пожать руку за услугу, но большинство принимало эти услуги, по-видимому, как должное... «в борьбе с режимом».

Остальная Управа не представляла особого интереса. Старейшим её членом был казак по происхождению, доктор Д.Д.Дувакин, хранитель добрых традиций Московского Город-

ского Управления. И он, и В.Н.Григорьев оставались бессменными членами Управы до 1917 года.

Не могу не назвать имена и моих ближайших сотрудников по думским Комиссиям. Среди них были совершенно выдающиеся люди, которыми можно было гордиться. Имена их свидетельствуют о характере работы, которая совершалась в думских комиссиях.

По просьбе С.А.Муромцева мною приглашен был Ф.Ф.Кокошкин, который некоторое время был помощником Городского Секретаря и секретарствовал в комиссии Муромцева и некоторых других комиссиях. С.В.Сперанский, выдающийся статистик и сотрудник «Русских Ведомостей», много лет вел секретарскую работу в Училищной Комиссии. П.М.Богаевский, будущий профессор международного права в Киевском Университете, одно время также занимал должность помощника Городского Секретаря. А секретарем Финансовой Комиссии много лет был В.Н.Сторожев, впоследствии оказавшийся большевиком. Сторожев был историком. Судить о его дарованиях, как историка — не берусь. Секретарем Финансовой Комиссии он был ленивым и бездарным. Терпели его из жалости к нему. Самолюбивый, обидчивый, ленивый, чрезвычайно трусливый, он не пользовался ничьими симпатиями. Изумление было общее, когда после выборов в Думу в 1917 году, он занял место на крайней левой, среди огортелых большевиков.

Прежде чем перейти к вопросу о том, в чём же выражалось участие Московской Городской Думы в политической жизни, я должен остановиться на отношении красного дома на Воскресенской площади к земству и, в частности, к Московскому земству.

По закону Московская Дума имела своих представителей в московском губернском земском собрании. В числе таких

представителей были Городской Голова и наиболее яркие гласные Думы. Некоторые городские гласные, землевладельцы Московской губернии, входили в состав губернского земского собрания. Городские гласные входили в состав земских комиссий. Таким образом, связь Московской Думы с земской работой была тесная и органическая. Городские гласные, как участники Московского губернского земства, в особенности принадлежащие к московской интеллигенции, были не только хорошо осведомлены о развивавшемся земском движении, но живо сочувствовали ему и хорошо знали его руководителей и главных деятелей. В этом земском движении, начавшемся давно, видели не столько специально земское дело, сколько общерусское движение, находившее отклик и в других группировках людей, как-то кружках профессорских, писательских и т.д.

Если основная толща Московской Думы по своему культурному уровню значительно уступала губернскому земскому собранию, была иного социального состава, то интеллигентская группа Московской Думы ничем не отличалась от передовых земцев. Это были, там и тут, те же русские интеллигенты, общественные деятели, русские либералы, которые продолжали дело освобождения, начатое предшествующими поколениями, ярко расцветшее в эпоху реформ Александра II и заглушенное в пору наступившей реакции. Это были люди того же культурного слоя, тех же настроений, тех же взглядов на политические задачи, стоявшие перед Россией, и на методы их разрешения. Это были решительные противники правительственной реакции, душившей общественную жизнь, и столь же убежденные противники революционных устремлений, которые все настойчивее и дерзновеннее проявляли себя, несмотря на суровые меры борьбы и самозащиты со стороны власти. Это был один и тот же общественный слой того времени, по суще-

ству демократы, не разделявшие, однако, социализма и методов действия народников. Это были одни и те же социальные элементы, тогда еще не организованные, но скоро ставшие в ряды одной и той же политической партии. Только условия действия городских и земских гласных были разные. Одни действовали в среде городской буржуазии, другие имели под ногами земскую почву. У одних среда была довольно инертная, сознающая свою материальную силу, это — богатые промышленники, купцы и фабриканты, в то время не стремившиеся еще широко ставить политические проблемы. У других была среда, в которой прогрессивные идеи давно взросли и стали руководящими в их земской работе. Эта работа, успех её, не мирились с произволом администрации, с походом против земства, начатым правительством. Городские просвещенные гласные прекрасно понимали, что поход против земства есть поход против общественных самоуправлений. В этом походе с очевидностью выступал целый план, целая система политического действия, направленного к подавлению общественной самодеятельности в России и к новому усилению бюрократического начала. Брошюра Витте о самодержавии и самоуправлении, распространенная среди нас, так же волновала нас, горожан, как и земцев. Мы понимали общий, связывающий нас, интерес и общую опасность. Опасность не только для наших общественных учреждений, но и для судьбы России.

Кто это были «мы»? Это был тесный и в те времена небольшой кружок гласных, в центре которого были С.А.Муромцев и Н.Н.Щепкин. Это не была организованная группа. Скорее это было соприкосновение лиц одинаковых настроений, находивших друг друга на общественной работе. Большинство этого кружка приняло участие в Союзе Освобождения (1903 г.). На работе мы узнавали друг друга и получали возможность обсуждать вопросы, которые далеко выходили за

пределы думских дел. А для разговоров вне думских дел темы росли и множились.

Как-то раз, мимоходом, Сергей Андреевич и Щепкин, припоминая, сколько и где происходило съездов земцев, говорили о большом значении этих съездов для общего русского дела. Обращаясь ко мне, Сергей Андреевич спросил:

— Ведь вы, Николай Иванович, хорошо знаете думскую среду, как вы думаете, можно ли было созвать совещание из городских голов, что ли, или из гласных Дум?

Мой ответ был отрицательным. Съезд без представителей Петербурга был бы не полон, а Петербургская Дума была так не похожа на Московскую и не пользовалась ни симпатиями, ни авторитетом. С провинциальными Думами у нас не было никаких связей, кроме случайной, чисто деловой переписки. Было ясно, что городская среда, в целом, отставала от земской и еще не дозрела до потребности во взаимном общении.

Нужно отметить, что отношения Московской Думы к московскому земству, как губернскому, так и уездному, были очень осложнены чисто деловыми, соседскими взаимоотношениями. Земство губернское рассматривало город Москву как своего данника, и еще с 1888 г. постановило обложить губернским земским сбором торгово-промышленные помещения Москвы. Еще Городской Голова Н.А.Алексеев вступил в борьбу с земством по этому поводу. Борьба продолжалась при Рукавишникове. В этой борьбе земство победило, и городские недвижимые имущества были привлечены к обложению земским сбором. Это была борьба двух сильных соседей. Один из них — земство — во главе с знаменитым Д.Н.Шиповым, победило. Естественно, что побежденный затаил недобрые чувства к своему счастливому сопернику. Не буду останавливаться на этом вопросе, вызвавшем в свое время острую и ожесточенную борьбу между городом и земством. Упоминаю

об этом только для того, чтобы отметить, что Городская Дума в целом была недоброжелательно настроена к земству.

Это отношение еще более заострилось, когда при устройстве городской канализации пустопорожние земли, кочки и болота, отчужденные у крестьян близ станции Люблино под поля орошения, были оценены, при энергичном участии председателя уездной земской управы, Н.Ф.Рихтера, в баснословно дорогую цену. Городу пришлось заплатить за земли под поля орошения в семь раз больше того, что он предполагал по предварительной оценке. Эта несообразно высокая оценка, вызвавшая непредвиденный расход города в сумме свыше 3 300 000 рублей, внесла новое раздражение и против земцев и его деятелей, равно как и против петербургских канцелярий, утвердивших эту оценку. На наши протесты и восклицания нам говорили: «Ничего, Москва богата! заплатит!»

Москва заплатила. Но не могла не признать, что на пути её стремлений к благоустройству города, который нужен для всей России, ей создавали препятствия, которые не вызывались необходимостью. Такое отношение к нуждам Москвы представляло систему. Министр финансов Витте ответил совершенно дерзкой бумагой городу Москве на её ходатайство запретить постройку фабрик и заводов по течению реки Москвы на протяжении 25 верст ниже Рублева, откуда Москва предполагала брать воду для снабжения ею жителей города: Витте усмотрел в этом покушение на развитие российской промышленности.

Несмотря на эту соседскую «вражду», городские гласные живо следили за борьбой Плеве с Шиповым. Конечно, сочувствие прогрессивных гласных всецело было на стороне Шипова, боровшегося за независимость земских учреждений и против неограниченного произвола бюрократии. А когда умереннейший, лояльнейший Д.Н.Шипов, исключительный

организатор, коренной земец, оказался неутвержденным в должности председателя Московской губернской земской управы, которую занимал много лет, вся земская Россия, а с нею и прогрессивные гласные Городской Думы, сочли это за грубый и ничем не оправданный вызов, брошенный властью русскому земству и всей общественной России. Московская Дума постановила выразить Д.Н.Шипову свое сочувствие и надежду, что он вернется к своей работе, столь необходимой для России.

Борьба правительства с земством, законодательные акты, направленные к ограничению прав и компетенции земств, разгром Тверского земства, высочайшее неудовольствие, объявленное участникам земского совещания в мае 1902 г., назначение ревизии Московского земства — всё это не проходило незамеченным для участников городской работы. Равнодушным оставаться было нельзя. Высочайший указ об отдаче студентов в солдаты за участие в студенческих волнениях, убийство Боголепова Карповичем, как ответ на этот акт правительственной мудрости, убийство Сипягина Балмашевым, крестьянские волнения в Полтавской и Харьковской губерниях — всё это раскрывало грозные перспективы. Царские манифесты о том, что смуты препятствуют работам на благо родины, что народное благосостояние может развиваться только под сенью самодержавной власти, — уже не вносило успокоения, скорее вызывало раздражение. Только Ив.А.Лебедев, да кучка старых гласных, сурово молчали или подавали неодобрительные реплики на всё учащавшиеся выражения неудовольствия по адресу правительства и Петербурга. Общественное мнение слагалось все более определенно и не в пользу Петербурга. Нужен был толчок, чтобы оно кристаллизировалось. И толчок этот вскоре произошел.

Московская Дума имела свою политическую традицию и свою политическую память. В её истории, может быть не столь долгой, если считать ее с 1862 года, — время введения положения об общественном управлении гор. Москвы — были события, если не большого политического значения, то весьма характерные в истории общественного самосознания Москвы. Память об этих событиях прочно сохранялась в Московской Думе и традиционно передавалась от одного состава гласных другому. А портреты Городских Голов и городских деятелей, которыми были украшены стены большого зала заседаний Городской Думы, наконец мраморная статуя Екатерины II, возвышавшаяся в этом зале, напоминали об этих событиях.

Помню синее «дело» городской канцелярии, в котором находился текст известного всеподданнейшего адреса Московской Городской Думы по случаю объявления самостоятельности действий России на Черном море и по случаю введения всеобщей воинской повинности. Этот адрес был составлен Городским Головой кн. В.А.Черкасским при участии Ив. Серг. Аксакова и Ю.Ф.Самарина. Адрес был характерен для настроений того времени и особенно, как выражение настроений и воззрений его авторов. Тут ярко были выражены идеи славянофилов. Пространный адрес кончался словами: «Вашей воле готовы мы служить и достоянием нашим и кровью, а наша мысль такова». Эта мысль сводилась к тому, что залог успеха лежит в силе народного самосознания и самоуважения; государственный организм укрепляется только в неуклонном служении началу народности. Сила и историческое призвание — в доверии царя к своему народу, разумное самообладание в свободе и честность в покорности со стороны народа, во взаимной неразрывной связи царя и народа, основанной на

общении народного духа, на согласовании стремлений и верований...[7] Исходя из этих основных положений, всеподданнейший адрес заявлял, что только от царя народ ожидает довершения благих начинаний и прежде всего ожидает — простора мнению и печатному слову, без которого никнет дух народный и нет места искренности и правде в его отношении к власти; ожидает свободы церковной и свободы верующей совести...

В таких достойных и спокойных словах был редактирован всеподданнейший адрес Московской Городской Думы. С.-Петербург взглянул на дело иначе. Министр Внутренних Дел Тимашев признал московский адрес «неуместным» и составленным в «неприличной форме». Министр отказался представить адрес государю. Если, по выражению Валуева, адреса вообще являются отголоском Золотой Орды, соединенным с византийской витиеватостью семинарии, то московский адрес оказался совершенно в ином стиле, непривычном для петербургского самовластия, и был поэтому признан неуместным и по форме неприличным. После этого князь Черкасский 19 марта 1871 г. сложил с себя звание Московского Городского Головы.

Это было первое политическое выступление Московской Городской Думы. Петербург не поощрил его.

Столь же формально неуспешно было и другое политическое выступление представителя Московской Думы. Борис Николаевич Чичерин, избранный Московским Городским Головой в конце 1881 года, был уволен в июне 1883 г. по распоряжению Александра III за речь, произнесенную им во

7 Слова кн. С.Н.Трубецкого, через 35 лет: 1870–1905 гг.

время коронационных торжеств на обеде городских голов 16 мая. В его речи был, между прочим, призыв к объединению всех земских сил для блага отечества...

Петербург сурово относился к проявлению политических настроений в Московской Думе. Даже, казалось бы, в самом благонамеренном и патриотическом настроении Московской Думы Петербург усматривал опасные тенденции. В 1885 г., по случаю столетия жалованной грамоты городам, Московская Дума решила установить на одной из площадей города памятник Екатерине II. Об этом в установленном порядке было представлено соответствующее ходатайство. И что же! В этом ходатайстве Москве было отказано. В постановлении Думы была усмотрена опасная демонстрация по поводу утраченных городами вольностей. Памятник Екатерине II не разрешено было поставить на площади. Невместно-де царской особе стоять с непокрытой головой на площади. Изображение Екатерины II разрешено было поставить только в закрытом помещении, в здании Думы. Пришлось подчиниться. В здании Московской Думы на Воскресенской площади, в большом зале думских заседаний, на высоком мраморном пьедестале была помещена грандиозная статуя Екатерины II из белого мрамора. Белый мрамор четко выступал на темно-малиновом бархате, который в тяжелых складках составлял красивый фон памятнику. Даже царственная особа, сама Екатерина Великая, была лишена свободы всевластной волей С.-Петербурга.

Московская Дума принимала приказания Петербурга к исполнению, лояльно относилась к нему. Но это не значит, что она не имела своего особого мнения по поводу этих приказаний. Не желая ставить себя в фальшивое положение и ронять своего достоинства, Московская Дума избегала конфликтов с Петербургом. Её Головы исполняли трудную роль улаживания отношений с петербургскими департаментами и чтобы обеспе-

чить внимание к её вынужденным ходатайствам, вели довольно тонкую политику при своих поездках, как иногда у нас говорили, «в Орду с челобитьем».

В порядке такой дипломатии установилось нечто вроде обычая — по случаю рождения нового члена в царской семье составлять всеподданнейший адрес, открывать по нескольку новых городских начальных училищ и слагать безнадежные к поступлению недоимки. Установилось даже нечто вроде особого ритуала по этому поводу.

От Московского Генерал-Губернатора являлся в чрезвычайное заседание Думы особый посланец (один из адъютантов) и объявлял о радостном событии рождения в царской семье. Служили торжественный молебен, после которого Дума постановляла открыть по случаю сего радостного события несколько мужских и женских начальных училищ и сложить на несколько сот тысяч безнадежных к поступлению недоимок, о чем высочайше представить Государю Императору. Гласные, исполнив эту формальность, разъезжались по домам. А между тем, сеть городских начальных училищ постепенно увеличивалась новыми училищами, ассигнование на которые не могло быть опротестовано Петербургом, в виду высокой цели этого сверхсметного кредита.

В эпоху англо-бурской войны нельзя не отметить единодушного негодования всех гласных на англичан и общего горячего сочувствия бурам. Имена Крюгера и Бота не сходили с уст. Событиями у буров, у Ледисмита, подчас больше интересовались, чем вопросом о выкупе конки... А.И.Гучков отправился в Африку сражаться на стороне буров. Его провожали, ему горячо сочувствовали, ему завидовали. Там он был ранен. Гласные Московской Думы в складчину заказали у Овчинникова прекрасный золотой кубок, который и был отправлен

командующему бурской армией от гласных Московской Городской Думы.

Убийство Городского Головы Н.А.Алексеева не было политическим актом. Это был роковой случай. Личность Алексеева была чрезвычайно яркая. Внимание к нему и его деятельности было приковано. Его убил маньяк, стрелявший в него в упор. Одна из пуль застряла в толстой двери кабинета Городского Головы. Эта засевшая пуля осталась прикрытой небольшим стеклом, обделанным в рамку. В свое время было много разговоров по поводу этого убийства. Говорили о мести со стороны оскорбленного... Но сохранившееся дело, кажется, с несомненностью установило, что убийца Алексеева, Андрианов, был маньяк. Знаменательно, что Алексеев, так много сделавший для умалишенных, погиб от руки сумасшедшего. Речь Алексеева в Кремлевском дворце во время высочайшего выхода, о кресте на Святой Софии, в свое время наделала много шума. В сферах ею были недовольны.

Так, в общем, мирно текли дни жизни Московской Думы... Но и среди этой мирной жизни Дума накопляла скрытое раздражение против Петербурга. Особенно раздражали опротестования и отмены её постановлений чисто делового характера. Иногда отменялись и считались не состоявшимися выраженные Думой благодарности за деятельность в пользу города (благодарность проф. Эрисману в 1896 г.). Отставки Черкасского и Чичерина не вспоминались, но они не были забыты. Портреты их висели на стене думской залы. Память о них легла в основание политической традиции Московской Городской Думы, которая не растрачивалась без толку, но готова была проявиться, когда надобность окажется.

Скоро эта надобность наступила. Не Московская Дума ее создала, не она ее вызвала.

Я говорю о Московской Думе, как учреждении. Отдельные члены её, гласные, принадлежали к разным общественным кругам и намечавшимся тогда общественно-политическим течениям и жили общей жизнью русского общества того времени. Среди них были крупные политические деятели европейского типа, которые были бы украшением любого старого европейского парламента. Во главе их, конечно, был С.А.Муромцев. Большое любопытство и интерес вызывало «Освобождение» Струве, тревогу и раздражение — попадавшаяся иногда в руки «Искра».

Помню, как гласный С.В.Пучков, — доктор больницы имени Александра III в Мал. Казенном переулке, ранее полицейской больницы, где работал в свое время знаменитый д-р Гааз, — рано утром забегал ко мне и с таинственным видом совал мне доставленный ему номер «Освобождения». Он шопотом называл мне статью, которая, по его мнению, заслуживала особого внимания. Он целиком разделял направление штутгардского журнала, был его горячим поклонником и добровольным распространителем. В Думе я часто находил у себя на столе номер «Освобождения», присланный в конверте какой-нибудь торговой фирмы. Почти полный комплект «Освобождения» подбирался мною и хранился в нижнем ящике моего письменного стола. Заходившие в течение дня гласные спрашивали, нет ли чего нового из «Штутгардта». Спрашивалось это понижая голос, соблюдая конспирацию, как бы подчеркивая этим, что такие вопросы относятся к области чисто личных отношений и ни в какой степени не касаются думских дел.

Заходил из статистики кто-нибудь из служащих поговорить о «политике». Статистика считалась у нас «левой». Она была в заведовании члена Управы. В.Н.Григорьева, радикально настроенного человека. Среди служащих его отделений были

такие, которые презрительно морщились, когда говорили про «Освобождение», и с увлечением цитировали Мартова из «Искры».

Общие политические настроения вместе с воздухом проникали в красный дом на Воскресенской площади. Но отношение «городских деятелей» к этому политическому воздуху было разное. Большинство делало свои повседневные дела и мало интересовалось политикой. Меньшинство делилось на две почти равные половины. Одни сочувственно относились ко всему тому, что искало выхода из существующего положения в освободительном движении. Другие — с нескрываемым раздражением и ненавистью улавливали всякое «либеральное» словечко и замыкались в своих охранительных настроениях. Среди гласных того времени я не знал ни одного социалиста или хотя бы близкого к социализму.

Кого было больше, «либералов» или «охранителей», сказать было трудно. Не было поводов или, вернее сказать, избегали создавать поводы для подсчета тех и других. Этот подсчет произвелся и соотношение сил определилось впоследствии, причем инертная сначала масса проделала своеобразное движение. Сначала они двинулась влево и, казалось, в этом её подлинное существо; но вскоре вся эта масса устремилась слева направо, где и укрепилась. В начале же девятисотых годов политическая сущность Московской Думы еще далеко не определилась.

Но вот наступили события, которые быстро вывели русское общество, а вместе с ним и городские думы, из неопределенного состояния.

Без объявления войны, японская эскадра в ночь на 27 января 1904 года произвела минную атаку на русскую эскадру у Порт-Артура. Броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», а также крейсер «Паллада» получили пробоины. В тот же день в гавани

Чемульпо, после боя, русские вынуждены были затопить крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Впечатления были оглушительны. Как это могло случиться?.. Но прежде чем ответить на этот вопрос, нужно было дать должный физический ответ дерзким «япошкам». Их иначе и не называли, если не считать еще более поносительного названия «макаки». Увы, скоро полетело по России другое словечко, уже по нашему собственному адресу! Это словечко было — «кое-каки», когда обнаружилось, что ничего у нас нет, что мы проглядели рост Японии и её приготовления к войне, что все у нас кое-как и неизменное «шапками закидаем».

Но начало горестного разочарования наступило не сразу. Ответ на вопрос «как это могло случиться?» был отсрочен. Нужно было вести войну, в которой оказалась Россия не по своей вине и для себя неожиданно.

Московская Дума отозвалась на событие со свойственными ей достоинством и торжественностью. Экстренное собрание. Все гласные в сборе. Молебен о даровании победы русскому воинству. Прекрасная, благородная речь кн. В.М.Голицына о том, что Москва должна показать пример всем городам России своей помощью русской армии. Ассигнован один миллион рублей на нужды армии. Открыт сбор пожертвований на больных и раненых. Впоследствии образование большого санитарного отряда, отправленного на Дальний Восток. Во главе отряда стал гласный Думы А.Е.Арманд (жена его, Инесса Арманд, оказалась впоследствии ярой большевичкой).

Все заняты войной, работой на войну. Все полны несомненной уверенности в совершенной необходимости скорой и решительной победы. Газеты полны воинственным азартом. «Русское Слово» пишет патетические статьи на тему: «Идут все полки могучи... прямо на восток! Идут Микулы Селяниновичи, Ильи Муромцы!..». По убеждению прессы, исход войны

заранее обеспечен, ибо японская сухопутная армия не может идти в сравнение с русской армией, которая может быть сосредоточена в любой части Дальнего Востока, в каком угодно количестве, в какой угодно момент. А на Дальнем Востоке неудача за неудачей, поражение за поражением, одно другого неожиданнее, обиднее и позорнее... В чем дело? Этот вопрос сменял уже исчерпанный вопрос: как это могло случиться?

На новый вопрос русское общество ответа не получило. Ему косвенно ответили на него, указывая на надлежащий образ его поведения. Ему сказали: терпение, терпение и терпение...

В большом колонном зале московского Дворянского собрания происходят встреча и проводы генерала Куропаткина, отбывающего на Дальний Восток. Совершается торжественное молебствие о даровании победы русскому оружию. Красивый зал с колоннами переполнен блестящими мундирами военных и чиновников высоких рангов. Здесь вся Городская Дума и сословные представители. На хорах дамы в нарядных туалетах. Собрались словно на праздник, на парад или на открытие дворянского собрания. Целый угол зала у колонн заставлен иконами, большими, малыми, совсем маленькими, складными. Виден роскошный стяг, который подносит главнокомандующему Московская Городская Дума от города Москвы. Все это должно сопровождать Куропаткина на театр военных действий. По поводу изобилия икон, подносимых Куропаткину, пущено крылатое словцо, на которые такие мастера русского всякого звания и состояния:

— «Куропаткин не знает, каким образом ему победить японцев».

После молебна и слова митрополита, короткой речи Московского Городского Головы, кн. Голицына, Куропаткин, при гробовой тишине всего зала, говорит несколько слов. Он не сомневается в победе. Но необходимо — терпение!

Собрание кончилось. Расходимся. Чувство смутное, неудовлетворенное. Никакого подъема, никакого одушевления. В чем дело? Совершилось какое-то формальное действие, которое представляется официальным доказательством официального отношения к событию исключительной важности, все более раскрывающему свою роковую сущность.

Торжественные речи замолкли. Прекратились подношения икон и устройство напутственных молебнов. А из-за пышных слов и фраз о чаемом и ожидаемом, о славе русского оружия, о грядущих несомненных победах, о наказании дерзостного врага, — все более выступала неприкрытая горестная действительность. Призывы к терпению утрачивали силу. Нетерпение, чувство обиды, возмущения растет и крепнет у всех. С каждым новым поражением, с каждым новым отходом на «заранее подготовленные позиции», по «заранее предусмотренному плану» — росло негодование, оформливался протест. Не было злорадства. О, нет! Было чувство жгучего стыда и незаслуженной обиды.

Кто же виноват в этом позоре? — был новый вопрос, сменивший прежние вопросы.

Гибель адмирала Макарова на броненосце «Петропавловск», поражение на Ялу, у Тюренчена, Вафангоу, Ляояна, Шахе, Сандепу; оставление на произвол Порт-Артура, разоблачения капитана Кладо... Безобразное и необъясненное в то время столкновение между Гриппенбергом и Куропаткиным, кончившееся самовольным, как тогда писали, оставлением Гриппенбергом Армии... Все это уже не оставляло сомнения в том, что исполинская Россия терпит жестокое поражение от крохотной Японии из-за того, что все у нас отстало, все в застое, все в полном несоответствии с условиями прогресса внутреннего и технического. Власть, правительство самонадеянное и бездарное — вот кто повинен в этом позоре России.

Эта обвинительная формула объединяла всех. Не было возражений против этого обвинения. «Охранители» из наших думских кругов только махали руками и убегали от разговоров о войне, о скандальной авантюре, которая оказалась поводом к войне, о позоре неудач и поражений и о том, кто и что в этом повинно.

Обвинительные настроения росли. Почва становилась все более наклонной. Обвинения скатывались все быстрей и формулировки их становились все более обобщенными. Понятия «власть, бездарное правительство» скоро были заменены в этих формулах понятием «режим». Развязывались языки, создавалось как бы право на критику, на осуждение, и чем красноречивее были обвинители, тем легче были обобщения. Чем радикальнее были эти обобщения, тем более успеха они имели в неподготовленных политически массах. Негодование против власти переносилось на основу государственного строя.

А между тем внутренняя политика была в полном несоответствии с настроением общества. Плеве и Витте. Их борьба между собой. Борьба Плеве с земством во имя защиты самодержавия. Удары, наносимые Плеве земству и земским деятелям весьма умеренного образа мыслей, как Д.Н.Шипов. В апреле 1904 г. Шипов, этот безукоризненный земский деятель, лояльнейший в отношения к власти, пользовавшийся всероссийской известностью, не был утвержден председателем Московской Губернской Земской Управы: Плеве расправлялся со своими противниками, плохо разбирая опасных и неопасных. Московская Дума выразила Д.Н.Шипову свое сочувствие и надежду, что он вернется к своей работе, которую столь безукоризненно исполнял в течение многих лет. Точная формулировка оснований отказа в утверждении человека, прослужившего в этой должности уже четыре трехлетия, в то время нам, в Московской Думе, не была известна. Знали только, что

этой мерой хотели остановить земское движение. Только позднее стало известно, что мотивом к неутверждению, между прочим, было то, что Шипов стремился к расширению компетенции общественных учреждений и к объединению земств. И это в то время, когда уже сложилась обще-земская организация для оказания санитарной помощи раненым и больным воинам на Дальнем Востоке и начала свою большую работу под руководством кн. Г.Е.Львова. Ранее того, в самом начале января, тем же Плеве, за несколько дней до начала войны с Японией, была разгромлена Тверская губерния и Новоторжское уездное земство. Из пределов Тверской губернии были высланы выдающиеся земцы, во главе с И.И.Петрункевичем. Около ста человек земских служащих было удалено. Ревизии земств с целью подтянуть и выкурить вредный дух, неутверждения, высылки земских деятелей, закрытие съездов, все это чрезвычайно раздражало и возмущало людей самых мирных. Казалось, что особенно во время войны, да еще при постоянных неудачах, отношение правительства к обществу должно было быть совершенно иным.

Я сказал, что все общество было возмущено и раздражено политикой Плеве. Говоря так, я разумею пункт моего наблюдения — Московскую Думу и круги московского общества, с ней соприкасающиеся. Но кроме этого общества были и другие круги, представители которых вели работу среди рабочих и части служащих Городской Управы. Настроения этих кругов были решительные и непримиримые. Они резко осуждали мирное соглашательство земцев, их пассивную тактику и ожидание милостей сверху. По мере того, как обнаруживалась беспомощность власти, скандальное провалы на театре военных действий, эти круги становились все смелей и настойчивее. Их лозунгами вскоре стали: немедленное прекращение войны, и созыв Всероссийского Учредительного Собрания.

Влияние этих кругов давало себя чувствовать в периодических забастовках городских рабочих, ставивших в трудное положение городские предприятия.

Пользуясь современной терминологией, можно было бы сказать, что и на внешнем, и на внутреннем фронте в то время было одинаково скверно.

Помню, как Плеве, возвращаясь из Троице-Сергиевской Лавры, заехал в Московскую Думу. Его приняли кн. Голицын и вся Управа. Он, грузный, холодный, недоброжелательный, со скучающим видом выслушивал краткое сообщение князя о положении городских дел и о том, что больше всего заботит город в данное время. Это были ходатайства, застрявшие в Петербурге. Плеве был сух и весьма мало любезен с представителями города. В его ответе было начальническое указание на то, что министерство знает, что делает, если отказывает в ходатайствах: значит так надо, а что Городская Управа должна строго держаться требований закона и не уклоняться от них. Словом, это был скорее выговор на всякий случай, хотя Московское Городское Управление еще ни в чем не провинилось. По желанию Плеве, ему было показано несколько городских предприятий и производимых городом работ. Показывающие заметили, что он был поражен грандиозностью сооружений и должен был признать, что Московское Городское Управление умеет делать настоящее практическое дело.

Настроения напрягались все больше и больше. Недовольство росло и объединяло людей самых разных свойств и привычек. Потребность какого-то сдвига, толчка — было смутным сознанием всех. В этом состоянии известие о том, что террорист Сазонов бросил бомбу в карету Плеве, что Плеве убит, не вызвало ни возмущения, ни ужаса, ни даже особого удивления.

— Слышали? Плеве убит! — говорили люди при встрече друг с другом.

— Этого нужно было ожидать!

Далее не столько говорили о террористическом акте, сколько о том, что будет дальше. Устранение Плеве воспринималось как устранение какого-то тяжкого противодействия, преграды на пути, который теперь должен быть свободным. Какой это путь? Куда ведущий? Все было неясно. Несомненно было одно: так оставаться дальше было нельзя.

Назначение князя Святополк-Мирского было встречено и в Московской Думе, как и везде, с живейшим сочувствием. К его словам о «благожелательном доверии» в этой среде, конечно, не могло быть иного отношения. Слова о весне, о том, что «повеяло» весной», были подхвачены и передавались из уст в уста. Перипетии по созыву съезда земцев в Петербурге, переговоры Д.Н.Шипова с новым министром внутренних дел по поводу этого съезда, его колебания — были замечены и должным образом оценены. Земский съезд должен будет сказать и формулировать то, что всеми чувствуется, но еще не названо, не определено. Будет сказано то «новое слово», которое так ожидается всеми и до сих пор еще не произнесено. В атмосфере «доверия» и «весны» это слово будет найдено и произнесено.

Когда съезд состоялся и сведения о нем дошли до нас, я помню, как мне было досадно, что на этом ноябрьском съезде не было наших, городских представителей. Правда, там были С.А.Муромцев и Н.И.Гучков — это наши коренные городские гласные. Но там они были как земцы и подписали постановление как губернские гласные. Было и другое смутное чувство, которое я подмечал у многих: найдено ли это «новое слово», от произнесения которого падают стены и отворяются запертые двери? Ну, конечно, резолюция очень хорошая. Но это только путь, а не разрешение вопросов. Это определение позиции, которую сразу приняли под обстрел и со стороны правитель-

ства, и со стороны социалистической демократии. Мне принесли из статистики «Искру» с отмеченной красным карандашом статьей по поводу земского съезда. В этой статье были подчеркнуты строки, смысл которых сводился к тому, что было бы нелепостью идти в хвосте земских либералов, что демократия должна действовать самостоятельно и должна влиять на поведение земских либералов. Далее опять шли призывы к Учредительному Собранию, к революционному пробуждению народных масс.

Однако, постановления земского съезда имели большое значение для горожан. Помимо провозглашения конституционных требований, организовавших общественное мнение, эти постановления, прения на этом первом политическом собрании, возгоревшийся спор и борьба между группами И.И. Петрункевича и Д.Н.Шипова — всё это было в значительной степени началом политического просвещения в широких кругах городского населения. Для многих, может быть для большинства, эти вопросы были чужды, для многих они были смутны, почти для всех, за малыми исключениями, они были не бесспорны... Первый земский съезд 6–9 ноября 1904 г. привлек общее внимание, поставил вопросы, возбудил живой интерес и вызвал работу мысли в новом направлении. После него повысился интерес к вопросам политическим. Кое-кто из гласных заходил спросить, какую бы книжку, не очень большую, можно было бы почитать по конституционному праву, чтобы быть в курсе вопроса. Среди дам, ежедневно присутствовавших в малом думском зале и принимавших пожертвования на войну, также политический интерес повысился. Среди них оказались некоторые хорошо образованные и прекрасно разбиравшиеся в вопросах конституционного права. К моему удивлению, одна очень скромная на вид молодая женщина была в полном курсе вопроса. Это была дочь купца Пупышева,

весьма мало культурного и старозаветного. Еще маленькой девочкой я видал ее в церкви сельца Люблина, где мы детьми проводили лето на даче.

Ноябрьский земский съезд оказал и на Московскую Городскую Думу непосредственное воздействие. В связи с этим съездом начинается вступление Московской Городской Думы на путь политической деятельности. Наступившая полоса «банкетов», устраиваемых Союзом Освобождения, истолковывала смысл постановления земского съезда, расширяла его, вводила в курс политических вопросов.

Вскоре после ноябрьского съезда ко мне в кабинет явилась гр. В.Н.Бобринская и, со свойственной ей пылкостью и прямотой, обратилась ко мне со следующим вопросом:

— Вы видите, Николай Иванович, что начинается большое политическое движение. Неужели Московская Дума не примкнет к нему? Я уже переговорила с некоторыми вашими гласными, они готовы. Но нужно это сделать так, чтобы вся Дума примкнула к движению. С вами будут об этом говорить... Как вы думаете, пойдет ли на это кн. Голицын? Пойдет ли на это ваша Дума? Как вы смотрите на это?

Вопрос гр. Бобринской не застиг меня врасплох. Ноябрьский земский съезд не мог не вызвать у многих одних и тех же мыслей. Земский съезд выразил и формулировал не только земские мнения, мысли и настроения, а мнения целого общественного слоя, который искал выхода из тупика, в котором оказалась Россия. Поэтому как-то отозваться на провозглашенные земцами положения было настоятельной потребностью многих. Это настроение разделялось и мною в полной мере. Однако, я далеко не был уверен в том, как отнесется Дума к провозглашению тех же идей. Трудность была и в том, что в 1904 году истекали полномочия Думы. Согласится ли Московская Дума, накануне новых выборов, совершить политический

акт такого значения? Не вызовет ли политический вопрос раскола среди гласных, соберет ли постановление внушительное большинство голосов? Наконец, в какой форме провести через Думу «политический вопрос»?... Всё это были такие вопросы, на которые я не мог сразу ответить графине Бобринской. Я их только наметил, сославшись на то, что скоро начнутся выборы гласных, обычно отвлекающие внимание от городских дел, что время скорее мало благоприятно для проведения в Думе политического вопроса. Однако, мое сочувствие было ей выражено.

В своем осторожном ответе я, очевидно, недооценил общего подъема настроения в Москве. Вскоре Муромцев и Н.Н.Щепкин принесли мне проект заявления гласных, которое они предложили внести в Думу. Проект был составлен Щепкиным и носил явные поправки, сделанные Муромцевым, его характерным почерком. Щепкин притворил дверь в кабинет, Муромцев, улыбаясь своими красивыми глазами, сказал:

— Ну, слушайте и скажите ваше мнение, пройдет или не пройдет... И как сделать, чтобы прошло.

Щепкин присел на кончик диванчика у окна и, опустив глаза, обратился в слух. Он умел как-то особенно слушать. Он слушал не только то, что произносилось, но в то же время как-то весь прислушивался и к самому себе и к тому, как воспринималось то, что слушалось. Обратился в слух и я, ловя развитие мыслей и их формулировку. Муромцев начал читать.

В принесенном мне проекте в спокойных, но полных достоинства выражениях было указано на неотложную необходимость установить ограждение личности от внесудебного усмотрения, отменить действие исключительных законов, обеспечить свободу совести и вероисповедания, свободу слова, печати, собраний и союзов. Проект указывал, что все эти начала должны быть проведены в жизнь «на обеспечивающих

их неизменность незыблемых основах, выработанных при участии свободно избранных представителей населения». Проект заканчивался указанием на необходимость правильного взаимодействия правительственной деятельности с постоянным, на законе основанным контролем общественных сил над законностью действий администрации. Это был очевидный отклик на резолюцию земского съезда.

Я не мог не усмотреть, что составители проекта уклонились от воспроизведения формулы большинства земского съезда, в которой говорилось об осуществлении народным представительством законодательной власти, но и не стали на шиповскую точку зрения. Значительность земской резолюции как-то потускнела в тексте, подготовленном для Городской Думы. Однако, может быть это было и правильно для первого шага Московской Думы. Несомненно было и то, что общая политическая резолюция, которой заканчивалось заявление, оказывалась гораздо полновеснее вступительных строк, которые говорили о том, что дальнейшему развитию городского хозяйства мешают современные правовые условия. Эти соображения я высказал, когда Муромцев кончил читать и спросил: «Ну, что вы скажете?»

Оба мои собеседника поторопились сказать, что это именно и было их задачей. Щепкин громко засмеялся, хитро подмигнул и сказал, что это нужно для В.В.Петрова (непременный член особого по городским делам присутствия), да и гласные не так перепугаются. Далее стали советоваться, как внести это заявление в Думу. Очень скоро сговорились, что удобнее всего было бы внести это заявление при обсуждении сметы на 1905 год, когда в общих прениях затрагиваются самые широкие вопросы. Так и порешили.

Теперь надо было спросить согласия Городского Головы — допустит ли он огласить это заявление, явно выходящее за пределы компетенции Думы.

Меня просили сходить к князю и предварительно переговорить с ним. Князь выслушал меня, пробежал глазами проект заявления и, не вступая в дальнейшие разговоры, произнес: «Можно».

Это была обычная его манера. Он не любил длинных разговоров. Он вышел к Муромцеву и Щепкину, сказал им о своем согласии допустить оглашение заявления при общих прениях по смете. Условились о том, что нужно созвать предварительно частное совещание гласных и заранее их подготовить к тому, чтобы не было прений. Нужно было, чтобы заявление было принято единогласно. Князь сказал, что его сын, молодой гласный Тульского земства, принимал участие на съезде в Петербурге и подписал резолюцию. На моей заботе было переписать заявление и начать собирать подписи.

Управа и мои сотрудники весьма сочувственно откликнулись на предстоящий шаг Думы. Один только С.П.Юнгер, мой старший помощник, был весьма сдержан, суров и молчалив. Он явно не сочувствовал затее, считая ее незаконной и вредной. Угрюмо отмалчивался и Товарищ Городского Головы, И.А.Лебедев, находя, что Дума вступает на вредный путь политиканства. В.Н.Григорьев одобрительно улыбался и находил, что всё хорошо и правильно.

С С.А.Муромцевым мы вспоминали адрес Черкасского с свободой мнения, верующей совести и с его единением царя с народом. Тридцать лет понадобилось, чтобы сделать шаг вперед по пути политических деклараций Московской Думы. И как с тех пор изменились обстоятельства!

30 ноября было заседание Думы по рассмотрению сметы. На сей раз смета мало интересовала гласных. Заседание было

спокойное, и всё, что в нем делалось, было как-то более торжественно и значительно, чем обыкновенно. Сознавалось и значение собрания, и смысл исторического момента, переживаемого страной, и ответственности предстоящего акта. Эстрада полна публики, тоже внимательно-напряженной. О выступлении Думы слух пробежал по Москве. Телефонный звонок из Канцелярии Губернатора предупредил меня, что и там что-то знают. Я сослался на официальную повестку заседания, в которой стоит рассмотрение сметы.

Вот князь Голицын объявляет, что на очереди смета 1905 года. Товарищ Городского Головы дает краткое объяснение на доклад Финансовой Комиссии и умолкает. Следом поднимается Н.Н.Щепкин и просит разрешения огласить заявление 74 гласных, подаваемое в связи с проектом сметы. Председатель кн. Голицын дает разрешение на оглашение заявления. Заявление выслушивается при небывалой тишине. У многих гласных возбужденные лица, оживленные глаза. Некоторые потупились. Другие низко опустили головы. Безразличных не было видно. Чувствовалось, что Московская Дума переживает действительно торжественно-тревожный момент. Устами Щепкина она произносила слова ответственные, обязывающие; глубокая тишина и сосредоточенное внимание свидетельствовали о том, что она понимает значение переживаемого Россией времени.

Чтение кончено. Кн. Голицын спрашивает, разделяет ли Дума то, что оглашено в заявлении 74 гласных. Как было установлено на частном совещании гласных — возражений не заявляется. Есть лишь несколько воздерживающихся. В их числе И.А.Лебедев, Ф.Ф.Воскресенский. Так Московская Дума примкнула к земскому движению.

В конце 1904 года были произведены выборы нового состава гласных. Вновь избранные гласные в знак своей соли-

дарности с постановлением Думы от 30 ноября подали на имя Городского Головы заявление о том, что они присоединяются к этому постановлению, разделяя все его положения. В числе новых гласных, вступивших в Думу в 1905 году, были А.А.Мануйлов, М.Я.Герценштейн, В.В.Пржевальский, П.А. Стояновский. Тогда же и я, не оставляя должности Городского Секретаря, был избран гласным Думы. Этим заявлением традиция Думы старого состава была закреплена и подтверждена вновь вступившими гласными.

Постановление Думы от 30 ноября еще долго беспокоило администрацию. Конечно, оно было опротестовано губернатором. У кн. Голицына требовали объяснений, грозили... но события стали развертываться с такой быстротой и стремительностью, что плохое поведение Московской Думы и её председателя было забыто, а возбужденное в Городском Присутствии «дело» закончено без особых последствий. Где уж тут было говорить о «последствиях», когда в наступившем году всё пошло ходуном!

В январе 1905 г. — падение Порт-Артура, расстрел рабочих в Петербурге на пути к Зимнему Дворцу. В феврале — проиграно многодневное Мукденское сражение. В мае — гибель русского флота при Цусиме. Волна забастовок, прокатившаяся и не прерывающаяся по всей России. Растущее крестьянское движение, погромы помещичьих усадеб. Волнения в войсках, во флоте. «Князь Потемкин Таврический», «Георгий Победоносец», «Прут»... Всё усиливавшиеся волнения по всей стране. Чем дальше, тем больше сгущались события. Странный выстрел картечью из орудия во время крещенского парада на Неве...

Газеты ежедневно приносили известия о забастовках и стачках. Где, где их не бывало! Казалось, вся Россия уже охвачена лихорадкой и судорогами. Каждый день приносил

известия о покушениях на чинов полиции, об убийстве городовых, приставов, губернаторов.. Террор революционный поражал представителей власти больших и малых. А в ответ заработали военные суды: смертные приговоры, казни стали обычным явлением; массовые расстрелы при подавлении, порки, еврейские погромы. Внутри страны началась форменная война, размеры которой нам всё же не были достаточно известны, ибо никто не считал и не регистрировал ни забастовок, ни покушений, ни казней. К осени борьба достигла кульминационного напряжения. Разрозненные забастовки в октябре слились во всеобщую политическую забастовку... В стране всё остановилось... Манифест 17 октября открыл клапан и предотвратил взрыв.

В самом начале февраля этого бурного года думский день в красном зале на Воскресенской площади шел обычным порядком. В Москве всё было относительно спокойно. Только что кончилась забастовка в городских предприятиях, причем требования рабочих были частично удовлетворены. Вдруг где-то раздался глухой удар, потрясший воздух. Стекла в окнах дрогнули, и зазвенели, кое-где зашуршала штукатурка. В недоумении мы переглянулись. Что это за звук? Выстрел? Взрыв? Может быть взрыв газа в газгольдере на городском газовом заводе? Никто никаких более или менее определенных объяснений дать не мог. Однако, звук был очень внушителен. Пошли звонить по телефону, справляться, не случилось ли чего на газовом заводе. Поговорили, высказали предположения и, в ожидании известий, каждый уткнулся в свои дела.

Через несколько минут в канцелярию вбегает корреспондент «Новостей Дня» Кугульский, славившийся тем, что всегда первый приносит всякие новости и сенсации, и с победоносным видом первого оповестителя об исключительном происшествии, восклицает:

— Убит Великий Князь Сергей Александрович. Брошена бомба. Карета в щепки!

Наступила пауза.

— Так вот что означал этот звук! Вы знаете, у нас слышно было...

Да и не мудрено. Бомба была брошена в Кремле, у самых Никольских ворот. Между ними и зданием Думы — только Исторический Музей.

Вот первое впечатление от террористического акта. Почти что только слуховое. Весть об убийстве Вел. Кн. Сергея Александровича быстро облетела Москву. Какое впечатление произвело это убийство? В Москве не любили Вел. Князя. Его высокая фигура, неподвижное, точно каменное, лицо, стеклянные глаза — производили неприятное впечатление. Его холодное безучастие ко всему окружающему делало его чужим и чуждым Москве, несмотря на то, что он много лет был в ней Генерал-Губернатором. Это был представитель петербургской власти и её традиций. Он привез с собой холодную чопорность петербургского двора и придворного этикета. Это всё так не вязалось с патриархальной простотой князя В.А.Долгорукова, которого сменил на Москве Великий Князь. Московское именитое купечество было недовольно холодностью Вел. Князя и ответило ему тою же холодностью. Вел. Князь в Москве не пришелся ко двору. Его отставка произошла не больше, как за месяц до убийства. Это убийство, в тех условиях, в которых жила тогда Москва, не произвело особого впечатления. Возмущения, негодования — не помню. Скорее было любопытство. Сочувствие окружало больше Великую Княгиню Елизавету Федоровну, к которой относились гораздо лучше, чем к Вел. Князю. Кто убил? Что он говорит, этот Каляев? Что будет дальше? Однако, эти революционеры стали дерзко расправляться. Ведь совершенно недавно было покушение на Трепова.

Дума проделала весь должный ритуал. В течение нескольких дней поинтересовались «подробностями» убийства, как собирали по площади куски разорванного тела... и «перешли к очередным делам». О деле вспомнили, когда судили Каляева и вынесли ему смертный приговор.

Это была кровавая борьба, смысл и размеры которой плохо сознавались в наших думских кругах. Тем менее отдавали себе отчет в том, где скрытая пружина всех этих кровавых действий.

Как я сказал, Вел. Кн. Сергей Александрович был уволен в отставку за несколько недель до убийства. После отставки Великого Князя некоторое время обязанности Московского Генерал-Губернатора исполнял бывший Московский Губернатор А.Г.Булыгин. Барин, неглупый, с живыми, черными, часто смеющимися глазами, он был недурной губернатор в Москве. Он и кн. Голицын были женаты на родных сестрах. Но между ними не было особой близости. Напротив того, Булыгин как бы несколько свысока и насмешливо относился к князю, подчеркивая своей язвительной шуткой некоторые слабые стороны нашего думского князя. Иногда выходили забавные вещи, когда свояк-губернатор опротестовывал постановления Думы, состоявшиеся под председательством свояка-Городского Головы. Когда гласные Думы с Голицыным во главе пришли прощаться с Булыгиным по случаю его назначения министром внутренних дел, он принял нас в гостинице «Дрезден», где временно проживал. Это было не столько прощание, сколько выговор и в достаточно определенных выражениях по поводу того, что Дума уклоняется от своих прямых обязанностей и встает на путь, в законе не указанный. А через несколько недель на имя того же Булыгина (18 февраля) последовал высочайший рескрипт, которым, между прочим, предлагалось

общественным учреждениям сообщить их предположения о преобразованиях в государственном устройстве.

Вспоминаю о Булыгине для того, чтобы отметить эпизод, характерный для отношений между администрацией и общественными учреждениями того времени.

Булыгин, как я сказал, не был особенно высокого мнения об административных талантах своего свояка. Губернатор и его окружение как-то очень оценили мое, как там говорилось, большое знание городского дела и силу моего влияния на ход его. Когда Московским Генерал-Губернатором назначен был бывший московский обер-полицеймейстер, старый генерал А.А.Козлов, а московским градоначальником гр. П.П.Шувалов, то, как впоследствии оказалось, Булыгин, ставя в курс московских дел новое начальство, дал обо мне особенно хороший отзыв. Булыгин знал меня и мою работу в Думе, и его отношение, так же, как и отношения его окружения ко мне, были вполне корректны и совершенно нормальны. Не так поняли этот отзыв новые представители власти.

Началось с довольно неожиданной демонстрации. Вскоре после приезда в Москву Козлова, однажды я возвращался из Думы домой в Б. Казенный переулок, где я жил вместе со своей матерью Юлией Михайловной. Пересекая площадь, образуемую скрещением двух Казенных, Лялина и Введенского переулков, я был несколько удивлен тем, что городовой Захаров, много лет стоявший на этой площадке, завидя меня, как-то особенно вытянулся, лихо отдал мне честь, провожая и поедая меня глазами. Дома мне было сказано, что в мое отсутствие к воротам с Мал. Казенного переулка подъехал элегантный экипаж, в котором сидел старый генерал. Из ворот в это время выходила старуха Ненила, прислуга тети Наташи. Ее-то и расспрашивали сидевшие в экипаже, где проживает Н.И.Астров, дома ли он и когда бывает дома. Ненила отвечала,

что — кто его знает, когда Николай Иванович бывает дома, что живет он не с этого переулка, а с другого, что бывает он и днем, и вечером в Городской Думе. Сидевшие в экипаже передали ей карточку для Н.И.Астрова и уехали. Оказалось, что это был Ген.-Губ. Козлов. В тот же день мне была доставлена визитная карточка гр. Шувалова, тоже лично завезенная.

Я был удивлен таким неожиданным вниманием. Никогда такие высокие административные лица не делали лично визитов. Самое большее, если присылались карточки в ответ на посещение.

По совету кн. Голицына, тоже весьма удивленного, я отправился представиться тому и другому. Козлов принял меня вне очереди, увел в большой кабинет генерал-губернаторского дома, усадил в кресло и повел разговор, как со старым знакомым. Он принял тон старого москвича, хорошо знающего московские обычаи и московских людей. После незначительных вступительных фраз, Козлов перешел к главной интересовавшей его теме.

— Что делается у вас в Городской Думе? Она теперь в центре внимания.

Еще не разбирая истинных намерений моего собеседника, я с охотой стал говорить о большой работе, которую производило Московское Городское Общественное Управление. Я был увлечен этой работой и гордился ею. Поэтому рад был воспользоваться случаем и развернуть перед новым генерал-губернатором картину деятельности Думы, подчеркивая препятствия, которые она встречает в своей работе.

Но не это было нужно Козлову. Он скоро остановил меня.

— Да, да, это всё очень хорошо! Но кто у вас в центре нового движения, в котором Дума играет такую видную роль?

Я насторожился и ответил, что если он имеет в виду постановления 30 ноября, то вся Дума приняла его, что инициатива принадлежит 74 гласным.

Мой ответ не понравился бывшему обер-полицеймейстеру.

— Да я не о том! Мне говорили, что вы в курсе всего, что делается в Думе. Вот я и прошу вас, держите меня в известности о всём, что там делается. Я буду вам очень признателен. Вы знаете, теперь такое время. Если вы пожелаете сообщить мне что-нибудь такое, понимаете, только мне, то прямо звоните мне по телефону и приезжайте так, как есть, в вашем рабочем пиджаке, никаких вицмундиров не надо...

Очевидно, высокий полицейский усмотрел на моем лице выражение, которое не поощрило его к дальнейшему развитию его мысли.

Я сухо заявил ему что Дума производит свою работу гласно и публично, что в её работе нет секретов, что в законе указаны пути, что Городской Голова кн. Голицын представляет город и т. д.

— Знаю, знаю, — бормотал старик, — но всё-таки рад с вами познакомиться и надеюсь, что мы с вами еще увидимся.

Вышел я из генерал-губернаторского дома весьма смущенным. Ощущение было такое, будто я вымазался в чём-то весьма противном. Очевидно, они хотят, чтобы я стал доносителем и информатором. Какая гадость!

Вернувшись в Думу, я тотчас же подробно рассказал обо всём кн. Голицыну. Негодованию моему не было предела. Милый князь успокоил меня.

— Разве вы не знаете, что А.А.Козлов не отличается особенным умом? Но погодите, он еще вас так не оставит. Ждите новых походов на вас.

Между тем, события развертывались всё более и более. Забастовки в Москве почти не прекращались. Они перебрасывались с фабрик и заводов на городские предприятия, на железные дороги. Возбуждение росло. В ответ на указ Сенату 18 февраля о видах и предположениях частных лиц и учреждений по вопросам, касающимся «усовершенствования государственного благоустройства и улучшения государственного благосостояния» и в связи с рескриптом на имя А.Г.Булыгина, сменившего кн. Святополк-Мирского, о привлечении достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений, стали формироваться политические требования разных общественных кругов. Секретный циркуляр Булыгина тотчас же разъяснил губернаторам «пределы» указа 18 февраля, причем земские и городские управления оказались лишенными права возбуждать ходатайства по предметам, их ведения не касающимся.

Это секретное разъяснение оказалось лишним поводом к организации общественных сил, готовившихся принять участие в наступавшей политической жизни страны и к тому, чтобы земские и городские круги, уже вне земских собраний и вне дум приступили к работе, вызванной указом Сенату. Работу эту оказалось гораздо удобнее производить согласованно. Отсюда начало организации городских гласных и связи их с земской организацией, возникшей много раньше. В Думе, среди гласных, началась оживленная политическая работа, образована была Комиссия по общим вопросам, которая приступила к составлению предположений в связи с указом Сенату 18 февраля. Работа была увлекательная и новая.

Н.Н.Щепкин, при участии С.А.Муромцева и Ф.Ф.Кокошкина, составил обширный доклад, в котором в ясных и отчетливых чертах давалось представление об основах консти-

туционного строя. Рассматривались вопросы о системах выборов народных представителей, о двух- и однопалатной системе. Словом, давалось как бы пособие для усвоения элементов конституционного права. Доклад этот, № 180, подробно обсуждался в частных совещаниях гласных и был основой их политического просвещения. Доклад был отпечатан в большом количестве экземпляров. Быстро был разобран гласными и служащими. Весть о нем распространилась. Его стали спрашивать из провинции, за ним приходили из разных учреждений и организаций Москвы, а то и просто частные лица. Доклад пришлось печатать вновь. Успех его был большой. Он сыграл не малую роль в организации согласованного мнения городской среды в вопросах «усовершенствования государственного благоустройства и улучшения народного благосостояния».

На этом докладе, конечно, отразилось влияние и ноябрьского земского съезда и работы, произведенной земским движением. Положения его предполагали организацию народного представительства по системе двух палат, а выборы по системе всеобщей, прямой, равной и тайной подачи голосов.

В Думу всё чаще стали являться депутации от разных организаций и вновь возникавших союзов. Эти депутации приносили Городскому Голове разные петиции, заявления политического характера. Кн. Голицын любезно брал у депутаций заявления и обещал, что они будут приняты во внимание при рассмотрении общего вопроса об «усовершенствовании государственного благоустройства». Еще больше таких заявлений поступало по почте.

Все эти заявления и петиции передавались мне и хранились в особой папке. Их накопилось большое количество. Подавляющее их большинство отражало лозунги социал-демократов, которые были нам известны по «Искре». Тут было требование Учредительного Собрания, немедленное прекра-

щение войны, отказ от колониальной политики, свержение абсолютизма. За падение Порт-Артура должны пасть стены Петропавловки — говорилось в некоторых заявлениях. Долой самодержавие! Да здравствует народная революция!

Это были возгласы петиций, написанных в повышенном тоне, часто вполне безграмотно. «Искра» вдохновляла авторов этих петиций. И напрасно большевики в своих фанфарах последующего времени приписывают себе наибольшую активность в 1905 году. Всё революционное возбуждение среди рабочих в то время было произведено эсдеками меньшевиками.

Эти петиции были выражением крайне-левых настроений первой половины 1905 г. К ним примыкали заявления и резолюции разных союзов, съездов профессиональных организаций, как-то врачей, адвокатов, инженеров, фармацевтов, агрономов, железнодорожников и др. В мае месяц состоялся первый делегатский съезд союза союзов профессиональных организаций. На крайней правой того времени была монархическая организация Грингмута при редакции «Московских Ведомостей».

Промежуточной, центральной политической средой была земская среда, которая к тому времени уже распалась на земцев-конституционалистов и шиповцев, разделявших его своеобразное и переработанное «славянофильство». Московские городские гласные, в их активной части, примыкали к конституционному движению. Однако, вскоре наметилась и оппозиция. Герье, Найденов, Казначеев, И.А.Лебедев, Воскресенский, наконец, вступивший в состав гласных А.С.Шмаков — держались в стороне и явно не сочувствовали как оживлению, так и движению, к которому начинала примыкать Дума. Однако, эта оппозиция еще не сорганизовалась. Ворчали, искоса поглядывали, возражали на частных совещаниях. Но в бой не вступали. Высказывание «видов» было разрешено свыше. А возмущение

в связи с войной и тактикой правительства обезоруживало и их.

Группа гласных Московской Думы, начавшая политическую работу, к которой примкнул и я, стала устанавливать связь и с провинцией. На масленице 1905 г. в Малом зале Городской Думы был устроен небольшой съезд городских гласных из крупнейших городских центров. Это собрание не было названо съездом. Его скромно назвали частным совещанием. Но в сущности, это был первый съезд представителей городов, на котором поставлены были и были рассмотрены политические вопросы, которыми в то время интересовалась вся страна. На этом частном совещании были Городские Головы Харькова — Погорелка, Нижнего Новгорода — А.И.Меморский. Были гласные Киевской Городской Думы — кн. Е.Н.Трубецкой и И.В.Лучицкий.

Совещание открыл кн. Голицын. Докладчиком выступил Н.Н.Щепкин. Обсуждались всё те же положения, которые разрабатывала Комиссия по общим вопросам и которые обсуждались на земских съездах в Москве. На этом совещании возникла мысль об образовании Бюро по созыву совещания представителей городов. Эта идея и была вскоре осуществлена. В состав Городского Бюро, под председательством кн. В.М. Голицына, вошли Погорелка (Харьковский Гор. Голова), Меморский (Гор. Голова Нижн. Новгорода), Николаи (Гор. Гол. Казани), Алехин (Курск), Вермишев (Тифлис), гл. Оппель и Федоров от Петербурга, Н.Н.Щепкин и я. Может быть, были и другие, которых не помню.

Однажды мне передано было по телефону, что Московский Градоначальник хочет говорить со мной. Через секунду я услыхал в телефоне очень ласковый и приветливый голос графа Шувалова. Он просил меня не поставить себе в труд и сейчас же, в чём я есть, приехать к нему по срочному делу, о

котором он скажет мне лично. Я успел только спросить его, нужно ли мне захватить что-либо для справок, как последовал ответ:

— Нет, нет, ничего не нужно. Приезжайте сами. Так приедете? Я вас жду. До свиданья!

Я сказал кн. Голицыну, что меня вызывает градоначальник. Тот выразил недоумение. Не бывало прежде таких случаев, чтобы разговоры представителей власти по городским делам велись помимо Городского Головы и даже без его ведомства.

В доме градоначальника на Тверском бульваре мне не пришлось долго ждать. Меня тотчас же ввели в кабинет Шувалова. Первое, что чисто физически поразило меня, это ослепительный свет, прямо бросавшийся мне в глаза. Это световое ощущение было так сильно, что трудно было различить выражение лиц, стоявших и сидевших спиной к окнам. Только позднее я объяснил себе причину этого светового эффекта, ослепившего меня, как только я вступил в кабинет градоначальника. Оказалось, что стена соседнего дома, на которую выходили окна кабинета, была выкрашена белой масляной краской, но не вся стена, а квадрат соответствующий окнам кабинета. Лучи солнца отражались на этой, словно полированной поверхности и слепили человека, сидящего против градоначальника.

Меня встретили изысканно любезно, усадили в кресло, которое оказалось настолько глубоким, что я положительно утонул в нем и с великим трудом мог в нем производить движения. Передо мной сидел Шувалов, лица которого я не мог разглядеть из-за указанного светового эффекта. Сбоку оказался В.В.Петров, непременный член Особого по городским делам присутствия, повернуться к которому в этом каком-то небывалом кресле мне было почти невозможно. Поодаль стоял и. д.

помощника градоначальника, бар. Будберг. Более я никого в комнате не заметил.

Шувалов начал с любезных фраз, которые, однако, очень скоро показались мне сначала неловкими, потом не очень тактичными и вскоре просто грубыми и намеренно вызывающими. Смысл их в том, что я центр всего, что происходит в Думе. Ничто без меня не делается, я в курсе всего... К кому другому обратиться, как не ко мне, по делам, касающимся Думы. Я пробовал было сказать, что это далеко не так, но меня прервали.

— Не говорите, не говорите мы всё знаем. Конечно, не к князю Владимиру Михайловичу нужно обращаться по делам Думы, а к вам...

Становилось ясно, что я попал не для разговоров о городских делах, а на допрос, производимый в какой-то особой обстановке. Я замкнулся, а отраженный свет слепил меня. Я видел темные силуэты, слышал голос, давно утративший приятные и любезные ноты, и не мог различить ни одной черты на лице допрашивавшего меня Шувалова.

— Нам нужно знать, кто бывает у вас в Думе. Что это за люди приходят к вам и о чём они ведут с вами переговоры? Вы понимаете, что нужно нам знать для общего блага.

Положение определилось. Моя жизнь так прошла, что мне не пришлось быть ни арестованным, ни на допросах. Но некоторый опыт исправления обязанности судебного следователя у меня был. Настроение определилось сразу. Я почувствовал себя во вражеском лагере. Мне было противно и обидно. Противно в обстановке явно вражеской. Обидно и за себя, и за князя Голицына, к которому выражалось полное пренебрежение, и за нашу работу в Городской Думе. Мои ответы были кратки, точны и абсолютно бессодержательны.

— У нас в Думе, в помещении Городского Управления, бывает вся Москва. Все так или иначе имеют отношение к Городской Управе.

— Да не то, не то! Я не о том. Вы понимаете, я хочу знать, кто бывает у вас, у князя Голицына по делам не Городской Управы, а по другим... Ну, вы же меня понимаете.

— У меня бывает ежедневно очень много народа по самым разнообразным делам. По своей должности я всех должен выслушать.

— Ну, конечно, конечно! Но к вам и к князю приходят по политическим делам.

— Должен заметить, что я занимаю должность Городского Секретаря, т. е. секретаря Городской Думы, а вовсе не секретаря Городского Головы или личного секретаря князя Голицына.

В.В.Петров подтвердил мое заявление.

— Но у вас бывают представители разных союзов, подают вам разные заявления.

— Бывают, подают.

— Ну вот, ну вот, кто же это бывает? Назовите.

— Не знаю.

— То есть, как это не знаете! Вы принимаете заявления от лиц, которых не знаете?

— Именно так. Это меня не интересует.

— Разрешите, ваше превосходительство, задать вопрос?

Оказывается, в углу кабинета, за столиком, сидел еще кто-то, присутствовавший при допросе; его я не заметил. Повернуться к нему не было никакой возможности. Кресло не выпускало меня и не давало возможности двигаться.

— А бывали у вас прис. пов. Сахаров, Муравьев, Малянтович? — допрашивал меня голос из угла.

— Да не только бывали, но бывают. Это мои хорошие знакомые, с ними меня связывают старые отношения. Один из них мой товарищ по университету.

— Ну, а такие-то и такие-то бывают у вас?

Тут были названы имена, которые принадлежали к левым союзам.

— Может быть и бывали. Но я их не знаю. Опять повторяю, у нас бывает вся Москва.

— А что вы делаете с заявлениями, которые вам подают?

— Прочитываю и стараюсь понять создающиеся настроения.

— Ну, и что же, интересно?

— Не столько интересно, сколько жутко. Настроения всё растут.

— Можете мне передать эти заявления?

— Нет, не могу. Они принадлежат не мне.

Шувалов явно нервничал.

— Жаль, очень жаль, что вы не хотите нам помочь.

Я вылезал из глубин удивительного кресла. Шувалов весьма мало любезно простился со мной и на прощанье бросил:

— А насчет настроений, не беспокойтесь, мы сумеем с ними справиться.

Уходя из кабинета я с укором взглянул на В.В.Петрова, с которым мы впервые встретились в такой неожиданной обстановке.

В углу кабинета сидел начальник охранного отделения.

Вернувшись в Думу, я во всех подробностях рассказал князю Голицыну о допросе.

— Я вам говорил, что они вас так не оставят. Вот видите, так и вышло.

О моем первом крещении рассказал я и гласным, с которыми всё более крепли наши взаимные отношения.

Но этим допросом отношения Шувалова ко мне не кончились. Он пожелал на деле продемонстрировать мне, как нужно справляться с настроениями.

Не помню в точности, когда это было. 1-го ли мая готовилась в Москве большая рабочая демонстрация, или был какой-то другой повод, но известно было, что московские рабочие собираются со всех концов Москвы идти к Московской Городской Думе и там, на Воскресенской площади, устроить митинг и заявить какие-то требования. День манифестации приходился на воскресенье или в какой-то праздник. Слухи об этой готовящейся демонстрации были весьма смутные, городские предприятия были в общем, кажется, спокойны.

Из градоначальства мне было передано, что гр. Шувалов просит быть у него вечером в 9 часов. Просит быть в домашнем костюме. Цель приглашения опять не сообщена. Визит ничего приятного не обещал, особенно после допроса, со времени которого прошло месяца полтора.

Являюсь к назначенному времени. В небольшой приемной все помощники градоначальника, полицеймейстер и несколько приставов. Все в белых кителях, держат себя особенно развязно, бряцают шпорами и шикуют военной выправкой. У стены стоит неизменный В.В.Петров в вицмундирном фраке, со своим гуттаперчевым лицом и Владимиром в петлице. Я один оказываюсь в сером пиджаке. Чувствую себя крайне неуютно в этой полицейской комнате.

Через несколько минут к нам выходит Шувалов. Он очень моложав, очень элегантен, несомненно красив. Красота его

была бы привлекательна, если бы не некоторая жесткость, которая нет-нет да и промелькнет в его глазах. Он из тех людей, которых называют шармерами. Он тоже в кителе. Держится совершенно непринужденно. При его появлении раздается дружный, короткий, сливающийся в один сухой звук звяканья шпор.

— Благодарю вас, что пришли. Ну, какие у вас сведения о завтрашнем дне?

— У меня никаких.

— Ну, тем лучше. Вот вы познакомьтесь с тем, что завтра предполагается.

Затем он обошел всех присутствовавших, поздоровался и начал:

— Господа, вам известны мои распоряжения на завтрашний день?

— Так точно, ваше сиятельство! — последовал общий ответ.

— Так вот изменений пока никаких. Расположение нарядов то же самое.

Далее, как бы повторяя уже известное, он указывал, где должны быть укрыты городовые, жандармы и казаки. Оказалось, что вся Воскресенская площадь представляла собой нечто вроде ловушки. Вооруженная полиция во дворе Исторического Музея, во дворе Губернского Правления, Большой Московской гостиницы и т. д. Штаб, во главе с бар. Будбергом, будет расположен в здании Думы. Будет сделана попытка задержать демонстрантов и не пропустить их к Думе. Если же попытка не удастся, то манифестация должна быть разогнана силой оружия. Это приказ, который должен быть исполнен во всей точности.

— Итак, господа, до завтра. Не сомневаюсь, что всё сказанное мною в точности будет исполнено. Колебаний и нерешительности не допускаю. Действия должны быть самые решительные. Можете идти, господа.

Снова звяканье шпорами. Полицейские удалились.

— Вы слышали, Николай Иванович, мои распоряжения. Манифестация допущена не будет. Не остановлюсь перед самыми решительными мерами. Шутить не буду.

И, снова любезно улыбаясь, добавил:

— Я надеюсь, что всё кончится благополучно.

Снова я чувствую себя и противно, и подавленно. Спорить, возражать... какой смысл? Ясно, что надо мной издевается.

— Больше я вам не нужен? — спрашиваю я. — Считаю необходимым обратить ваше внимание, что вы нарушаете старую традицию. Никогда полиция без разрешения Городского Головы в здание Городской Думы не вступала.

Шувалов усмехнулся.

— Теперь не до старых традиций. Теперь нужно действовать.

Спросил меня, буду ли я завтра в Думе, и мы расстались.

По возвращении от Шувалова немедленно стал звонить по телефону кн. Голицыну, членам Управы и заведующим городскими предприятиями, чтобы приняли меры и удержали рабочих от участия в манифестации.

Рано утром я уже сидел в своем кабинетике на Воскресенской площади. По телефону условились, что никто из Управы в здание Думы не явится (был праздничный день, и занятий в Управе не было). Громадное здание было совершенно пусто. Только курьеры и сторожа убирали помещения и коридоры. Но вот по гулким, пустым коридорам раздаются поспешные и

уверенные шаги, все яснее различаю позвякивание шпор. Шаги приближаются и в мой кабинет входит граф Шувалов в сопровождении нескольких полицейских высших чинов. Он очаровательно любезен. Здоровается со мной как со старым знакомым и с изысканной любезностью заявляет:

— Я пришел пожать вашу руку, Николай Иванович, и сказать, что здание Думы занято полицейскими нарядами.

Не успел он закончить фразы, как в окно стали долетать четкие звуки мерного шага большого количества людей, а за ним и мерный топот лошадиных копыт.

— Что это? — невольно вырвалось у меня.

— Посмотрите в окно! Это немножко не в традициях Думы. Но это ничего.

Я взглянул в окно. Весь узкий двор, отделяющий здание Думы от здания Губернского Правления, был переполнен городовыми с винтовками. Казаки спешивались со своих коней. Видя мое волнение и негодование, Шувалов с прежним очарованием, как бы сочувствуя мне, сказал:

— Ничего, ничего, не волнуйтесь! Всё обойдется благополучно! Ну, а если — тут что-то жесткое мелькнуло в его глазах — мы их расстреляем. С нами шутки плохи. Барон Будберг со штабом в телефонной. Распоряжения все отданы. До свиданья, Николай Иванович, всё будет сделано, как следует.

Итак, я должен быть свидетелем расправы. Здание Думы обращено в место засады. Шувалов явно издевался надо мной и в моем лице над Городской Думой, над её «традициями». Не было сомнения — это была месть за мой разговор с Козловым, за мои ответы на допросе. Нужно ли говорить, какие чувства вызвала во мне эта полицейская тактика?

К счастью, манифестация не произошла. Небольшие группы рабочих появлялись в Александровском саду и мирно

расходились по требованию полиции. Часам к двум двор под моим окном опустел. Во всей этой истории, по-видимому, наиболее пострадавшим оказался я.

В ближайшем частном совещании гласных, — а такие совещания происходили в то время часто, — я подробно рассказал о всём, что было проделано Шуваловым. Общее сочувствие было на моей стороне. Этот эпизод был новым раздражением общественной среды.

В последних числах июня (28 июня — 11 июля) граф Шувалов был убит в доме Градоначальства, во время приема. Его убил эсер Куликовский, явившийся на прием к Градоначальнику. На прием он явился, сбрив свою бороду. Шувалов был убит наповал пятью выстрелами в упор. Куликовского сослали на каторгу. При революции он был освобожден и, по слухам, был назначен большевиками на должность комиссара в Астрахань.

Московская Дума всё больше втягивалась в политическую работу. Как внешние события, так и правительственные акты вовлекали ее в эту работу. Здесь вовсе не было надобности в особой агитации со стороны профессиональных политиков современного типа. К тому же, их в то время среди нас не было. Общие настроения требовали выхода, ими нужно было только руководить, их нужно было направить в то или иное русло. Руководство оказалось в руках людей либерального настроения. Они и повели тогда Московскую Думу. Муромцев и Щепкин были осторожны. Они знали среду, в которой приходилось им действовать, и не форсировали выступлений. Однако, линия их была достаточно тверда и определённа. Это была линия земцев-конституционалистов. Их слушали, им сочувствовали. Старые гласные, как купец Калашников, часовщик с Ильинки, столп и утверждение старых добрых нравов, одобрительно относился к новым речам в старой Думе,

слушал их не без волнения и прерывал их увесистым: «правильно».

Политические выступления Московской Думы оказались естественными, необходимыми, неизбежными. Старые гласные считали это долгом их общественного служения. И во исполнение этого долга шли осторожно, но решительно. Только И.А.Лебедев всё более ожесточился и ворчал на «политиканствующих» гласных. Восстановить все выступления Московской Думы политического характера я, конечно, не в состоянии, не имея под руками материалов. Некоторые, однако, запомнились.

В связи с актом 18 февраля 1905 г. о призвании доверием народа облеченных, избранных от населения людей, к участию в предварительной разработке законодательных предположений, Московская Дума в чрезвычайном собрании приняла текст всеподданнейшего адреса, в котором, между прочим, говорилось, что Москва верит, что в скором осуществлении государственных реформ лежит надежный залог прекращения внутренней распри, измучившей Россию; призыв свободно избранных представителей народа к участию в осуществлении законодательной власти установит в стране прочный правовой порядок...

Это всё было развитие конституционной идеи, провозглашенной на ноябрьском земском съезде 1904 г., и дальнейшее уяснение её составных частей.

11 марта особая депутация, в составе кн. В.М.Голицына и гласных Думы Вл. Ал. Бахрушина, А.А.Мануйлова и С.А.Муромцева, представила министру внутр. дел Булыгину ходатайство Думы о том, чтобы в состав Особого Совещания, учрежденного в силу рескрипта 18 февраля, были включены выборные от Московской Городской Думы и чтобы было допущено свободное обсуждение в печати вопросов, составляющих

предмет работы Совещания, и гласность по отношению к его занятиям. Такое же ходатайство было возбуждено и Московским Губ. Земством и целым рядом других земских собраний.

В это время выступления Московской Думы и других городских управлений оказались в полном согласии с выступлениями земских собраний. Работа городских гласных шла в той же линии, что и работа земцев, причем это была линия большинства ноябрьского съезда. Взаимные соприкосновения горожан и земцев становились всё чаще и необходимее. Вскоре эти соприкосновения получили организованные формы.

В мае в Москве вновь собралось совещание городских представителей. Как раз в это время пришло страшное известие о полном разгроме и гибели нашего флота при Цусиме. По поводу гибели русского флота при Цусиме в Московской Думе было заявлено, что дальнейшая отсрочка созыва народных представителей невозможна и что «настал час, когда самому народу предстоит разрешить вопрос о войне и мире, достойных России, и приступить к государственному строительству».

В связи с этой катастрофой созван был земцами на 25 мая особый съезд, который называли коалиционным. На этот съезд были позваны представители общеземской группы, группы конституционной, группы Шипова, губернских предводителей дворянства, а также представители городов. Городские представители не составляли определенной группы. В значительном числе была представлена Петербургская Дума (Красовский, Никитин, Федоров, Лихачев и Фальборк). Был представитель Одессы — Драго и некоторые другие. Это было первое совместное выступление земцев и горожан. На этом съезде было решено обратиться к монарху с изложением того, что происходит в стране и с выражением того, что нужно стране. Многие высказывали, что это — последнее обращение к мо-

нарху. Шипов возражал против каких-либо угроз, видя спасение только в единении царя с народом.

Съезд отправил особую делегацию к Государю, во главе с кн. С.Н.Трубецким. В состав делегации, кроме выдающихся земцев, вошли и представители Петербургской Думы, которая предполагала обратиться к Царю со своим адресом через особую делегацию. Эта делегация, в лице бар. П.Л.Корфа, А.Н.Никитина и М.П.Федорова, была присоединена к депутации съезда, с согласия последнего. Кандидатом к членам делегации, избранным на Московском съезде, был и наш Н.Н.Щепкин.

Вскоре в состав Бюро по созыву земских съездов вошли и представители городских управлений. В числе этих представителей был и я. А первый общий съезд, съезд земских и городских представителей, состоялся 6–8 июля в Москве.

Ранее того, 15–16 июня, в здании Московской Городской Думы происходил первый официальный съезд городских представителей. Этот съезд носил также название Частного Совещания городских деятелей, ибо формального разрешения на его созыв получено не было. Однако, это Частное Совещание происходило в здании Московской Гор. Думы, под председательством Московского Городского Головы, кн. Голицына. На этом совещании было 126 представителей от 86 городов. Это первое собрание представителей городов было очень интересно и знаменательно. Городские Управления того времени были скромны и не проявляли своих политических настроений. Они оставались без движения в то время, как земцы вели борьбу, получившую вскоре явно политическое содержание. Тем неожиданнее было увидеть в июне 1905 года представителей русских городов и выслушать их полные содержания, живые речи. Это были вовсе не растерянные люди. Напротив того, они прекрасно разбирались в вопросах,

выдвинутых жизнью, речи их звучали уверенно и менее всего представляли собой проявление классового страха и эгоизма. Это были речи людей, понимающих общегосударственный интерес. Представитель г. Кронштадта, Волков, говорил: «У нас в захолустьях есть люди, способные и готовые к участию в общегосударственной работе». Подробный стенографический отчет об этом съезде был в свое время отпечатан. Но, к сожалению, лишь очень небольшое количество экземпляров было выпущено типографией. Весь набор был задержан и впоследствии уничтожен.

Съезд был открыт кн. В.М.Голицыным. Во вступительном слове он сказал, что в жизни общества и его учреждений бывают минуты, когда частные помыслы бледнеют перед общими вопросами. Минуты высшей важности, ведущей жизнь к неотвратимым последствиям. Такие минуты переживает теперь Россия, и это ясно для всех, кто не жмурит нарочно своих глаз. Кризисом мы все захвачены; всеми помыслами мы ощущаем, однако, тот путь, на котором найдем целебное средство от невыносимых страданий нашей родины. Народный голос должен свободно доходить до престола. Перед нами ответственная, трудная, но благодарная и почтенная задача — быть гражданами, стоящими на высоте своего призвания...

В президиум съезда были избраны: товарищами председателя А.К.Погорелка (Харьков) и Крыжановский (Одесса), Н.И.Астров, Н.И.Гучков, А.А.Мануйлов, В.В.Пржевальский и П.А.Столповский.

Сразу определилось настроение съезда. Единодушно было признано, что постановления ноябрьского земского съезда, это — катехизис, символ веры, это азбучные истины, усвоенные всеми, это платформа, объявляемая для всех и всеми принятая. Теперь нужно назвать вещи своим именем и произнести наконец это слово, которое у всех на устах. Слово это —

конституция! Для упорядочения жизни страны нужны конституционные гарантии. Депутаций больше не надо. Нужно объединить бюро городское и земское и созвать общий земский и городской съезд, который должен будет выяснить практические пути воздействия на общество и на правительство.

В резолюции московского совещания городских представителей было, между прочим, сказано, что оно находит «настоятельно неотложным введение в России народного представительства на конституционных началах, т. е. предоставление народному представительству решающего голоса в вопросах законодательства, государственного бюджета, ответственности министров и контроля над действиями администрации, а также право законодательного почина».

При шумных аплодисментах, съезд большинством голосов высказался за участие женщин в государственных выборах. Он принял двухпалатную систему. К проекту «Булыгинской Думы», известному лишь из неофициальных списков, отнесся совершенно отрицательно. Пылкий Н.Н.Щепкин назвал проект Булыгина «обманом», призывал заклеймить «эту гнусность», которая замышляется в петербургских департаментах и проектирует дать нам «канцелярию при отбросах бюрократии — Государственном Совете».

Съезд принял чрезвычайно резкую резолюцию по адресу правительства, не прекращающего кровопролития. Съезд отразил на себе настроение того времени. Гибель русского флота, волнения в стране и слова государя, не содержавшие никакого ответа на вопросы, мучившие страну. «Сомнения», оставить которые предлагал царь, не могли быть оставлены. Они уже обращались в протест, в негодование.

Вступление в Бюро по созыву съездов или, как его называли также, Организационное Бюро, представляло для меня

особый интерес. Тут я входил в самый центр земского движения, видел очень интересных людей на работе, входил в курс политического разрешения, казалось, самых главных вопросов, ставших на очередь в русской жизни. Нечего и говорить, что личные мои воззрения в полной мере совпадали с основами освободительного движения, хотя и шиповский романтизм находил отзвуки в моем сознании или, вернее, в моих настроениях. Работа Бюро и съездов, к тому времени уже оказавшаяся под запретом со стороны властей, приятно волновала и вызывала радостное сознание, что это продолжение давно начавшейся в России работы, работы за освобождение, корни которой лежат глубоко. Упоминание со стороны того или иного участника работы о декабристах, о Герцене вызывало радостную теплоту сердца.

Возвращаясь домой после заседаний, не чувствуя усталости, вспоминая речи старых земцев, я всё более укреплялся в сознании, что избранный ими путь — единственно правильный путь... Смущало немного всеобщее и прямое избирательное право... Но речи были столь убедительны, тон говоривших был столь уверенный, истинный демократизм так не мирился с какими-либо компромиссами, что сомнения и тревоги теряли свою остроту, захлопывалась какая-то дверь внутри и всё становилось ясным, бесспорным и несомненным. Авторитет говоривших был так высок и бесспорен, что перед ним исчезало и раздражение, которое вызывали непримиримые выкрики с.-д., призывавших к народной революции. Выкрики эти, натравлявшие один класс на другой, казались настолько нелепыми, что не заслуживали особого внимания. То, что готовит освободительное движение, должно положить конец самовластию и устранить угрозу революции. Опять захлопывалась какая-то внутренняя дверца. Создавалась спокойная, горделивая уверенность в найденном пути, в постигнутой истине.

Такие настроения всё больше определяли мое тогдашнее состояние. Тут, конечно, была известная доля романтизма, однако оправданного опытом Европы. Эти настроения в полной мере отвечали всему предыдущему, всему, что вырабатывалось и слагалось в университетские годы и укреплялось от соприкосновения с жизнью. Речи старых земцев не столько открывали новые, неведомые области и горизонты, сколько чудесно проговаривали то, что было недодумано, недосказано самим когда-то... В этом была сила ораторов на съездах, в этом была радость слушающего, находившего счастливые созвучия в своем сознании и своей душе. В этом было, наконец, радостное сознание соучастия в творческой работе. Это созвучие делало такими дорогими и близкими людей, которых видел впервые на работе. Таким даром убеждать слушающих в том, что это их собственная мысль, развивающаяся в прекрасной, художественной форме, — обладал еще совсем молодой земец Ф.Ф.Кокошкин. С захватывающим вниманием и наслаждением слушали его не только мы, молодые, но и старые общественные деятели. А таких ораторов было много, и среди них были действительно интересные, выдающиеся и талантливые люди. Особый интерес и общую как бы приподнятость, внимание и настроение вызывало появление на заседаниях Бюро и съездов Ивана Ильича Петрункевича, Ф.И.Родичева, гр. П.А. Гейдена, кн. Д.И.Шаховского, князей Павла и Петра Долгоруковых; Якушкин, Шаховской, Долгоруковы были постоянными участниками в работах Бюро.

Это были люди известные. Известны были их имена, известны были и их дела. Москвичей приходилось встречать и раньше. Других же, приезжих, видел впервые. Это все были сильные, интересные, чрезвычайно своеобразные люди. С ясной мыслью, с большим благородством, с превосходным даром слова. Они были так непохожи друг на друга (за исклю-

чением, конечно, двух братьев Долгоруковых, которых непозволительно смешивали в первое время) и в то же время они были объединены одной общей идеей, одной общей мыслью, одним общим настроением, дополняли друг друга и давали представление единого целого, хотя и многогранного, сложного, ярко блестящего и искрящегося талантом, силой убеждения и неиссякаемого знания.

Эта среда не могла не пленить. Были и у нас, среди городских гласных, совершенно выдающиеся по уму, знанию, таланту и ораторским дарованиям люди. Но может быть потому, что я присмотрелся, прислушался к ним, может быть тут имела значение привычная обстановка, но выходило так, что новые для меня люди, старые земцы, производили более сильное впечатление.

И.И.Петрункевич жил тогда вне Москвы и бывал в Москве редко. Это был действительно центр политической мысли среди конституционного движения того времени, большой и непререкаемый авторитет, каждое слово которого было полновесно и выслушивалось с особенным вниманием. Это были слова, проникнутые знанием русской жизни, любовью к родине и тревогой за судьбу страны и государства. Несколько суровый вид Ивана Ильича придавал особую значительность всему тому, что он говорил. Его слова приобретали тон строгий и непримиримый, когда он говорил о правительственном режиме, который вел страну к гибели. Его инициативе принадлежало известное обращение к населению от имени съезда 6–8 июля. Обращение, которое вызвало такой переполох у правительства и по высочайшему повелению особое расследование, произведенное сенатором Постовским при участии прокурора Камышанского.

На заседаниях Бюро и на съездах появлялся неукротимый, пылкий и громоносный Ф.И.Родичев. Я хорошо знал его брата,

Д.И.Родичева, мирового судью города Москвы. Какая разница между братьями! Природа все дары и таланты дала Федору Измайловичу, оставив Дмитрию лишь безграничную доброту, ласковость и восторженное преклонение перед братом. Ф.И.Родичев, появляясь в Бюро, внимательно слушал то, что говорили другие, сохраняя спокойный вид. Потом, так же спокойно вставал и начинал ходить по комнате между сидящими, останавливался, просил слова, и тут у него вырывались его искрометные, молниеносные импровизации. Такого оратора мы не слыхали в нашей Думе. Это была сама страсть и пламя. Его мысль облекалась в самые неожиданные образы, еще более неожиданные сопоставления, аналогии, противопоставления неслись в неудержимом вихре, в увлекательном полете. Его речи-экспромты были художественными произведениями, художественным творчеством, поясняющими, аргументирующими, иллюстрирующими те положения, которые методически разрабатывались в Бюро. Слушать Родичева было большим наслаждением. А гнев его, гнев на произвол самовластия, на тупость и бездарность властей и власти, был неудержим и неотразим...

В Бюро подготовлялись проекты создания русского народного представительства. А перед нами уже во весь рост стояли эти будущие парламентарии, во всеоружии знания и таланта.

Кн. Д.И.Шаховской, худой, с резко вырезанным профилем, упорный в работе, непоколебимый в убеждении, всегда настроенный радикальнее других, временами вспыхивающий как порох, был безапелляционен в своих суждениях. Он двигал работу Бюро вперед. В карманах его неизменного старенького серенького пиджака был всегда набросанный проект положений или резолюций, что помогало и обсуждению вопросов, и принятию решений.

Интересен был гр. П.А.Гейден. К его своеобразному заиканию, которым начиналась каждая его речь, мы скоро привыкли. Его образ мыслей и его речь были отточены остро. В критике режима, в осуждении «приказного строя» он был, может быть, не менее беспощаден, чем другие. Только оружием его был не молниеносный меч Родичева, а тонкий юмор и остро отточенный стилет, которым он вскрывал и анатомировал.

Братья Долгоруковы внушали к себе большую симпатию и уважение. Горожане-провинциалы с особым почтением входили в их дворец-особняк у Колымажного двора, поднимались по их мраморной лестнице в белый зал, где происходили заседания съезда, и отмечали, что, значит, дело ясно и бесспорно, что настала пора, когда такие люди, князья, Рюриковичи, богатые люди, стали во главе движения. О долгоруковских беседах уже знала вся просвещенная Россия, об участии их в работе по народному образованию и их связях с учительской средой знали не только земцы, но и горожане. Наконец, их выступления на съездах с докладами показывали, что в их лице мы будем иметь членов русского парламента, который неминуемо должен создаться.

Земцы производили на нас, горожан, сильное впечатление. Их демократизм был так бесспорен. Их готовность пожертвовать личным благосостоянием (ведь это были помещики и из них некоторые очень крупные!) для общего блага — располагала к ним. То, что они говорили и претворяли в формулы, было их подлинным убеждением, проистекавшим из всего их мировоззрения. В их среде чувствовалось, что путь, по которому они идут, путь верный, выводящий из позора, унижения и смуты, в которой оказалась Россия, путь, приводящий к цели — к славе России, к развитию её духовных и материальных

сил. Конституция — вот путь к цели и средство достижения этой цели.

В таких мечтах, в таком радостном настроении возвращался я домой из заседаний Бюро. В таком настроении участвовал в работах Бюро. Этими настроениями и взглядами делился со своими близкими.

Вступление горожан в Организационное Бюро было уже после выхода из Бюро Д.Н.Шипова. Однако, дух его еще присутствовал, когда возвращались к вопросам, еще так недавно возбуждавшим острые с ним столкновения. Шипова все признавали, все считались с его высоким нравственным авторитетом, с его громадным влиянием в земской среде. Но с ним расходились в основном политическом вопросе того времени. Конституция, ограничение самодержавия, основа права в отношениях власти и населения, идея народоправства — это круг идей большинства ноябрьского съезда и большинства Бюро. С другой стороны, Д.Н.Шипов, вводящий в основу отношений власти и населения ускользающее и расплывающееся понятие «нравственного начала». Царь, как исполнитель соборной народной совести... Эта идея составляла глубочайшее убеждение Шипова. Нравственная идея, начало справедливости, добра и правды в основе взаимных отношений власти и народа — это жизнепонимание было неизменным у Шипова и сохранилось у него до самого конца его жизни. Он неизменно повторял эту свою profession de foi волнуясь, иногда со слезами на глазах, в последние годы своей жизни, когда мне с ним пришлось особенно сблизиться на работе уже после крушения русской государственности, спасти которую было стремлением освободительного движения.

От Московской Думы, по избранию совещания её гласных, в земских съездах участвовали: М.Я.Герценштейн, А.С. Вишняков и С.В.Пучков. Входили в состав Организационного

Бюро и участвовали на съездах гласные Думы: Н.И.Астров, Н.И.Гучков, В.В.Пржевальский, А.А.Мануйлов, П.А.Столповский. А.И.Гучков принял участие лишь на последних съездах (в сентябре и ноябре 1905 г.). Ранее он был на Дальнем Востоке и в плену у японцев после взятия ими Мукдена.

Если, по спискам участников съездов, Муромцев и Н.Н.Щепкин числились земскими гласными по Московской губернии, то они не переставали, однако, быть коренными городскими гласными. Участие того и другого на съездах было особенно значительно. От Петербургской Думы на съездах участвовали Н.Н.Оппель, М.П.Федоров и М.И.Петрункевич.

От других городов отметим: И.В.Лучицкого, А.О.Немировского (Саратов), А.В.Алехина (Курск), Х.А.Вермишева (Тифлис), Л.Е.Сицынского (Кишинев), А.М.Макушева (Томск), А.К.Погорелка (Харьков) и др.

Участие Муромцева на съездах и в подготовительной работе к ним было особенно значительно. Его правилом, которое он методически проводил в жизнь, было не ограничиваться одним провозглашением идей и лозунгов, а облекать идеи в точные формулы, сообщать им организационные формы. Форма, как он любил говорить, защищает идею.

К съезду 6–8 июля 1905 г. Муромцев, при деятельном участии Ф.Ф.Кокошкина и Н.Н.Щепкина, подготовил обширный проект «Основных законов». Этот проект как бы увенчивал работу предшествовавших съездов, подготовлявших и разрабатывавших материалы для конституционного закона. Эта работа по составлению «Основных законов» производилась конспиративно на даче Муромцева в Царицыне. Туда, рассаживаясь в разные вагоны Курской ж. д., изредка собирались некоторые члены Бюро или участники съезда. Помню, как для ознакомления с законченным проектом часть членов Бюро была позвана в Царицыно. Предложено было принять меры к тому, чтобы не

привлекать внимания полиции, уже зорко следившей за собраниями, которые, в полном несогласии с рескриптом 18 февраля, объявлялись незаконными. Конспираторы мы были очень плохие. Пробираясь на дачу Муромцева и разбредаясь, для отвода глаз, по парку, мы только привлекли к себе внимание публики. Среди дачников пробежала молва, что где-то в Царицыне происходит конспиративное политическое заседание.

Организационное Бюро по созыву съездов работало под председательством Ф.А.Головина, заместившего Шипова после его неутверждения в должности председателя Московской Губ. Земской Управы. Это был очень выдержанный, не терявший хладнокровия человек, несколько английской складки. Он с большим достоинством председательствовал в Бюро, сознавая и давая чувствовать другим, что Бюро, это — орган всей земской и городской России. Такое поведение председателя Бюро было особенно ценно в виду того, что московская администрация, по распоряжению из Петербурга, повела решительную кампанию против движения. Запрещен был съезд 6 июля. Запрещены были заседания Бюро, подготовлявшего съезд. Первоначально заседания Бюро происходили в помещении Московской Губернской Земской Управы. После формального их запрещения в здании Управы, заседания были перенесены на квартиру Головина, в дом Шанкс, на Покровке. Туда явился полицеймейстер Носков с нарядом полиции, переписал собравшихся и потребовал, чтобы собрание разошлось. От имени собрания Головин заявил протест. Составив протокол, полиция удалилась, а занятия Бюро продолжались. Носков явился и на съезд 6 июля. Тоже требовал прекращения занятий. Внезапно для него его сфотографировали в то время, когда он объяснялся с председателем съезда гр. Гейденом. Носков протестовал, но фотограф исчез. От нас были отобраны наши визитные карточки, составлен протокол. Собрание отказалось подчи-

ниться требованию полиции, находя его незаконным. Носков удалился. Съезд продолжал свои занятия. Появился Носков и в заседании Бюро на квартире д-ра Н.Н.Баженова. Заявил, что не уйдет, пока происходит заседание. Заседание продолжалось. А Носков сидел в сторонке и что-то записывал.

Съезд земских и городских деятелей 6–8 июля 1905 г. отличался от предшествоваших земских съездов не только по своему составу (на нем присутствовали представители городов), но и по самому существу принятых им решений. Если предшествующие съезды представляли собой отчасти провозглашение принципов (съезд в ноябре 1904 г.), отчасти разработку отдельных вопросов (аграрный, система выборов), то на июльском съезде в первом чтении был принят «Основной закон», установлено принципиальное отношение к «Булыгинской Думе» и, что главнее всего, съезд заслушал доклад кн. Петра Долгорукова — о приобщении широких масс населения к работе по политическим вопросам — и обратился к населению с воззванием, ставя его в известность о своих действиях, планах и намерениях и призывая население к дружной совместной работе. Обращение к монарху было сделано 6 июля. Теперь съезд апеллировал к народу. Это был первый шаг по новому пути. Это было начало политической работы, начало образования политических партий, ищущих соприкосновения с широкими массами. Еще раньше Союз Союзов, после Цусимского поражения, признал совершенно бесцельным всякое ходатайство и обращение к верховной власти. Он призывал к уничтожению существующей власти и к созыву Всероссийского Учредительного собрания.

Не все участники съезда подписали это обращение к населению. Уже тогда намечалась правая оппозиция. Речи Касаткина-Ростовского были полны негодования и раздражения против всего существа работы съезда. Это были те же идеи,

которые развивались Грингмутом и Шараповым. Это был отзвук того, что говорила депутация Союза русского народа, принятая Государем 21 июня, т. е. через две недели после депутации кн. С.Н.Трубецкого. Тогда, в противовес земцам, депутация Союза русского народа требовала продолжения войны, новой мобилизации, водворения порядка неприкосновенности самодержавия и сохранения сословий.

Так, всё определеннее и отчетливее вырисовывались политические течения и настроения в стране. Притягивались однородные элементы и отталкивались элементы антагонистичные. Спешно происходила организация страны. Эта организация должна была завершиться образованием политических партий. Съезд 6–8 июля расширил полномочия своего Бюро, которое получило характер Исполнительного Комитета.

Правительство негодовало. Назначено было расследование действий съезда. Допрошено было несколько членов съезда, в их числе И.И.Петрункевич, давший блестящую и убийственную отповедь допрашивавшему, в которой вскрыл истинный смысл земского освободительного движения и указал на гибельность пути, который избрало правительство. Вызван был сенатором Постовским и я. Но приглашение не было мне вручено, в виду моего отъезда в Финляндию.

Слева похваливали июльский съезд. Отмечали решимость бесповоротно стать на почву конституционализма и желание опереться на народ. Мартов в «Искре» поощрял помещичью оппозицию, видел признаки роста народной революции в отказе съезда подчиниться треповскому приказу распустить незаконное собрание, констатировал, что на решениях съезда видно влияние Петрункевича... Но тут же Мартов ставит ехидный вопрос: примет ли помещичья оппозиция и разночинная демократия революцию, или снова пойдет по пути банкетов и съездов? Он обещал революционной инициативе консти-

туционалистов поддержку всего пролетариата при условии, однако, разоружения реакции, вооружения народа, созыва Всероссийского Учредительного Собрания... Пролетариат поддержит революционную инициативу, чтобы открыть эру революции, чтобы не дать остановиться революционному процессу, чтобы не дать водвориться столь желательному для редактора «Освобождения» «сильному правительству». С этого момента пути пролетарской революции и либеральной буржуазии разойдутся бесповоротно.

Такие программы-пророчества мы читали в «Искре» после июльского съезда. Сатана похваливал, дразнил и указывал перспективы.

— Читали «Искру»? — спрашивали меня из статистики. — Ну, как же насчет революции, г.г. участники съездов?

— Да как же вы не понимаете, что это единственный путь предотвращения революции!

— Ну, это еще посмотрим!

А тут восстание на «Потемкине». Броненосец «Георгий Победоносец», транспорт «Прут». Блуждание «Потемкина» по Черному морю...

«Освобождение», откликаясь на эти события, говорило, что открытую проповедь решительного выступления в России оно считает безумным и преступным. Тут же оно высказывало свой взгляд на отдельные вспышки в отдельных частях армии. Оно находило эти отдельные вспышки в войсках вредными, приучающими страну к идее «пронунсиаменто». «Главное же, к чему мы должны стремиться, — говорило «Освобождение», — это, чтобы армия в лице её сознательных и руководящих элементов духовно отпала от самодержавия».

События и, в связи с ними, политические провозглашения имели последствием, с одной стороны, более точные формули-

ровки политических программ, объединяющих около себя «единомышленников», а с другой стороны отход в сторону лиц, не приемлющих этих программ.

Если формально отходя Шипов в апреле наметил расхождения чисто идеологические с большинством участников съезда, то на сентябрьском земско-городском съезде уже слагалась оппозиция, наметившая новый откол.

Нужно заметить, что к этому съезду в Москве появился А.И. Гучков, до сих пор находившийся на Дальнем Востоке и, как было сказано, в плену у японцев, после сдачи Мукдена.

Отмечу, что по мере того, как политические события всё более сгущались, по мере того, как из разных углов выступали всё новые и новые требования, сталкивались непримиримые взгляды, создавались явления и события, расшатывавшие, казалось, всю жизнь сверху до низу, я, уже привыкший к тому, что в самой гуще наиболее сложных вопросов, возникавших в жизни Московской Городской Думы, всегда были Щепкин и братья Гучковы, очень чувствовал отсутствие А.И.Гучкова — умного, волевого и деятельного человека. Говорил я об этом его брату Николаю Ивановичу; говорил и его жене, Марии Ильиничне, настаивал, чтобы она употребила свое влияние к возможно скорому возвращению её мужа в Москву.

— Нам не достает Александра Ивановича здесь, в Москве. Там, на Дальнем Востоке, дело кончено. Теперь центр событий здесь, в Москве.

Я ждал А.И.Гучкова с нетерпением, не подозревая, что он тотчас по приезде внесет нам еще большую путаницу и еще больше осложнит и без того чрезвычайно тягостное положение.

Сентябрьский съезд состоялся в доме Новосильцева, на Большой Никитской улице. Съезд происходил в присутствии

представителя администрации, управляющего канцелярией Московского Генерал-Губернатора Воронина, впоследствии погибшего при взрыве на Аптекарском острове. Воронин сидел в углу, под образами, слушал, записывал что-то, не вмешивался в работу съезда. Все попросту забыли про него.

На этом съезде приняли впервые участие П.Н.Милюков, М.М.Ковалевский и А.И.Гучков. Тут же наметились два коренных расхождения по весьма существенным вопросам.

При редактировании политической программы по вопросу о выборах в Государственную Думу 6 августа 1905 г. — целая группа из 37 человек высказалась против всеобщего избирательного права. Та же группа решительно протестовала против установления местной автономии с представительными собраниями, осуществляющими в известных пределах законодательную власть. Лидером этой группы явился А.И.Гучков. Он необычайно заострил вопрос и требовал поименного голосования.

Появление А.И.Гучкова внесло явный раскол и способствовало новому, более точному обнаружению политической мысли и разделению участников съезда на политические партии.

Это и случилось на новом съезде, который был назначен на 12 октября 1905 г. Этот съезд происходил уже в полный разгар общей политической забастовки. Участников его было не много. Остановились железные дороги. Попасть в Москву многие из постоянных и коренных участников съездов уже не могли. Так, например, не мог уже приехать на съезд И.И. Петрункевич. Этот съезд оказался учредительным по образованию конституционно-демократической партии.

Процесс оформления политической мысли закончился. В обработке земских, а потом земско-городских съездов, в обработке Союза Освобождения — сложилась программа к.-д.

партии, установившая твердую и ясную политическую позицию между реакцией и революцией.

Мне не пришлось участвовать на этом съезде. В октябрьские дни я неотлучно был в Думе. Политические события вихрем закрутились в Москве. Центром их на некоторое время стала Московская Городская Дума.

Учредительный съезд партии народной свободы происходил в доме кн. Долгоруковых. Политические съезды не имели тогда постоянного помещения. Помещения менялись в зависимости от разных причин. Однажды по Москве пробежал слух:

— Земцы отказались от дома Романовых, они предпочли дом князей Долгоруковых!

Могло ли быть сомнение в глубоком смысле этой молвы! Известие это, как всякая сенсация, полетело за границу... В действительности — на Бронной, в театре Романова, заседать было неудобно и дорого. В доме кн. Долгоруковых, на Колымажном дворе, было куда лучше.

По возникновении партии к.-д. я примкнул к ней.

Глава II. Репетиция революции (октябрь, ноябрь и декабрь 1905 г.)

Я не собираюсь дать сколько-нибудь подробное описание того, что было в Москве в октябре, ноябре и декабре 1905 года. По этому периоду имеется теперь достаточное количество печатных материалов. Хотя их все-таки мало для полного освещения существа первой наиболее напряженной вспышки русской революции. Среди этих материалов разной ценности и значения наименее достоверными и наиболее лживыми представляются мне материалы большевиков. Патетический, пошлый, безвкусный тон изложения, победоносные фанфары, умолчания о всем том, что не выгодно этим, с позволения сказать, историкам — извращают действительность и искажают историческую перспективу.

Вспоминая о том, что было в последние месяцы 1905 года, я остаюсь на своем наблюдательном посту, каковым была Московская Городская Дума. Далеко не все с этого пункта в то время было ясно и отчетливо. Далеко не все было видно. Напротив того, многого, очень многого мы вовсе не знали и оказывались перед неожиданными фактами, которые сваливались, как снег на голову. Не знали мы того, что происходило на вершинах власти, в Петербурге, видели все большую растерянность, смущение и бессилие. Не знали и того, что происходило внизу, в гуще рабочих кругов. Мы были в центре, между двух стихий, в подвешенном состоянии, без точки опоры. Снизу наши устои подмывало все сильнее и глубже. Власть и влияние органов городского управления сохранялись больше по инерции. Авторитет Городского Головы, Городской Управы, Городской Думы, заведующих городскими предприятиями слабел и исчезал. Появлялись какие-то новые центры влияния, новые авторитеты, новые силы, дезорганизующие, расстраивающие прежний уклад и порядок. То, что казалось неизменным,

бесспорным, непоколебимым, вдруг объявлялось недопустимым, преступным, подлежащим изменению немедленно, без дальнейших рассуждений. Появились какие-то «средние техники», о которых до сих пор мы ничего определенного не знали, и имя которых упоминалось только тогда, когда им нужно было прибавить содержание по смете. Теперь эти «средние техники» оказались разрушительной силой. Они волновали рабочих городских предприятий, предъявляли требования одно фантастичнее другого. Требования эти начинались с увеличения жалованья, а кончались восклицанием «долой самодержавие, долой буржуев, да здравствует народная революция, учредительное собрание» и т.д. Эти техники были неукротимы. Они ходили из одной мастерской в другую, из одного железнодорожного парка в другой, призывали к забастовке, снимали с работы сопротивляющихся. Словом, они были, по-видимому, главной дезорганизующей силой. Они терроризировали и производили панику. За их бестолковые речи и восклицания и несуразные требования их прозвали «среднего ума техники». Но дело, очевидно, было не в уме. Разыгрывалась стихия. Стихия бушевала по всей стране. И что особенно важно, стихии этой, при всей ее разрушительной силе, поддавались, ибо первоисточники ее были у всех на глазах. Дальневосточная авантюра, позорно проведенная война, вскрытые войной пороки власти, режима, упорство этого режима, его явная борьба с обществом, кровавые расправы с народом, обещания реформ и поспешный отказ от этих обещаний, вызовы, бросаемые стране и общественным кругам, попытки вызвать в стране темные силы для борьбы с массами, пришедшими в волнение, отказ пойти навстречу требованиям общества, антагонистического революционному движению, все более и более захватывающему страну, овладевшему армией и флотом — все это вызывало резко отрицательное

отношение к власти... Власть бездарная, тупая, неспособная, преступная, доведшая страну до позорного поражения — такие определения все чаще и ожесточеннее произносились при упоминании о Петербурге. Нестерпимы были и упорные, настойчивые, долбящие призывы эс-деков к революции, к сокрушению режима. Пропаганда эс-деков была настойчива и планомерна. Она давала уже свои страшные последствия в виде разросшейся стачки. Но вытекала она из одних и тех же предпосылок, оперировала теми же данными, которыми пользовались и круги, примыкавшие к «освободительному движению». Эс-деки только шли дальше по этому пути освобождения...

Так элементарно и смутно строили свои умозаключения смущенные и недоумевающие круги, соприкасавшиеся с Городской Думой.

На чьей стороне были их симпатии?

Конечно, эти круги были против революции! Какое же в этом может быть сомнение! Помню, как однажды, в разговоре по поводу развертывавшихся в октябре событий, в ответ на восклицание одной из дам, принимавших участие в общественной работе, о том, как захватывающе разыгрываются события, как это увлекательно и жутко, я сказал:

— Если так увлекательно будут и дальше разворачиваться события, то мы с вами скоро будем болтаться на уличных фонарях!

Дама была в ужасе. Об увлекательности больше разговоров не было. Мы были в самой гуще движения, происходившего вокруг Думы. В Москве сначала забастовали типографские рабочие. Газеты перестали выходить. Их заменили слухи, один невероятнее другого. Мой телефон не переставая работал. Приходилось отвечать на тревожные вопросы, которые стави-

ли из всех концов Москвы. Вопросы были: «Что это творится? Что дальше будет?».

Не сразу, но очень последовательно, точно выполняя очередь, останавливались железные дороги, соединявшие Москву со всеми концами России. Остановилась городская железная дорога. Погасло электричество.

Телефонные звонки становились все более испуганные. — «У нас сегодня не было воды! Что же это значит! Нужно же принять меры!».

Что это за меры, которые нужно было принять, вопрошающие и восклицающие указать не могли.

— А что же делает градоначальник! Вот они до чего довели! Вот им теперь покажут! Ведь это настоящая революция? Что же это будет?

А между тем Полина Дмитриевна Путилова лихо торговала в своем книжном магазине на Арбате открытками, на которых д-р Чемоданов талантливо изображал акварелью толстую розовую свинью у корыта, или свинью в луже... На открытке была выведена надпись «буржуй». На другой была изображена ворона, потрепанная, с уныло опущенной головой. Надпись обозначала «бюрократ». Тут же был и городовой с красным носом, с растопыренными руками, от преследования которого ускользают революционеры.

Революция пугала, жизнь становилась нестерпимой... Однако, какое-то сочувственное понимание того, что происходило, отрицать было нельзя. Много безобразного, нелепого, возмутительного было в этом проявлении стихии. Университет, захваченный бушующей и митингующей толпой, был центром и сосредоточением разных сходок. Генерал-губернатор П.П.Дурново со своей балериной — комическая фигура на фоне вышедшей из берегов стихии — все это было

безобразно... Но внутри смутное чувство подсказывало: — еще напор, еще усилие, и падет обессиленным сопротивление, падет самовластие «приказного строя» и наступит... Что наступит? Ну, конечно, не то, о чем кликушествуют эс-деки, огортелые «среднего ума техники», эти «живые силы», которые продемонстрировали себя в думе на знаменитом совещании представителей революционных организаций в Москве!

Октябрьские дни были чрезвычайно тягостны для мирно настроенной и законопослушной Городской Управы. Забастовавшие городские предприятия остановили городскую жизнь. Вернуть их к работе не было возможности. Заведующие предприятиями приносили известия одно печальнее другого. Экономические требования рабочих — это только внешний повод. Рабочие бастуют, связанные предписаниями стачечного комитета. Кое-где в городских больницах появляются советы из низших служащих, которые не только вмешиваются в распорядки учреждения, но просто оттесняют прежнюю администрацию. Возбуждение растет, озлобление распространяется не только на полицию, поносят и Городскую Управу и Думу, возобновить работу предприятий нечего и думать, ходят какие-то толпы рабочих и снимают с работ тех, кто не прочь был бы возобновить работы...

Однажды ко мне в кабинет вбежал Корней Клюенков, бессменно служивший курьером у сменявшихся Городских Голов, и с тревогой сказал:

— С князем Владимиром Михайловичем дурно. Они вас просят. Идите скорей, что-то произошло между ним и забастовщиками.

Я бросился в кабинет князя. Он полулежал в кресле у своего письменного стола. Лицо его было бледно, глаза блуждали. Он был в полном изнеможении после пережитого, очевидно большого, напряжения, волнения.

— Что случилось, князь? Что с вами?

— Я больше не могу! Это невозможно. Я ухожу в отставку, и сегодня же. Я больше не в состоянии.

— Но что же случилось, князь? Почему отставка?

Несколько придя в себя, князь рассказал, как его освистали забастовщики за его отказ в их требовании, чтобы занятия в Управе были прекращены.

Оказалось, что «средние техники» густой толпой ворвались в помещение Управы и повстречали в коридоре князя Голицына, к которому и предъявили требование, чтобы он немедленно прекратил занятия в Городской Управе. На его отказ — он был освистан, в догонку ему неслись угрозы и ругательства.

Князь был до крайности взволнован и все твердил, что он больше не может и теперь же подаст в отставку. Я пытался убедить его, что такие решения нельзя принимать в состоянии возбуждения, что его присутствие в эти дни всеобщего хаоса необходимо, что его уход создаст еще больше трудностей и т.д.

Но Владимир Михайлович был неумолим. По-видимому, его решение подготовлялось давно. События были чрезмерны по своей напряженности и напору. Сил, действительно не хватало. Впереди полная неопределенность, тьма первозданного хаоса... Как повлиять на стихию, как направить ее в русло? Он был бессилен и растерян. Слушая его, я видел, что он, действительно, не может больше оставаться на посту. И еще раз пришла мне отчетливая мысль, что общественные деятели, также как и артисты, должны сами угадать момент, когда они должны сойти со сцены, чтобы не пережить себя. Имя кн. Голицына было окружено большим уважением за все годы его пребывания Головой в Москве. С величайшим тактом он вел себя в период политических выступлений Московской Думы.

Это прекрасное имя нужно было сохранить во всей неприкосновенности. Поговорили мы еще об условиях, при которых он мог бы остаться... Но решение его уже сложилось. Я перестал настаивать.

Он уехал из Думы и прислал заявление о том, что он, ввиду болезненного состояния, слагает с себя обязанности Московского Городского Головы.

Пока я был у кн. Владимира Михайловича, в кабинете Товарища Городского Головы, И.А.Лебедева, разыгралась другая сцена. Иван Алексеевич, спускаясь с верхнего этажа помещения Управы, наткнулся на бушевавшую толпу «средних техников», снимавших служащих Управы с их занятий. Ивана Алексеевича очень не любили управские служащие. Причину всяких неприятностей для них видели в нем. Что произошло в коридоре между «среднего ума техниками» и Лебедевым, так никто в точности и не узнал. Одни говорили, что его хотели побить, другие говорили, что его хотели разорвать на куски, третьи говорили, что ему нанесено было оскорбление действием. Что было с ним — не знаю. Но когда, по зову того же Корнея Клюенкова, я вбежал в кабинет Товарища Городского Головы, я увидел странную картину. Иван Алексеевич стоял на коленях на стуле, спинкой прислоненном к его письменному столу. В руках у него были раскрытые большие канцелярские ножницы, лезвие которых было у самого его горла. В.Н.Григорьев держал его за руки и отнимал у него ножницы. Казалось, они боролись. Иван Алексеевич был в крайнем возбуждении. Не своим голосом он выкрикивал что-то, кому-то грозил, восклицая:

— Довели! Довели! Вот до чего довели!

Не скоро его успокоили. Через боковой ход, его, в сопровождении преданного служащего, отправили домой. Вскоре и он прислал заявление об отставке.

Во главе Управы стал старший по годам службы член Городской Управы, Д.Д.Дувакин. Но и он не выдержал долго. С ним сделался сердечный припадок, и его отвезли домой. Во главе Управы стал член Управы В.Н.Григорьев.

В эти тяжелые для Управы дни очень небольшая группа гласных не покидала Думы. Щепкин, братья Гучковы, М.Я.Герценштейн были постоянными участниками в обсуждении всех вопросов, возникавших из хаоса разрушавшейся жизни. Мой маленький кабинетик стал как бы центром. Тут сосредоточивались все сведения, тут обсуждались вопросы, тут принимались решения.

Когда рабочее движение приняло угрожающие формы, Дума, по предложению Муромцева, в своем постановлении признала, что «рабочее движение является лишь частью общего политического движения страны, находящего себе особые источники не только в неудовлетворительности экономического положения рабочего класса, но не в меньшей степени в непризнании его политических прав обнародованной государственной реформой, что крайне напряженное состояние населения Империи, переживаемое в настоящее время, близится к тому пределу, когда могут быть затронуты самые основы государственной жизни и что коренная реформа политического строя более, чем когда-либо, представляется неотложной и необходимой в интересах возможного еще успокоения. Поэтому необходимо пересмотреть Учреждение Государственной Думы и положение о выборах на конституционных началах, созвать народных представителей, избранных на основании всеобщего избирательного права, для окончательной выработки основного государственного закона и немедленно установить начала свободы, обеспечивающие каждому беспрепятственное проявление его политической личности».

Положение в Москве становилось критическим. Возникла мысль устроить в Думе совещание, на которое пригласить представителей всех союзов и организаций, чтобы выяснить, что нужно сделать, чтобы урегулировать положение вещей, становившееся совершенно нестерпимым. Кто был инициатором этой мысли — не знаю. Предложение это было принесено нашими гласными и без долгих размышлений было принято к исполнению. На 15 октября в большом зале Думы было назначено это всемосковское совещание. Возникшее в Москве информационное бюро, в котором были представители всех организаций, оповестило всех, кого счел нужным. Что это были за организации и кто их представлял — мы не имели понятия. Говорили, что это будет собрание «живых сил» города, которые соберутся для обсуждения создавшегося политического положения.

С утра 15 октября малая и большая залы Думы стали заполняться совершенно неизвестными людьми. Они собирались по углам залы кружками, переговаривались о чем-то, готовились выступать с заявлениями, декларациями и требованиями. Гласные Думы стояли в сторонке. Многие из них имели весьма смущенный, другие явно обиженный вид. А народ все прибывал и прибывал. Среди массы рабочих намечались фигуры «лидеров», юрких, сангвиничных, крикливых. Было несколько женщин с истерическими, исступленными лицами. Около них группировались пришедшие в Думу «живые силы». Появились и некоторые из участников наших съездов. Был кн. Д.И.Шаховской, Тесленко, Мандельштам, которые вступали в переговоры с представителями организаций.

Коридоры полны народа. Кто там? Зачем они пришли? Кого влекло любопытство, кого тревога. Когда я пробирался через толпу, кто-то тронул меня за руку. Я оглянулся и не сразу узнал. В простом бурнусе, повязанная платком, низко

опущенным на лоб, передо мной стояла, прижавшись к стене, жена одного гласного, выдающаяся деятельница по народному образованию, Е.С.П. Ее большие, красивые глаза были полны ужаса. — «Что же это делается? Что же будет? — Я только пожал плечами. Кто мог ответить на этот вопрос, который стоял перед каждым из нас.

Появился и С.А.Муромцев. Около 12 часов дня совещание открылось. Председателем был избран Муромцев, который объяснил собравшимся, что Московская Городская Дума желала бы знать пожелания общественных организаций, что она их обсудит в своем заседании, в котором по закону посторонние не могут принимать участия. Этого вступления было достаточно, чтобы от имени рабочего пролетариата тотчас же был заявлен протест. Какой-то небольшой еврей в очень резких выражениях выпалил целую декларацию о силе пролетариата, об узурпации прав народа цензовой Думой, о том что Дума должна немедленно сложить свои полномочия, передать городскую кассу и все управление представителям демократических организаций и революционных партий, упразднить полицию и заменить ее милицией под управлением совета. Истерические возгласы какой-то экзальтированной девицы поддерживали требования представителя пролетариата. Положение сразу определилось: Дума должна упразднить себя, отдать городскую кассу революционному пролетариату и уйти со сцены.

Пошли нескончаемые прения. Выступали представители всех организаций. А их было много. Объявлялись перерывы для частных сговоров. Снова возобновлялось заседание. Гласные молчали, слушали. Кое-кто уехал домой. Сменился и председатель. Оставалась небольшая группа гласных. Темнело. Электричества не было. А совещание «живых сил» все продолжалось и конца ему видно не было. Принесли четыре

керосиновые лампы и поставили на большой стол, за которым заседал президиум совещания. Эти четыре керосиновые лампы таинственно освещали лишь небольшую часть большого зала, погруженного во мрак. Из этого мрака раздавались несмолкаемые речи, возгласы, угрозы, призывы к восстанию, к борьбе. В этой тьме носились призраки революции. А на высоком пьедестале чуть белел другой призрак... статуя Екатерины Великой. Борьба двух начал в полном разгаре...

Кто победит?

Уже за полночь совещание иссякло. Речи, повторявшие одна другую, выдохлись. Собрание изнемогало. Гласным Думы были переданы «требования» Совещания. Они оказались изложенными в более умеренных выражениях, чем первоначальные требования, заявленные большевиком[8]. Эта смягченная редакция, выработанная при участии кн. Д.И.Шаховского, требовала, чтобы Дума ввела в свой состав представителей демократических элементов и организовала городскую милицию для охраны порядка.

Листок с требованиями был вручен небольшой кучке гласных, их оставалось тогда в Думе человек 20. Гласные удалились в опустевший кабинет Городского Головы для обсуждения этих требований. Нас сопровождали недоброжелательные взгляды участников отшумевшего собрания.

Мы удалились в кабинет. Усталость, недоумение, раздражение были написаны на лицах некоторых.

8 По «Материалам по истории пролетарской революции. Сборник № 3. Декабрьское восстание в Москве 1905 г.». Госизд. М. 1920., оказывается, что этим юрким еврейчиком, заявившим требования в первоначальной редакции, был некий Черномордик (П.Ларионов), а кричавшая девица — г-жа Заславская.

— Ну, что же мы будем делать, — спросил кто-то. — Сколько их тут? Ведь они не уйдут отсюда и завладеют зданием, что бы мы тут ни постановили.

— Но мы не можем идти навстречу этим нелепым требованиям! Какой вздор! Передать им городские дела и убираться вон!

М.Я.Герценштейн не обнаруживал ни усталости, ни раздражения. Он, как всегда, в полной мере владел собой. — «Ну, господа, сядем и обсудим положение дела».

Все сели вокруг круглого стола. Как непохоже было это ночное заседание в кабинете Городского Головы на привычные заседания комиссий! Самообладание Герценштейна внесло полный порядок. Без труда и разногласий было признано, что никому уступать своих прав Дума не может, что никакое вступление посторонних элементов в состав Думы невозможно при действующем законе, что вопрос милиции уже поднят в Думе и будет разработан.

Решение состоялось. Всем стало легче. Кошмары «совещания живых сил» как-то поблекли.

В это время постучали в дверь. Вошел экзекутор Управы, полковник В.В.Сила-Новицкий, он принес нам чего-то закусить. На вопрос, что делается там, за дверями кабинета, Виктор Викторович, сохраняя военную выправку, доложил:

— Понемножку расходятся. Устали и разочарованы. Я сказал им: «и чего это вы, господа, волнуетесь и понапрасну время теряете! В Городской Управе денег нет. Только вчера все городские средства переведены в Государственный Банк». Это сообщение мое быстро облетело всех сидевших по разным углам. Ко мне подходили, проверяли известие. Кто разочарованно отходил, кто ругался... Потом пошли совещаться. Народ расходится понемногу. Но все же осталось довольно много,

ждут вашего решения и ответа на их требования. Все они в малом зале. Большую залу я запер на ключ.

Сообщение Сила-Новицкого было весьма кстати. Оно только подтвердило правильность принятого решения. Доели все, что принес наш милый полковник. Настроение у всех стало бодрым. Н.Н.Щепкин, по обычаю, балагурил.

Но вот пора уже выходить. Постановление переписано мной, подписано всеми присутствующими. В.Н.Григорьев за Городского Голову, я скрепил его по должности Городского Секретаря. Кто будет объявлять это постановление «живым силам»? Приходится эту обязанность исполнить Григорьеву. Он не очень рад этому, спрашивает: — «Может быть кто-нибудь из гласных объявит решение?». Никому нет охоты. Да к тому же нужно все это сделать по форме.

Мы выходим в малую залу, Григорьев и я. Там все еще довольно много народа. Все устремляются к одному углу, где Григорьев с нашим постановлением в руках ожидает, когда водворится тишина.

Тишина наступает полная. Кажется, слышно дыхание. Волнуясь и как бы несколько запинаясь, Григорьев читает постановление экстренного собрания Московской Городской Думы. Постановление недлинное. Смысл его еще короче — «отказать».

Снова мертвая пауза. Мы с Григорьевым направляемся к выходу, где стоят гласные, вынесшие это красноречивое решение. Но вот паузу нарушает неистовый женский крик. На подоконнике стоит растрепанная девица и неистовым голосом выкрикивает проклятия буржуазной Думе.

— Отрясем прах от ног! Уйдем из этой проклятой Думы! Да здравствует пролетарская революция!

С криком и свистом толпа устремляется к выходу.

— Слава Богу, что так все кончилось!

— Ну и «живые силы». Они еще себя покажут!

— Что же будет дальше?

Прощаемся. Расходимся по домам. День окончился более или менее благополучно. Но как-то все «это» кончится? Улицы погружены в полную тьму. Пробираемся по стенкам домов. Что это такое? Ведь это подлинная революция...

На следующий день, 16 октября, снова собрались в Управе. Занятия не клеились. Какие уж там занятия! Все в томлении. Никаких известий. Москва изолирована. Телефонные звонки не смолкают. Но в телефон тревожные голоса задают тревожные вопросы.

— Что же нового? Когда же это все кончится? Как у вас вчера прошло совещание в Думе с представителями общественных организаций? На чем порешили? Что «они» говорят?... и т.д.

Кто это «они», всемогущие, от которых все зависит? «Они» требовали, чтобы мы «им» сдали городскую кассу...

Вопрошающие разочарованы. Просят разрешения еще позвонить попозднее.

А связь с этими таинственными «они», т.е. со стачечным комитетом и с городскими рабочими, поддерживалась при посредстве довольно своеобразных лиц. В дни забастовок появился на нашем горизонте некий Красиков. Это был мужчина средних лет, очень худой, с козлиной бородкой и длинными космами сальных волос. Он ходил в темной рубашке, поверх которой надет был старенький пиджак. Штаны были заправлены в высокие сапоги. Кто был этот Красиков, откуда он появился — никто не знал. Его речи были самые революционные. Он таинственно намекал на какие-то конспиративные центры, представителем которых он будто бы являлся. Иногда

он говорил то, что вскоре действительно происходило. Кое-кому он намекал, что мог бы быть полезным в деле улаживания отношений с рабочими. Фигура этого господина была фатальная. При его приближении невольно умолкали. Говорили, что он служил раньше в каком-то полицейском участке письмоводителем, теперь перешел к революционерам. Но кажется все сходились в том, что он очень похож на провокатора и в отношении к нему рекомендовалась большая осторожность. Однако, он приносил кое-какие известия из внешнего мира. Известия эти иногда подтверждались, иногда опровергались. Но разве это было удивительно по тем временам?

Связь с городскими рабочими была в лице вагоновожатого Эзопова и водопроводного рабочего Тимофеева. Эзопов был бурный, резкий, с резко выраженной истеричностью. Но он был очень неглуп и, главное, честен. Эти черты в нем ценили и охотно с ним вступали в разговор после официальных заседаний Комиссий. Тимофеев был попроще. Сам измотался в своих новых функциях посредника между городскими рабочими и Городской Управой. Приходил к нам измученный и, присев на диванчик, охотно рассказывал о настроениях среди рабочих. Он уже не грозил, давно утратил непримиримый тон. В его словах мы улавливали нотки и оттенки, свидетельствовавшие, что напряженность забастовочного движения слабеет.

Как-то вечером Н.Н.Щепкин привел ко мне какого-то молодого человека довольно странного вида. Он был среднего роста, в элегантной, но поношенной визитке, мешковато сидевшей на нем. Каштановые волосы волнистыми кудрями спадали чуть не до плеч. Он имел вид музыканта из провинциального оркестра. Щепкин просил меня дать ему хоть какую-нибудь работу, так как юноша положительно голодает, что его рекомендуют ему с лучшей стороны. Молодой человек мне не понравился. Но он был чрезвычайно жалок. А рассказ его о его

мытарствах, преследованиях, которым он подвергается со стороны полиции, страдая за чью-то чужую вину, запомнился мне.

Вскоре мне понадобился человек, который мог бы нести секретарские обязанности в Комиссии по рассмотрению претензий рабочих. Я вспомнил о господине с длинными кудрями, рекомендованном Щепкиным, которого звали Ляошкевичем, и вызвал его. Секретарь он оказался плохой. М.Я.Герценштейн, руководивший работами Комиссии, постоянно жаловался на него. Между тем, этот господин продолжал выдавать себя за политическую жертву, нуждающуюся в защите и покровительстве.

Из сострадания к нему я продолжал его держать на службе, заменяя его в заседаниях Комиссии. Но вот он внезапно исчез. И только через много месяцев известил меня о случившейся с ним беде. Просил снова помочь. По его словам он должен был скрыться от преследований полиции, бежал сначала во Владимирскую губернию, потом на Кавказ. Его обвиняли в подлоге и растрате. Он негодовал и говорил, что все это на политической почве... Еще какую-то помощь я оказал ему. Прошло много лет. Наступила вторая революция. Теперь он оказался в положении нелегального и должен был искать убежища у добрых людей. Каково же было мое изумление, когда мне было сказано моими друзьями, что, при обсуждении вопроса об участи моей и моих близких в каких-то органах расправы, главным доносителем является какой-то Ляошкевич. Это была отплата за услугу, когда-то оказанную ему.

В великом томлении проходил и день 17 октября. Казалось, что напряжение слабеет, но еще не было никаких признаков того, что жизнь может восстановиться. Томление это было безысходным. Никто не знал, что нужно предпринять. Наступил вечер. Мы по обычаю сидели в здании Думы.

Вот в Городской Канцелярии зазвонил телефон. Из редакции «Русских Ведомостей» звонили и чей-то прерывающийся голос спрашивал, известно ли Думе про Высочайший манифест, объявляющий конституцию. Служащий канцелярии, Скороходов, довольно равнодушно ответил, что ничего неизвестно, но что он сейчас спросит у Городского Секретаря. Я бросился к телефону. Но он уже был разъединен.

— Что такое! Какой манифест? Кто говорил? Звоните во все редакции. Что такое...

Но по коридору уже бежали люди, кто-то кричал. В Канцелярию вбежало несколько служащих из статистики.

— Слышали? Слышали? Конституция! Конституция! Манифест!

— Да откуда же эти сведения? Кто сказал?

Вскоре из редакции «Русских Ведомостей» принесли гранку с текстом набранного манифеста. Прилетел откуда-то Щепкин. Мы крепко обнялись.

— Наконец-то дождались! Ура! Ура!

Появились откуда-то гласные. Что это было? Ликование, радость, восторг? Нет, это все не те слова. Не они выражали настроение, охватившее нас в те минуты. Это чувство было больше, чем радость. Оно было другого порядка, нежели восторг. Это было сознание исчезнувшей великой опасности, висевшей все время над нами, над Московской Думой, над Москвой, над Россией. У стариков были на глазах слезы. Часто слышалось — «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко!».

Конституция! Цель стремлений! Новая жизнь с этой самой минуты. Новая жизнь!

По телефону зовут: «Теперь же, сейчас же приезжайте в купеческий клуб. Там собираются все. Там поздравим друг друга!»

В клубе я испытываю сложное чувство. Опять речи, опьянение и от радости, и от вина — не удовлетворяет. Мне хочется крикнуть — «Не ликовать надо, а закреплять, удержать. Ведь только начинается новая жизнь. Кто ее поведет?». Эту мысль высказываю своему соседу, сильно подвыпившему М.С.Зернову.

— Ну, вы известный пессимист! Завтра будем закреплять, а сейчас выпьем!

Последующие дни ознаменовываются самыми разнообразными событиями. 18 октября Дума в чрезвычайном собрании заслушала заявление, сделанное С.А.Муромцевым от имени 54 гласных и постановила: почтить вставанием память всех положивших свою жизнь за дело русского освобождения, признать безусловную необходимость полной амнистии всем пострадавшим за свои политические и религиозные убеждения и отмены в разных местах Империи исключительного положения; ознаменовать настоящий торжественный день широкими мероприятиями в области свободного просвещения народного и благотворительности, приняв во внимание бедственное положение семей рабочих, принимавших участие в забастовке. Это постановление уже не встретило единодушную Думу. В частном совещании, предшествовавшем официальному собранию, произошло резкое столкновение между А.И.Гучковым и Муромцевым, предложившим проект резолюции. Это предложение — почтить вставанием память положивших жизнь за дело русского освобождения, требование полной амнистии, помощь забастовщикам, державшим город как бы в осаде... все это вызывало негодование. А.И.Гучков лидерствует. Шмаков и Воскресенский неистовствуют. Бурное совещание длится много времени. В тоне говорящих — раздражение, нотки непримиримости. Однако, проект резолюции собирает значительное большинство. Это первое острое столкновение либе-

ральной части Думы со слагавшейся уже реакционной оппозицией. Процесс расслоения в Думе пошел быстро и на протяжении нескольких недель Московская Дума круто изменила свое настроение: ее либеральное большинство стало ничтожным меньшинством...

Князя Голицына уже нет. Он сложил свои полномочия. Нет и И.А.Лебедева. Князю Голицыну гласные подносят адрес, в котором перечисляют его заслуги перед городом, отмечают его благородное участие в освободительном движении. Его избирают почетным гражданином города Москвы. Адрес, составленный в весьма либеральном духе, с волнением оглашает старейший гласный, купец П.М.Калашников. У всех сознание значения исторической минуты, сознание собственного участия в совершившемся мирном завершении одного исторического периода и наступления нового.

М.Я.Герценштейн с изумительной настойчивостью проводит сложную и трудную работу в Комиссии по пересмотру окладов содержания рабочих и низших служащих в городских предприятиях. Работа эта вносит значительные улучшения в их материальный быт. Это залог взаимного понимания между Думой и рабочими, залог мира и согласия в будущем. С этой целью велась эта работа, повлекшая за собой увеличение городского бюджета по содержанию городских рабочих на сумму около 800 000 рублей.

А на улицах Москвы толпы народа с любопытством поглядывают на уличные митинги, на процессии с красными флагами. Эс-деки проявляют большую деятельность, стремятся закрепить туманные обещания манифеста фактами. Раздражение от пережитой забастовки еще не прошло. Появляются и контрдемонстрации с царскими портретами. Противоположные течения сталкиваются. Полиция организует черносотенные выступления. На Немецкой улице убит дворником фабрики

Щаповых Бауман. Похоронная процессия тянется через всю Москву. Мы наблюдаем ее из окон Думы, выходящих на Театральную площадь. Вечером, у манежа, выстрелы по возвращающимся с похорон.

Манифест 17 октября прервал всеобщую забастовку, но волнения приняли новый оборот. Начались активные действия. Обозначились борющиеся стороны, началась борьба. Весть о разгроме Тверской губернской земской управы, о поджоге здания управы, об убийствах земских работников — на глазах и при бездействии властей — потрясла. Возобновившиеся газеты и появившиеся новые несли со всех концов России вести о волнениях, о столкновениях между манифестантами и полицией, о начавшихся погромах по разным городам. Из Кронштадта неслись вести о волнениях среди матросов и солдат, перешедших в форменное восстание. Волнения матросов в Севастополе. Волнение и восстание на крейсере «Очаков», на «Потемкине» и других военных судах черноморского флота. Лейтенант Шмидт во главе восстания. Волнения среди матросов и солдат в Петербурге и Владивостоке. Крестьянские волнения в разных местах России. Там и тут образовывались «республики с президентами во главе». Милая и веселая А.О.Третьякова, наша добрая знакомая и сотрудница по работе в городском попечительстве о бедных, оказалась во главе республики в одном городке северного Кавказа. В Иваново-Вознесенске президентом оказался купец Баранов. Образовалась Ветлужская республика с президентом председателем уездной земской управы Петерсоном. В Москве главою революционной власти называли Чичкина и Членова.

Взволнованная и растревоженная жизнь не входила в свое обычное русло. Да и русло это должно стать новым, непривычным для одних, недостаточным для других. В волнении и в столкновениях все больше и больше расслаиваются и диффе-

ренцируются еще вчера единомышленные, казалось, группы. Процесс образования политических партий в полном разгаре.

Характерным в этом отношении был последний съезд земских и городских деятелей в Москве 6 ноября. Съезд на сей раз происходил в вычурном испанском замке на Воздвиженке, принадлежавшем М.А.Морозову. На съезде были уже делегаты, избранные земскими собраниями и городскими думами, а не частными совещаниями гласных, как это было до сих пор. Польская политическая партия была на нем официально представлена. На этом съезде с достаточной точностью определились политические позиции разных слагавшихся групп. С одной стороны заявлялось о необходимости созыва учредительного собрания, с другой — шли резкие возражения против автономии Польши, против всеобщего избирательного права. Левое и правое крыло съезда, намечавшиеся на сентябрьском съезде, определились с полной ясностью на съезде ноябрьском. Большинство съезда, однако, удержало свои центральные позиции. Вопрос об автономии Польши, после чрезвычайно талантливой и захватившей всех речи Врублевского и новых резких выступлений А.И.Гучкова, собрал, однако, подавляющее большинство голосов. Съезд отверг предложение об учредительном собрании. Он обещал поддержку кабинету Витте, при условии строгого соблюдения им конституционных начал. Съезд высказался за учредительные функции Государственной Думы, которая должна выработать новую конституцию на основе всеобщего избирательного права.

Это был последний съезд земских и городских деятелей. Началась новая жизнь и работа политических партий. Конституционно-демократическая партия уже возникла и вела ноябрьский съезд. На съезде этом уже слагалась целая группа лиц, не скрывавшая своего недовольства направлением деятельности и тактики большинства, руководившего земскими и

городскими съездами. К постановлению съезда было подано особое мнение, подписанное среди прочих А.И. Гучковым, гр. Гейденом, М.А.Стаховичем и др. В этом особом мнении выражался протест против учредительных функций Думы, признавалось невозможным предрешать вопрос об автономии Польши. Подписавшие особое мнение находили неправильной и самую тактику, усвоенную съездом: нужно было успокаивать взволнованное общество, идти навстречу правительству и поддерживать его, а не предъявлять ему требования и т.д. Заявители, подав особое мнение, покинули съезд.

Таким образом, земское движение в своем развитии с одной стороны приобрело новых сторонников и последователей (присоединение городских управлений), с другой стороны, от него отпадали и отставали его коренные участники. Так, Д.Н.Шипов еще в апреле порвал со съездами и около него стала образовываться группа ему сочувствующих лиц. Теперь Гучков, вернувшийся с Дальнего Востока, повел энергичную кампанию, шедшую вразрез с движением. Начало кампании наметилось на сентябрьском съезде. Оформилась эта кампания на ноябрьском съезде.

Вскоре после этого съезда в Москве создалась новая политическая партия, получившая название «Союза 17 октября». Среди учредителей этой партии оказались видные деятели земского движения: гр. Гейден, постоянный председатель земских съездов, Д.Н.Шипов, один из основателей земского движения, М.А.Стахович, М.В. Родзянко и др. Среди подписавших первое воззвание «Союза 17 октября» — А.И.Гучков, С.И.Четвериков, Г.А.Крестовников и др.

Вскоре, кроме Союза 17 октября, возникли партии: торгово-промышленная, правового порядка и умеренно-прогрессивная. Впоследствии возник, просуществовавший, впрочем, очень недолго, «Клуб независимых». Его организато-

рами были кн. В.М.Голицын, кн. Г.Н.Трубецкой, гр. Хрептович-Бутенев и еще несколько лиц. Для составления его устава был приглашен я. Консультировали В.А. Маклакова. Устроили в русском зале Славянского Базара организационное собрание, на котором было произнесено несколько речей о значении и задачах клуба. Затея успеха не имела. Многие из нас уже были записаны в партии. Кн. Голицын не хотел вступать ни в какую партию. Клуб независимых более отвечал его склонностям.

В это время и среди гласных Думы происходили резкие изменения в настроениях. Еще так недавно прогрессивно настроенная Дума, поддерживавшая конституционные требования, стала заметно подаваться вправо. А.С.Шмаков с его погромными речами, извергающий хулу на всякое либеральное заявление, рыкающий как лютый зверь, стал находить внимательную аудиторию среди гласных. Скрипучий, скучный, тупой и упорный Воскресенский стал выступать каждый раз, когда возникали вопросы, так или иначе связанные с политикой. Но умнее и тоньше была работа А.И.Гучкова. Он повел кампанию широко и уверенно. Всеобщей забастовкой, автономией Польши, всеобщим избирательным правом, почва была достаточно подготовлена для образования новой политической партии, охраняющей конституцию от эксцессов и потрясений. В эту партию он стал широко вовлекать гласных Думы, потрясенных впечатлениями только что пережитого. Успех Гучкова был вне сомнения. С ним вместе, на какое-то время, оказались и Д.Н.Шипов, и гр. П.А.Гейден, и М.А.Стахович.

Организовавшись в партию под водительством такого сильного человека, как А.И.Гучков, гласные Думы почувствовали себя смелее и увереннее. Купец Калашников, еще недавно произносивший сочное «правильно», слушая Муромцева или Щепкина, теперь свирепо рычал, когда те выступали против Гучкова или Шмакова. В течение ноября гласные промеж себя

обсуждали вопрос: кому же быть в Москве Городским Головой? Подсчет голосов не оставлял сомнений в том, что нам, прогрессивной группе, оказавшейся в меньшинстве, не удастся провести своего кандидата. К тому же естественный наш кандидат, Муромцев, говорил, что он предполагает баллотироваться в Государственную Думу.

Созвано было частное совещание гласных для решения вопроса о возможном кандидате в Городские Головы. Гласный А.И.Геннерт, охарактеризовал общее положение, среди которого оказалась Московская Дума, тягостность ее положения среди бушующего моря политических страстей, заявил, что в данных условиях единственными возможными кандидатами являются братья Гучковы. Кто же из них возьмет на себя бремя стать Московским Городским Головой в такое время, пусть они решают сами. Большинство гласных бурно приветствовало слово Геннерта.

— Пусть сами решают! Ехать к ним и просить. Как решат — тому и быть головой в Москве!

Так и порешили отцы города — предоставить решение вопроса самим незаменимым братьям.

Это происходило в самом начале ноября 1905 года. В один из первых дней ноябрьского съезда А.И.Гучков позвонил мне и просил к нему заехать. Тогда он жил за Триумфальными воротами по Петербургскому шоссе. Дело, по которому он хотел знать мое мнение, сводилось к следующему: кому из них, Александру или Николаю, остаться в Москве и принять избрание в Городские Головы?

— Если уж судьба призывает одного из братьев Гучковых стать Московским Городским Головой, то мне кажется совершенно очевидным, — сказал я, — что ваша линия — линия политическая. Ваш путь в Государственную Думу. В Москве остаться придется Николаю Ивановичу.

— Так и мы с братом думаем, — последовал ответ.

Такое заключение пришлось мне дать по вопросу, поставленному гласными Думы, братьями Гучковыми.

Вскоре состоялись выборы Городского Головы. Избран был значительным большинством голосов Н.И.Гучков. По московскому обычаю гласные Думы, после произведенных выборов Головы, отправлялись к нему на дом сообщить об избрании. В это самое время пришла весть о подавлении восстания в Севастополе. Сомнения не было — им угрожала смертная казнь. Отправляясь к вновь избранному Голове вместе с его братом Константином Ивановичем Гучковым, с которым я был на «ты» (а с семьей Гучковых меня связывала еще по гимназии близость с их покойным братом, Виктором), я обратился к нему с вопросом:

— Как ты думаешь, не пожелает ли твой брат ознаменовать свое избрание актом гуманности и примирения? Не признает ли он возможным ходатайствовать о том, чтобы к возставшим матросам не применялась смертная казнь?

Мой собеседник даже привскочил от негодования:

— Да что ты говоришь! Да разве это мыслимо! Их всех нужно перевешать. Нет! Теперь все эти штучки будут окончены. Никаких больше сантиментальностей не будет!

И действительно, скоро все эти «штучки» со стороны большинства Думы окончились. Попытка возбудить ходатайство через Думу успеха не имела. А дальше разыгрались декабрьские события.

Совет рабочих депутатов и комитеты с.-д. и с.-р. объявили всеобщую политическую стачку, которая должна была перейти в вооруженное восстание.

С 7 декабря жизнь города приходит в полное расстройство. Повторяется картина октябрьских дней с тою только

разницей, что теперь московские улицы и переулки покрываются баррикадами, на улицах стрельба, а иногда гром артиллерийских орудий, убийства при подавлении восстания, убийства со стороны революционеров, расправы с той и другой стороны. Москва обратилась в театр военных действий. Успех борьбы был далеко не обеспечен за властью, пока на подкрепление Дубасову не прибыл из Петербурга Семеновский полк с Мином и Риманом. С этого момента начался разгром революционеров.

Декабрьские дни подробно описаны и имеют значительную литературу. Я не буду останавливаться на событиях в Аквариуме, на расстреле дома моего соседа Фидлера, на расстрелах домов Шик в Каретном ряду, Громова в Сущеве, типографии Сытина, на разгроме фабрики Шмит, на осаде и штурме Пресни.

Оправившаяся власть жестоко расправлялась с возставшими. Жестоко пострадало и неповинное население. А его отношение к декабрьскому восстанию было очень своеобразно.

Не подлежит сомнению, что в постройке баррикад, как в какой-то забаве, принимали участие и такие люди, которым, казалось бы, не к лицу было заниматься таким делом. Не только либерально настроенная интеллигенция, но и весьма умеренная публика с нескрываемой ненавистью относилась к неистовствам семеновцев при подавлении восстания. Имена Дубасова, Мина, Римана стали ненавистными именами далеко не у одних революционеров. Рассказы о расстрелах на льду реки Москвы захваченных рабочих и студентов, об избиениях и казнях при сортировке захваченных, о казнях по линии Казанской ж. д. в Перове, Сортировочной, Голутвине — вызывали трепетное негодование. В этом негодовании как-то меркли и тускнели неистовства революционеров, убивавших городовых, жандармов, захвативших начальника охранного отделе-

ния Войлочникова и расстрелявших его по приговору революционного суда. Все это было отвратительно. Но совесть не оправдывала власть и ее агентов. «Это они довели страну до такого состояния, а теперь, побитые японцами, расправляются с нами... Власть, во всеоружии силы и мощи, так постыдно и гадко расправляется с народом, отказываясь идти навстречу тому, что требует общество».

Таково было настроение многих. Во время борьбы в Москве, когда из-за баррикад обстреливались войска, полиция, когда артиллерия громила дома, из которых были одиночные выстрелы и палила вдоль улиц, когда жертвы с той и другой стороны насчитывались сотнями и без счета страдали мирные жители — участие общественных организаций в этой борьбе определялось Н.М.Кишкиным, как участие Красного Креста, т.е. помощь пострадавшим, не спрашивая, с чьей стороны нуждающийся в помощи. Помню свое отношение к этой братоубийственной борьбе. Я искал примирения. Образно мне представлялось, что кто-то в белых одеждах, с пальмовыми ветвями и крестом должен выйти между борющимися. — «Да кто же это выйдет», — спрашивали меня. — «Ну, мы, не принимающие участия в этой междоусобной борьбе». — «Так вас тут же подстрелят с той и с другой стороны», — отвечали мне смеясь. Но было и другое настроение. Шмаков, издеваясь над всеми принявшими манифест 17 октября, во всем видевший происки евреев и жидо-масонов, стал в воинствующий лагерь правых черносотенцев. Он призывал организовывать боевые дружины для самозащиты от революционеров. Он проклинал всех, кто искал путей примирения в начавшейся междоусобной борьбе.

Дом Фидлера, у Чистых прудов, находился в десяти минутах ходьбы от дома, где я жил в Б. Казенном переулке. Поздно вечером 9 декабря мы были поражены ружейной стрельбой и

пушечной канонадой совсем близко от нас. Стекла неистово звенели, воздух сотрясался. Казалось, стреляли во дворе нашего дома. Наскоро одевшись, я выбежал на улицу и направился на звук выстрелов. Вскоре выстрелы и канонада замолкли. Попадавшиеся по дороге говорили, что в доме Фидлера засела боевая дружина и ее оттуда выбивают. Только что я выбежал на Покровку, как канонада возобновилась с новой силой. Идти дальше было нельзя. Путь был прегражден. Неподалеку от меня оказался старик, содержатель крупного заведения мехов. При каждом новом пушечном выстреле он приседал, разевал свой беззубый рот и неистово кричал: «Так их, с... детей! Так их, мерзавцев! Еще, еще, так их, негодяев!». Старик был в полном экстазе. Но вот толпа ринулась в разные стороны. Из Лобковского и Машкова переулка неслись драгуны, размахивая шашками и гоня перед собой толпу. Улицы мгновенно опустели при этой атаке. Я уже был около ворот моего дома, как с нами поравнялись несшиеся карьером драгуны. Только что я успел захлопнуть за собою калитку, как драгун шашкой несколько раз ударил по воротам... Наутро мы отчетливо различили на воротах две ссадины от удара шашкой. Удары были сильные. Я просил сохранить эти следы вооруженного восстания и не закрашивать их при ремонте дома.

Неистовство правых росло по мере того, как успех переходил на сторону Дубасова. Овладевшие влиянием в Думе братья Гучковы, один как председатель Думы, другой как лидер сомкнувшегося около него большинства, не допускали никакого суждения, тем более осуждения действий правительства. Предложенная от имени ставшей теперь оппозицией резолюция, возлагавшая на правительство ответственность за последствия вооруженного восстания в Москве и указывающая на необходимость немедленного созыва народных представителей, избранных всеобщей подачей голосов, для выработки

основного закона — была отвергнута громадным большинством. Недавнее либеральное большинство Думы насчитывало теперь не более 20–25 человек из 100 гласных. Из состава этой оппозиции гл. С.А.Левицкий был арестован.

Реакционное настроение все более овладевало нашей Думой. Пылкий Н.Н.Щепкин бросал ей в глаза обвинение, что теперь Городская Дума не пользуется более доверием населения, поэтому ей нечего обращаться с воззваниями к населению. В одном из частных совещаний гласных, а таковые стали обычно предшествовать публичным заседаниям, между братьями Гучковыми и Щепкиным произошло резкое столкновение. Щепкин бросил им упрек, что они стали прислужниками власти. Столкновение могло кончиться очень печально. Гласные бросились уговаривать стороны. Внешне мир был установлен. Но с октября 1905 года пути их разошлись. Прежняя дружба кончилась. Политика их развела по разным станам.

Мрачные декабрьские дни кончились. Улицы Москвы были очищены от баррикад, выбитые стекла вставлены, пробоины от снарядов кое-где заделаны. Жизнь постепенно входила в свое обычное русло. Только городовые с винтовками на перекрестках улиц да расстрелянные и сожженные дома напоминали о подавленном революционном восстании в Москве.

Московская Дума отвела несколько школьных помещений для жителей разгромленной Пресни и ассигновала денежные пособия пострадавшим от разгрома, а также пострадавшим солдатам и полицейским.

— Так вы кадет, Николай Иванович? А как же «живые силы», которые продемонстрировали себя в Думе 15 октября? — спрашивали меня мои друзья из гласных, еще не решающиеся связать себя с той или иной политической партией.

— Да, кадет. А как же Дубасовы, Мины и Риманы? К.-д. это противодействие Дубасову и «живым силам».

— Ну, да нельзя же было отдать Москву на поток и разграбление черни.

— До потока и разграбления еще далеко. А безответственность власти, а война, а Порт-Артур, а Цусима. Сами довели до позора, а теперь расправляются.

— Это вы правы, так больше нельзя. Что-то должно быть коренным образом изменено. Но к.-д. идут за левыми. Они боятся порвать с революционерами.

— Ничуть! Вот на съезде у Морозова к.-д. отмежевались от левых, от учредительного собрания, от революции. То-то и есть, что нужно что-то начинать новое. Вот это новое и указывают к.-д. Это новое и есть конституция.

— Да, да, вы правы! Я тоже сочувствую этому... а вот эта четырехвостка.

Разговор обрывается... «Ну, это еще когда будет! Это лишь в далекой перспективе»...

Такие разговоры происходили в моем кабинете часто. Вопрошали с некоторой робостью. Как бы не обнаружить неожиданно то, что разрушило бы взаимные добрые и доверчивые отношения. Но те, кто выбрал себе политическую среду, своих вождей, кто напитался еще свеженькими, с непросохшей типографской краской программами, те стали враждебны, вызывающи, нетерпимы.

— Он к.-д.! — шипели октябристы.

— Оставьте его, он гучковец! — восклицал Кишкин, когда мы подсчитывали среди гласных своих сторонников.

Взаимные отношения, такие прочные и, казалось, несокрушимые — лопнули. Призывы октябристов поддержать власть на деле свелись к тому, что они стали в услужение к Дубасову... Услужение доходило до того, что в Хамовническом

полицейском доме приспособили сарай, в котором вешали приговоренных военными судами к казни.

Московская Дума стала новой. Новый дух овладел ею. Оставаться в ней в качестве ее секретаря стало нестерпимо. Вскоре я сложил эти обязанности и остался в числе нашей небольшой оппозиции. Эта оппозиционная группа сорганизовалась и значение ее в работе Московской Думы скоро сказалось с полной силой.

Наступил новый период в жизни Московской Думы и моей.

Прошло более 20 лет со времени Московского вооруженного восстания. Нет больше, да и не было, конституции. Нет больше Семеновского полка. Нет и Московской Городской Думы. Однажды я приехал в Брюссель навестить А.И.Деникина. У него проездом остановился его бывший генерал-квартирмейстер по Добровольческой Армии, генерал Плющик-Плющевский. Нас положили на ночь в одной комнате. Уже лежа в постелях, мы разговорились о Москве.

— А я хорошо помню в Москве один дом. Очень он мне памятен.

— Какой же это дом? Может быть я его знаю.

— Да, знаете, у каких-то прудов дом Фидлера.

— Ну?!

— Так это я командовал ротой, которая расстреливала этот дом.

— ?! Вот тебе на! Какая встреча!

— Да, бывает, всяко бывает. Покойной ночи.

Глава III. Первая Государственная Дума

В следующих главах я не предполагаю останавливаться подробно на фактах, событиях и явлениях, последовавших за первой русской революцией. Первая и вторая Государственные Думы, закон 3 июня 1907 г., третья и четвертая Государственные Думы, война, революция в России. Эти события и явления сами по себе настолько значительны, что каждое из них потребовало бы целого исследования. В то же время об этих событиях имеется большая литература и собран значительный материал для новых исследований. В мою задачу вовсе не входит дать обзор и оценку этих исторических фактов громадного значения. Мне хотелось бы и для этих периодов удержать тот же метод изложения, который был применен в предшествовавших главах. Моя задача наметить штрихи, по которым могла бы быть восстановлена судьба русской культурной, по существу демократической, семьи, зародившейся в шестидесятых годах прошлого столетия, участвовавшей в общественной и политической жизни России на рубеже двух веков и разрушенной до основания революцией. Подчиняясь поставленной мною задаче, я и в дальнейшем изложении буду всячески избегать рассуждений и оценок явлений. Эти явления в моем изложении должны представлять основной, иногда трагический фон, на котором должны намечаться силуэты, дающие представление о нашей семейной хронике. К моему сожалению, в этом изложении моей жизни и моей деятельности отведено больше места, чем жизни и деятельности моих братьев. Это происходит по той причине, что моя работа почти всецело протекала в общественных учреждениях, втянутых в общественную и политическую борьбу, тогда как мои братья по преимуществу работали в специальных областях — двое в суде, один в области технической науки. С другой стороны, как ни велико мое желание восстановить, хотя бы в основных

чертах, жизнь и работу моих братьев, погибших еще в полном обладании сил, я не могу этого сделать, будучи оторван от живых корней, от источников, которые обеспечили бы полноту и предохранили от ошибок. Поневоле, поэтому, мне приходится рассказ мой вести от первого лица и явления рассматривать с субъективной точки зрения.

Еще оговорка. В предстоящих главах я вынужден ограничить пределы излагаемого материала, чтобы не нарушить пропорций всего изложения. В тех же целях мною выделяется в особый очерк вся история моего участия в белом движении. Это делается по обширности материала, который должен войти в изложение этого периода. В одной из последующих глав будет дан лишь краткий обзор моего участия в белом движении, необходимый для связи с заключительной главой о гибели моей семьи.

После подавления московского вооруженного восстания Москва стала жить двойной жизнью. Усиленно заработали политические партии, готовящиеся к выборам в Государственную Думу. Безостановочно работали военные суды, ликвидируя революцию. Сочеталось два противоположных настроения в кругах, к которым я был близок и переживания которых разделял. Общий тон настроения был высокий. Тут были и окрыленные надежды на скорое прекращение бесправия и неистовствующего насилия: вот соберется Государственная Дума, и наступит новая эра! Кончится произвол, воцарится законность, восторжествует правда... Это было настроение не только наивных душ, не только скромных обывателей, которые были возмущены, подавлены расстрелами на льду реки Москвы, неистовствами семеновцев в Голутвине, Коломне, на Сортировочной. Это настроение лежало в основе ожиданий и тех, кто, казалось, был в числе готовых стать лидерами в политических группировках первого парламента.

В то время молодая и неопытная политическая мысль даже просвещенных кругов без колебаний и сомнений принимала простые схемы и отвлеченные положения за реальную действительность. Романтизм, прекраснодушие в политике были характерной чертой тех кругов, с которыми соприкасалась Московская Городская Дума. Среди этих настроений диссонансами звучали неистовые речи А.С.Шмакова, явно не сочувствовавшего манифесту и обещанной Государственной Думе. Он громил всякие революционные выступления, всякое проявление политической мысли, протестовавшей против расправы власти с побежденными. Он грозил великими бедствиями от тайных козней и замыслов евреев и жидомасонов. Ему вторил скрипучим голосом Ф.Ф.Воскресенский. Шмаков находил себе внимательную аудиторию как среди гласных Думы, собиравшихся в ряды Союза 17 октября, так и среди укрепившихся в крайне правых кругах, получивших название «черной сотни». Основы настроения лиц, примыкавших к этим двум течениям, мало чем отличались друг от друга. По существу, и октябристы, и правые были охвачены реакционным настроением. А то, что партия 17 октября объявила себя конституционной, мало говорило уму и сердцу обывателя. Это конституционное оперение полиняло и стерлось, когда наступила предвыборная пора и на митингах стали происходить состязания представителей разных политических партий.

Общему настроению радостного ожидания мало соответствовало и определившееся вскоре скептически-оппозиционное отношение нашей «статистики», которая весьма точно отражала настроения левых социалистических кругов. Мои приятели из третьего этажа Московской Думы, где помещалась статистика Городской Управы, заходили ко мне в кабинет поиронизировать над приподнятым настроени-

ем, в котором «мы» готовились к выборам в Государственную Думу.

— Неужели вы не видите во всей этой игре самого неприкрытого обмана? — говорили наши «левые». — Вот вам покажут конституцию! Не такими способами нужно завоевывать свободу, — говорил В.И.Масальский, которого мне приходилось не раз выручать из беды.

Глубокомысленно и весьма скептически высказывался и наш своеобразный мыслитель А.П.Рудановский, рассуждения которого не укладывались ни в одну из определившихся тогда схем. Он упрекал в романтизме и прекраснодушии. Довольно скоро та же «статистика» принесла мне ошеломившие меня известия о том, что «левые» решают бойкотировать Думу и в выборах участвовать не будут. Эти вести из статистики опережали сведения о бойкоте, которые лишь позднее стали общим достоянием. Итак, на первых же шагах по конституционному пути — резкое разногласие и неприязнь и справа, и слева.

— Ну, так что же делать! Тем точнее и яснее наша позиция. Наш путь конституционной борьбы. Мы против реакции, но и против революции. Пойдем этим путем «мы» одни, если «вы» хотите революции. Жаль, что «вы» не понимаете исторической задачи времени.

— Идите, идите, мирные политики, по этой дорожке. Вас надуют! Вот посмотрите! На этом пути, без «нас», вы не будете опасны для власти, которая и с вами расправится.

— Ну, посмотрим. Не так-то легко будет взять назад то, что будет входить в жизнь... Только, надеюсь, что «вы» не будете нам мешать.

— А там видно будет!

Разговоры в таком роде неоднократно происходили в моем кабинете. Они волновали, смущали, заботили и вызывали какое-то новое настроение, особенную бодрость и решимость.

— Вот она, начинающаяся политическая борьба! Вот они, начинающиеся ответственные действия!

Выбор большой! Ворча и злобствуя, одни идут к Шмакову, становясь под защиту Дубасова, Гершельмана, принимают с злобным пафосом то, что делается ночью в сарае Хамовнического полицейского дома, где вешали без числа по приговору военного суда. Другие идут к левым, хотя и разбитым, но не слагающим еще оружия, готовым снова броситься в революцию, как только представится к тому возможность. Наконец, третьи уходят в обывательскую жизнь, предоставив все своему течению и решению других.

Тогда для многих, не искушенных в политике, встали эти вопросы. Но томление в выборе решения продолжалось недолго. Все оказались охваченными теми же ощущениями и требующими ответа вопросами. Все. Заработала мысль. Ответы и формулы находились в газетах, в разговорах, в шумных, часто бестолковых спорах, на собраниях-митингах, где каждая политическая партия истолковывала свою программу, свою тактику, свои основные взгляды на разрешение основных вопросов, стоявших перед страной. На собраниях к.-д. Басманной части часто председательствовал мой брат Александр Иванович, с увлечением отдавшийся новым интересам в области политики. Степень культуры, образования, развития, часто темперамента, оказывали влияние на выбор той или иной программы тем или иным лицом.

Это было первое приобщение широких обывательских масс к политической жизни. Подавляющее количество, однако, оказалось новичками в политике. Но иногда совершенно неожиданно обнаруживалось, что скромные на вид люди, всю

жизнь мирно занимавшиеся своим скромным делом, оказывались не только начитанными и политически образованными людьми, но совершенно готовыми политическими деятелями, с нужной эрудицией и обширными знаниями. Эти люди быстро нашли свои места в партиях и стали видными участниками в предвыборной кампании. Вся Москва уже знала их имена. Под их влиянием часто люди сами находили себя политически и примыкали к той или иной партии. Ораторский дар часто имел решающее значение для выбора партии.

— Ну, да, ну, да, и я всегда так думал. Только как-то у меня не находилось слов, чтобы выразить мои мысли. Я именно так и думал, как это прекрасно выразил Ф.Ф.Кокошкин на вчерашнем собрании. Знаете, я без колебаний записался в к.-д. партию. Это самая умная и интеллигентная партия. Она ближе всего для меня по взглядам и настроениям.

Так заговорила Москва, когда начались выборы в 1-ую Государственную Думу. Имена Муромцева, Кокошкина, Герценштейна, Щепкина, Новгородцева, Кизеветтера, кн. Долгорукова, Ледницкого, Тесленко, Маклакова — зазвучали по Москве, стали близкими, дорогими, нужными. Настроение «ожидания» и надежды получили свое выражение в живых личностях, которые красноречиво, убежденно и убедительно излагали то, о чем еще так недавно нельзя было даже громко говорить. Повеяло новым духом. Что-то открылось новое, манящее, завлекающее. Раскрылись новые просторы...

Конечно, не одни названные имена увлекали Москву. Другие круги узнавали свои старые мысли в словах, произносимых А.И.Гучковым на собраниях Союза 17 октября. Гучков собирал свои ряды, желая установить за собой монополию на манифест 17-го октября.

Но настроения того времени были не с ним. Настроения поднимались все выше и выше. И в солнечный, ликующий

день, когда Москва оказалась празднующей какой-то новый, еще не бывавший никогда праздник, состоялись выборы выборщиков для избрания четырех депутатов от Москвы в 1-ую Государственную Думу. Выборщиками по всем избирательным участкам прошли исключительно к.-д. и сочувствующие им. Победа оказалась полной. Ликование, радость, оживленные лица старцев и молодежи, восторженные возгласы юных девиц, иногда детей, призывавших голосовать за партию Народной Свободы... Все это незабываемо. В числе выборщиков оказались мой брат Александр Иванович и я.

Собрание выборщиков, происходившее в Городской Думе, избрало первыми депутатами от города Москвы в первый русский парламент С.А.Муромцева, Ф.Ф.Кокошкина, М.Я.Герценштейна и наборщика «Русских Ведомостей» Савельева.

Выбор Савельева был уступкой со стороны партии к.-д. левым, которые не имели шансов провести своего кандидата, если бы даже и приняли дружное участие в выборах.

Список депутатов был составлен в Ц.К. партии к.-д. Первоначально в нем значилось имя кн. Павла Долгорукова. Но последний сам снял свою кандидатуру, находя, что участие в работах Думы М.Я.Герценштейна будет более полезно: Герценштейн был, по его мнению, более необходимым в Думе, чем он, как знаток аграрного вопроса.

Еще задолго до выборов в Государственную Думу, когда еще только складывались отношения к ней справа и слева, С.А.Муромцев неоднократно заходил ко мне в кабинет, притворял дверь и начинал разговор о предстоящей работе в Государственной Думе.

— Ну, что у вас новенького, Николай Иванович? У вас тут пульс общественной жизни. К вам сходятся самые разнообразные сведения со всех сторон. Что слышно у вас? А я скажу, что говорят в Петербурге. Я только что оттуда.

И у нас начинались разговоры, продолжение которых происходило нередко на квартире Сергея Андреевича в доме Российского Страхового Общества на Сретенском бульваре. Я сообщал ему московские настроения правых и левых, одинаково враждебных новому строю. Он подтверждал мои сведения, ссылаясь на источники петербургские. Картина вырисовывалась все отчетливее и яснее. Реакция собирала свои силы и, воодушевленная недавней победой над революцией, с нескрываемым недоброжелательством и ненавистью смотрела на вырванный у самодержавия манифест 17 октября. Революционеры, разбитые и разгромленные, не считали себя побежденными и свою новую тактику определяли новыми слагавшимися условиями.

— Теперь все будет зависеть от того, сумеем ли мы, центр, увлечь за собой широкие круги населения и создать около Госуд. Думы прочную базу, на которой укрепится народное представительство. Если сумеем — дело России спасено. Если нет...

Сергей Андреевич не договаривал своей мысли. Но она была ясна и без слов. Да и настроение его собеседника было в полной мере созвучно его настроению и его пониманию положения вещей. Улыбаясь своей очаровательной улыбкой, которая так освещала его обычно неподвижное, холодно красивое лицо, он говорил, что нужно готовиться к Думе, готовиться усиленно.

— В Думе предстоит не только борьба. В Думе потребуется громадная творческая работа. Только работа, понятная для страны, может укрепить авторитет Думы. Нужно с первых же шагов показать населению, что его избранники умеют и могут работать.

Как-то раз Сергей Андреевич привез из Петербурга слух, что правительственные круги злорадно предвкушают удоволь-

ствие видеть, как «русский парламент» будет предоставлен самому себе, как он будет «вариться в собственном соку», как он умрет от худосочия и иссякнет в болтовне...

Передавая эти злые слухи, Сергей Андреевич снова вернулся к вопросу о необходимости начертать работу заблаговременно. Он сказал, что составляет проект наказа для Государственной Думы. При этой работе он пользуется инструкцией Московской Городской Думы. Просил подобрать ему все материалы, касающиеся организации Комиссий, и обещал показать мне проект наказа в черновом виде. Через несколько дней Сергей Андреевич читал мне свой проект и давал интересные толкования положений, которые должны были установить порядок деятельности первого русского парламента, порядок, долженствовавший обеспечить достоинство и авторитет народного представительства.

Читая положения наказа, Муромцев преображался. Он становился величественным, властным. Каждое слово было полно значения и силы. То, что он читал, было не простой инструкцией, а творчеством, созданием нового, небывшего еще в России учреждения, в котором должны были проявиться новые силы. От них, от этих сил, зависела дальнейшая судьба России. К обсуждению наказа мы несколько раз возвращались.

За годы работы в Городской Думе мы хорошо сблизились с Сергеем Андреевичем. Он видел мою полную и искреннюю к нему симпатию и привязанность. Знаю, что и он ценил меня. От близких к Сергею Андреевичу людей знаю весьма лестную оценку, которую он давал мне. В мыслях о работе в Государственной Думе он отводил мне определенное место. Он говорил, что видит меня в русском парламенте в положении хранителя традиций, как Пьер во французской палате депутатов. Ведя беседы на эту тему, С.А. говорил:

— Вот, если к.-д. победят на выборах, вы будете необходимы в Госуд. Думе. Вы наладите весь аппарат, без помощи которого Государственная Дума не будет в состоянии работать. На чиновников петербургских рассчитывать трудно. Среди них есть хорошие люди, большие знатоки своего дела, есть очень образованные люди. Но мы для них враждебная стихия. К нам они не скоро привыкнут. Они будут долго приглядываться, наблюдать, изучать. Они, конечно, перейдут к нам. Но это будет тогда, когда мы завоюем себе положение и признание. Пока же, мы должны рассчитывать на собственные силы.

В таких откровенных и интимных беседах о предстоящей работе в Государственной Думе я говорил ему, что мы все считаем его председателем Думы. Сергей Андреевич становился тогда серьезным. Какие-то мысли овладевали им. Он складывал в портфель свои бумаги, вставал, величественный и прекрасный, прощался и уходил. А когда он проходил коридорами нашей Московской Думы, перед ним расступались, провожая его почтительными и восторженными взглядами.

— Вот он, будущий председатель Государственной Думы!

Странную смесь настроений и взглядов представляли тогда круги, соприкасавшиеся с Московской Думой. Пускай это была цензовая Дума по закону 1892 года, Дума с ее либеральным крылом гласных, Управа с ее разношерстным составом служащих, среди которых можно было найти и остатки дореформенных служак и ярких представителей нового типа служащих, получивших название, с легкой руки самарского вице-губернатора Кондоиди, «третьего элемента». Наконец, ежедневно вливавшиеся в здание Думы московские граждане и обыватели со своими делами и заботами — все это отражало подлинную жизнь Москвы и ее настроения. Тогда, в те дни всеобщего одушевления и приподнятого ожидания, в Городскую Управу шли не только платить налоги, ходатайствовать о

пользах и нуждах. Туда шли, как в некий общепризнанный центр осведомления по злободневным вопросам. А это были вопросы, связанные с выборами в Государственную Думу. Техническая организация выборов была возложена по закону на городское управление. Лично мне пришлось организовывать эти выборы. Ко мне шли за справками. Конечно, вопросы не ограничивались только технической стороной дела. Все, что происходило тогда в Москве, отражалось и в моем кабинете Городского Секретаря.

Мрачны были фигуры «правых». Воскресенский, Шмаков, Линдеман, Лебедев Ив. Ал., В.И.Герье, мой помощник С.П. Юнгфер, не скрывали своего возмущения.

«Нужно заниматься делом, а не политиканством», — ворчали они. Все, что принесла с собой вынужденная «реформа», раздражало их, казалось почти преступным. Это было, по их мнению, покушение на самодержавие. Манифест 17-го октября они просто не хотели признавать, как ограничение царской самодержавной власти. Ни одного закона без Госуд. Думы! Дума может запрашивать Правительство! требовать от него ответов! Государственный бюджет — через Думу! Все это безумие, неслыханная дерзость! Это продолжение революции! Все это недопустимо. Это какое-то недоразумение. Всему этому должен быть положен конец». Они с ненавистью глядели на нас, отдавшихся новой работе, придумавших особую счетную карту, облегчавшую подсчет бюллетеней в избирательных комиссиях, составлявших модели «избирательных урн», готовящих точные формы и способы осуществления гражданами давно чаемых и только что приобретенных прав. Народное представительство, право участия в законодательной власти, право свободного выражения мысли с народной трибуны! Все это казалось таким радостным, таким бесспорным! А правые продолжали злобно шипеть и скрежетать зубами:

— Ограничение самодержавия! Чему тут радоваться? Это начало конца! Народная трибуна — это ослабление власти, удар по ее престижу. А реформы, которые обещают на митингах к.-д., — принудительное отчуждение земель у помещиков? Нарушение священного права собственности! Ведь это безумие и преступление, это новая революция, бесправие под прикрытием правового порядка... Конечно, этого не будет, власть опомнится и не допустит этих сумасшествий! Вот они, эти либералы, эти Муромцевы, Щепкины и К°. Вот чего они хотят.

Так злобствовали правые. В этих настроениях трудно было отличить правоверного последователя Грингмута от сторонников «Голоса Москвы», органа октябристов.

А левые подтрунивали над всеми, кто был правее их, и радовались начавшейся борьбе и одиночеству, которое создавалось для к.-д. Такое положение к.-д. не смущало их. Оно только точнее определяло их позицию среди наметившихся политических течений. А шумное сочувствие культурных слоев населения, все большее внимание к ним со стороны широких масс населения, окрыляло их и внушало уверенность в правильности намеченной линии.

Занятый с утра до ночи в Городской Думе, почти не покидая ее стен, я в то время мало участвовал в партийных кружках и лишь изредка появлялся там по вызову моих друзей для сообщения или технических сведений о процедуре предстоящих выборов, или для сообщения о том, как кристаллизуются около Думы политические настроения. Только позднее мне пришлось принять более активное участие в политической жизни Москвы.

С такими разнообразными чувствами и настроениями Москва проводила своих избранников в Петербург.

27 апреля была открыта Государственная Дума. Тогда же председателем ее был избран С.А.Муромцев, а секретарем Думы кн. Д.И.Шаховской. Нечего и говорить, либеральные круги Москвы, да не только Москвы, всей России — торжествовали. Только и разговоров в Москве, что о Государственной Думе, о первом слове, произнесенном в Думе Ив. Ил. Петрункевичем, о вступительном слове С.А. Муромцева, о том благородном, полном достоинства тоне, который он сразу сообщил первому собранию впервые созванного народного представительства.

— Ну, конечно, лучшего председателя Государственной Думы и вообразить себе нельзя! — говорили в Москве. — Да и в европейских парламентах таких председателей мало.

В начале мая я получил телеграмму от кн. Д.И.Шаховского, приглашавшего немедленно приехать в Петербург для переговоров. Тогда же мне было доставлено письмо А.С.Муромцева, напоминающее наши разговоры о совместной работе в Государственной Думе. Приглашал немедленно приехать: работы бездна!

Новый Городской Голова, Н.И.Гучков, установил новый тон в Городском Управлении: дело и только дело, политика изгоняется из городского управления навсегда, все, что осуществляется им и его партией в Думе, не почитается политикой, все же, не отвечающее этому порядку, объявляется политикой и строжайше преследуется. По служебным отношениям я должен был получить согласие Городского Головы на отъезд в Петербург. Н.И.Гучков выслушал меня и без колебания ответил:

— Вас зовут помочь в новой работе. Ваш священный долг сейчас же ехать. Какое в этом сомнение! Поезжайте немедленно. Только вот мой совет, Николай Иванович. Хотя теперь мы с вами политические противники, но я по старым нашим отно-

шениям хочу вас предупредить — не подавайте в отставку, не слагайте своих полномочий Городского Секретаря. Государственная Дума этого состава просуществует недолго. Берите отпуск. А там видно будет. В Московской Думе вам всегда будет принадлежать заслуженное место.

В этих словах звучало и предупреждение, и угроза: «Дума этого состава просуществует недолго!» Это голос реакции, решившей отобрать назад уступленные позиции. Это мнение не личное Н.И.Гучкова, а отражение мнений московской высшей администрации.

В тот же вечер выехал я в Петербург и утром был в Таврическом дворце, у кн. Д.И.Шаховского.

Таврический дворец, по первому взгляду, произвел на меня смутное впечатление: смесь роскоши и убожества. Первое, что поражало великолепием, были люстры, с чуть позванивавшими хрусталями. Эти люстры были очаровательны. А тут же под этими художественными люстрами — дешевые канцелярские столы, венские стулья, запах еще не просохшей клеевой краски. С ремонтом дворца запоздали. Наспех чинили, красили, мыли, чистили. Помещения были неуютны, не приспособлены для работы. Люди в этих комнатах чувствовали себя тоже неуютно, сами устраивались, сами сочиняли себе работу и положение. Эти люди, по внешнему виду, были разнокалиберные. За столом, у окна, сидел военный в генеральской форме военного юриста. Усталый, измученный, он отдавал какие-то распоряжения. По залам канцелярии ходили какие-то молодые люди. Одни имели вид самоуверенный и выжидающий. Они готовы были исполнить приказания. Но приказаний не было. Другие, весьма провинциального вида, растерянно и неуверенно о чем-то разговаривали вполголоса. Первые были прикомандированные из Государственной Канцелярии чиновники. Вторые — представители третьего элемента, уже прибывшие

из провинции с депутатами и принятые кн. Шаховским в Канцелярию Госуд. Думы на испытание. Временами по залам уверенной поступью проходили высшие чиновники Государственной Канцелярии или депутаты. В приемной, около кабинета кн. Шаховского, несколько просителей. Из приемной какая-то узенькая лесенка наверх, в мансарду. Туда поднимаются курьеры и служащие. Все имеет вид очень неуютный, не обжитый. Точно переехали на дачу и еще не устроились. Дмитрий Иванович выходит из своего кабинета. Он в своем неизменном сереньком однобортном потертом пиджачке. Он еще более похудел. Глаза красные, но оживленные.

— Ах, здрасссти, наконец-то вы приехали. Пожалуйста, наладьте сейчас же стенографическую часть и составление протокола. Подождите минутку в кабинете. Вот ваш стол. А я сейчас...

С этими словами Шаховской исчез. А я оказался в небольшой, невысокой комнате, очень приятной по размерам и пропорциям. Посреди такая же великолепная люстра свешивалась с потолка. Комната выходила окнами на газон и куртины у въезда в Таврический дворец по линии Шпалерной улицы. В комнате было два письменных стола. Один из них Дмитрий Иванович указал мне, как мой. Очевидно, другой был кн. Шаховского. На моем столе оказался ворох корректур стенографических отчетов о заседаниях Государственной Думы. Тут же лежал свежеотпечатанный отчет о первых заседаниях Государственной Думы. Стол Дмитрия Ивановича был завален также корректурами, рукописями и разными бумагами.

Поджидая возвращения Дмитрия Ивановича, который обещал вернуться через минуточку, я стал просматривать корректуру, лежавшую на «моем столе». Корректура уже имела начатую правку. Минуты шли, а Дмитрия Ивановича все не

было. Как я мог «наладить стенографическую часть», да еще сейчас же, — я недоумевал и углубился в чтение корректуры.

В кабинет вошел невысокого роста человек, с небольшой светлой бородкой, большим лбом и внимательными, светлыми глазами. Он оглядел меня с ног до головы, слегка как бы прищурился и, подойдя ко мне, произнес:

— Глинка.

Я назвал себя, не давая себе отчета, кто такой Глинка.

— Вы предполагаете работать в Канцелярии Государственной Думы? Вы из Москвы? Что же, собственно, вы предполагаете делать?

— А я только что приехал сегодня утром по вызову кн. Шаховского и Муромцева. Я не знаю, что они мне поручат. Они хотели, чтобы я им помог. Вот, пока Дмитрий Иванович говорил о стенографическом отделе...

— Но стенографическая часть уже организована и действует под общим руководством г. Кривоша, заведующего стенографической частью Государственного Совета, под непосредственным наблюдением Сапонько. Организуется отдел законов, во главе которого, по-видимому, будет военный юрист, генерал кн. С.А.Друцкой. Общее заведование канцелярией Государственной Думы поручено Государственным Секретарем мне...

— Ничего сказать вам не могу. Если уже все устроено, очевидно, я лишний. Но все же мне нужно будет переговорить и с князем Шаховским и с С.А.Муромцевым.

Глинка ушел, сказав, что сегодня будет заседание Государственной Думы и Шаховской и Муромцев будут весь день заняты.

Снова углубляюсь в корректуры, чувствуя полную неопределенность положения.

— А где же Дмитрий Иванович? — С этим возгласом в кабинет входят несколько депутатов. За ними М.Я.Герценштейн. Увидя меня, он поспешно направляется ко мне. Мы дружески здороваемся.

— Вот, господа, начало порядка! Вот теперь мы будем знать, к кому обращаться. Позвольте вас познакомить. Теперь быстро наладится наш аппарат, без которого нам приходится непроизводительно тратить массу драгоценного времени.

Далее Михаил Яковлевич стал рассказывать о той неразберихе, которая царила в совершенно не налаженной Канцелярии Государственной Думы. Условились повидаться и переговорить обстоятельно о том, что нужно депутатам и чего не достает для их работы. Оставив мне ряд поручений для Шаховского, депутаты ушли.

Наконец, вернулся Дмитрий Иванович. Я передал ему поручения и приготовился слушать его. Но он упорно молчал, уставив в одну точку свои светлые, безмерно усталые глаза, обведенные красными, как бы воспаленными веками.

— Дмитрий Иванович, что с вами? Вы нездоровы, устали. Вы похудели за эти дни. Каково общее положение дела?

Он встрепенулся. Громко захохотал своим характерным смехом.

— Да нет же! Все очень хорошо! Уверяю вас, всё очень хорошо. Где вы остановились?

Я назвал маленькие меблированные комнаты около Николаевского вокзала, против дома Фредерикс.

— И я там же. Вот и хорошо. Нужно наладить стенографическую часть... Сегодня заседание Думы. Зайдите. Билет возьмите у Глинки. Вы с ним знакомы?

Я рассказал ему о нашей встрече.

— Ну, вот и хорошо. Мы с вами подробно переговорим завтра.

Таковы были первые впечатления о предстоящей мне работе. Нужно было самому разобраться в положении.

О моем появлении в Канцелярии Государственной Думы скоро стало известно. Мне не пришлось искать людей и узнавать, кто что делает. Служащие, временно прикомандированные и временно допущенные, сами потянулись ко мне, кто просто познакомиться, кто спросить указаний, а кто поделиться своими впечатлениями и рассказать о том, как работа идет толчками, не налаженно и не организованно.

За короткое время я уже был в курсе очень многого. Во всяком случае, картина неустройства была ясна. Рисовались и контуры той организации, которая должна была оформиться и начать действовать без толчков и заеданий. Было ясно также, что в аппарате, который должен был обслуживать Государственную Думу, оказались два разнородных, пока не сливаемых элемента, — петербургского чиновничества и Бог весть откуда понаехавшего третьего элемента. Первые считали работу в Государственной Думе работой как бы по своей специальности. Вторые считали эту работу своим правом и привилегией. Антагонизм между теми и другими чувствовался во всем. Только очень немногие из чинов Государственной Канцелярии приветливо и благожелательно встречали новых людей, пришедших вместе с народными представителями. Среди них с особой благодарной памятью назову имена Н.Ф. Дерюжинского, В.Д.Верещагина.

Другие держали себя вышколенными службистами, бесстрастными ко всему, что происходит, но готовыми исполнить всякое приказание. Иные с плохо скрываемым злорадством и усмешкой смотрели на то, как собираются законодательствовать эти люди в пиджаках, с глубоко провинциальным видом и

совсем не петербургскими манерами. Особой напыщенностью и надменностью выделялся М.Н.Головин, чиновник Государственной Канцелярии. Среди земского третьего элемента он был холоден, величествен и недоступен. Зато когда Муромцев шел в заседание Думы, Головин как-то подобострастно, бочком, не то предшествовал, не то сопутствовал ему. Тут при величественной и полной достоинства фигуре Муромцева Головин имел странный и жалкий вид.

В общих собраниях Думы оказались наши старые и добрые знакомые по земским съездам, по Бюро, которое созывало эти съезды. Это были все свои, близкие, несмотря на то, что они расселись по разным секторам в амфитеатре Думы. Тут и И.И. и М.И.Петрункевичи, Ф.И.Родичев, П.А.Гейден, Н.Н. Львов, А.А.Муханов, М.А. Стахович. Тут наши москвичи Ф.Ф.Кокошкин, П.И.Новгородцев, А.Р.Ледницкий, волостной старшина, гласный Московского Губернского Земства Ильин, Зарайский Городской Голова Ярцев, М.М.Ковалевский, В.Д. Набоков, А.И.Бакунин, кн. С.Д.Урусов, наш бывший московский мировой судья. Это все свои. Жаль, что некоторые из них засели на крайнюю правую. Но это, может быть, даже и полезно для полноты аккорда. Гейден, Ковалевский — эти не внесут дисгармонии.

С любопытством всматриваюсь в шумливую левую часть амфитеатра. Аникин, Аладьин, Жилкин... К нашим культурным, образованным, европейским политическим деятелям — эти оказываются крикливым дополнением. Они вносят много темперамента, дерзостного задора и нетерпения. Они обладают несомненным даром зажигать толпу и вызывать в ней недобрые чувства. Как, оказывается, легко вызывать чувство злобы и будить дурные страсти! А образ поведения правительства так раздражает Думу, так обильно питает недобрые чувства.

Полетели дни за днями, почти не прерываемые ночами. С Дмитрием Ивановичем почти ежедневно мы возвращались в нашу гостиницу против дома Фредерикса около пяти часов утра, с тем, чтобы в девять часов утра быть снова в Таврическом дворце. Ночи напролет просиживали за работой. А она все усложнялась и не допускала замедления. Только особое одушевление тех дней и особый нервный подъем помогал выдержать это напряжение.

Ночью, сидя за своим столом и прочитывая накопившиеся за день корректуры, составляя проекты штатов канцелярии, просматривая или составляя записки и доклады, инструкции отделам, проектируя новые отделы, словом, организуя и ведя дело разрастающегося служебного аппарата Государственной Думы, иногда, когда небо уже светлело и свет электрических ламп мутнел в посеревшей комнате, я взглядывал на сидящего у своего стола Дм. Ив. Шаховского. Неподвижно склоненный над грудой бумаг, с резко очерченным профилем, большим лбом, характерным носом с горбинкой, рыжеватой бородой, он всей своей изможденной фигурой напоминал иконописного угодника, силою духа превозмогающего и усталость, и, может быть, сомнения.

Иногда среди ночи заходил к нам С.А.Муромцев, тоже до утра засиживающийся в своем председательском кабинете. Он садился у моего стола и начинал рассказывать о впечатлениях дня, об отношениях к Думе, о слагающихся думских нравах. Он выражал уверенность, что крикливые трудовики скоро выдохнутся, втянутся в работу и умерят свой пыл. Выражал надежду, что Дума удержится и отношения с правительством станут со временем более нормальными. На мои сомнения по этому поводу и он, и Дмитрий Иванович говорили, что я пессимист и что пора идти спать, а то мысли будут еще более мрачными.

Но и утро не вносило особых надежд. Несмотря на то, что Дума начала усиленно работать и тем самым врастать в жизнь, ее окружала все более сгущавшаяся атмосфера неприязни и вражды со стороны власти и кругов, на которые эта власть опиралась. Гнет этой тяжелой атмосферы иногда как бы ослабевал, иногда его вовсе не ощущалось, когда работа шла полным ходом. Но атмосфера не рассеивалась, и положение оставалось весьма шатким.

Иногда, отыскивая того или иного депутата, я проходил великолепным Екатерининским залом с колоннадой. К красоте и величию этого зала я так и не мог привыкнуть, всегда восхищаясь его пропорциями, строгостью и красотой линий. В зале толпились депутаты. Тут же появлялись ходоки, какие-то неведомые люди. Тогда еще не было установлено строгого порядка, и депутаты не были отделены от народа. Иногда, в сторонке, в зале происходили как бы небольшие митинги. Это Аладьин или Аникин разглагольствовал, выкрикивая угрозы по адресу правительства. Проходившие мимо военные неодобрительно поглядывали на эти импровизированные митинги. Однажды до меня долетела фраза, брошенная одним штабным генералом.

— Что-то изо всей этой каши выйдет! Толку что-то не видно.

А в белом зале, в общих собраниях Думы, настроение все повышалось, раздражение против правительства росло. Правительство не только не изменяло метода своего действия, напротив того, оно как бы нарочно шло наперекор самым, казалось бы, лояльным желаниям Думы. Оно оставило Думу без прямой и деловой связи с законодательной работой. Пресловутые законопроекты о прачечной и об оранжерее, механически посланные в Думу, приобрели символическое значение. На декларацию Думы, в виде всеподданнейшего адреса, следовали

холодные, неприязненные ответы. Правительство не только не искало соприкосновения с Думой, но явно раздражало ее, отбрасывая в непримиримую оппозицию. Недостаток выдержки и политического воспитания со стороны молодого народного представительства, явное нежелание понять смысл и значение исторического момента со стороны правящих сфер, наконец, отсутствие благожелательных посредников между властью и народным представительством, — создали нестерпимое положение непрекращающегося конфликта между Думой и правительством.

Бури негодования неслись навстречу Щегловитову, защищавшему смертную казнь. Крики, проклятия летели как ураган в лицо мертвенно-бледного главного военного прокурора Павлова. Потоки негодующих речей и пламенного гнева изливались с трибуны Государственной Думы по поводу Белостокского погрома, по поводу провокаций агентов правительства. Власть исполнительная не только не думала подчиняться власти законодательной, но явно игнорировала ее, презирала ее, провоцировала на неосторожные шаги, на рискованные выступления, на неконституционные действия.

Теперь трагические дни первой Государственной Думы забыты. Молодые поколения их вовсе не знают, в своем невежестве путая Муромцева с Ильей Муромцем. Многое из того, что было тогда, перетолковано и извращено. Вину в неудаче первой Думы охотно возлагают на нее самое, на партию к.-д., которая, якобы, руководила ею. Но для нас, свидетелей и участников в работе Думы, было ясно, что тактика правительства в отношении к этой Думе была направлена на то, чтобы сорвать ее. И ее сорвали, одержав Пиррову победу и погубив Россию.

После прений по аграрному вопросу, после того, как обнаружились в этом вопросе две непримиримые точки зрения,

после того, как правительство, в нарушение конституции, обратилось к населению с декларацией, обвиняя Думу в потрясении основ, становилось ясно, кто одолевает в этой первой схватке между властью и народным представительством, в борьбе, которую русское общество хотело ограничить конституционными методами.

С прениями по аграрному вопросу произошло некоторое недоразумение, оказавшееся поглощенным в недрах канцелярских секретов. Стенографическая запись до ее напечатания могла быть предъявляема ораторам для проверки. Представители правительства часто требовали, чтобы им присылались стенографические записи для просмотра. По требованию В.И.Гурко запись его речи по аграрному вопросу была ему послана. На следующее утро смущенный заведующий редактированием стенографических отчетов предъявил мне текст, возвращенный В.И.Гурко. Весь текст оказался переделанным. Ни одной фразы не осталось без «исправления». При сличении исправлений Гурко с первоначальной записью оказались не только изменения редакционные, но и по существу. Речь оказалась существенно переработанной и гораздо более благообразной, чем то, что было сказано в Думе. Об этом пришлось довести до сведения кн. Шаховского и Муромцева. Подивились, пожали плечами. Однако, решили не делать истории и напечатать то, что оказалось «исправленным» г-ном товарищем министра внутренних дел.

Я не собираюсь здесь излагать историю этих знаменитых 70-ти дней первой Думы. Не собираюсь давать оценку ее образа действий, отмечать ее доблести и ошибки, борьбу идей, столкновение разных тактик, силы влияния отдельных личностей. Воздержусь и от характеристики отдельных деятелей ее. Это все заняло бы много места и нарушило бы мой план изложения. Отмечу только, что в увлечении работой и борьбой

наши лидеры, несмотря на их хорошие связи с высшим петербургским обществом, несмотря на постоянную «информацию», которая сообщалась в к.-д. фракции и в к.-д. клубе, мало считались с предупреждениями об опасности, которая грозила Думе. Переоценивая свои силы, влияние и связи со страной, они считали, что правительство не решится на роспуск Думы. Разговоры о министерстве из состава членов Думы, с Муромцевым во главе, еще более отвлекали внимание от надвигавшейся опасности.

Помню мои впечатления от разговоров с депутатами в к.-д. клубе. Меня поражал их уверенный тон и невнимание к сообщениям, которые я делал, черпая сведения из источников, непосредственно идущих из самых центральных бюрократических гнезд. Помню, как С.А.Муромцев говорил мне, что с осени, после краткого перерыва в занятиях Думы, он настоит, чтобы все управление делами канцелярии Государственной Думы было передано мне.

— А как же Я.В.Глинка?

— Он выполнил возложенное на него поручение. Теперь мы сами поведем дело. А Яков Васильевич пусть возвращается в Государственную Канцелярию.

Это говорилось в связи с предположениями о предстоящих работах Думы осенью.

Однажды, моей жене ее старый знакомый П., сообщавший ей периодически о настроениях высших сфер, сказал:

— Ну, вот, наступает конец вашего пребывания в Петербурге: Дума будет распущена на этих днях.

Это было сказано в то самое время, когда в полном разгаре были переговоры о новом министерстве.

Я поторопился сообщить полученные мною сведения кн. Шаховскому. Он откинулся на спинку кресла, раскрыл рот и стал громко хохотать.

— Что это за новости! Именно теперь-то всякая опасность роспуска устранена.

— Пусть так. Но сведения, которые получались из моего источника, к сожалению, всегда оправдывались. Пойдемте к Сергею Андреевичу.

Сергей Андреевич тоже с полным недоверием отнесся к сообщенному мной. Рассказал о том положении, в котором оказываются переговоры о новом кабинете. В крайнем случае речь может идти о перерыве в занятиях, а не о роспуске...

Прошел день. «Ну, что же, видите, нас не разогнали!». — шутил на следующий день Шаховской.

В это время по Шпалерной улице мимо Таврического дворца проходили какие-то воинские части, тянулись войсковые повозки, проходили конные части, наконец потянулась артиллерия.

— А что это за военные передвижения? Говорят, что войска проходят с самого утра.

— Может быть, это маневры. Переводы частей из лагерей.

На этом и успокоились. Это было в субботу 7 июля.

А на следующий день, в воскресенье, 8 июля утром, подойдя к воротам Таврического Дворца, я нашел их запертыми. У ворот стояли часовые с ружьями. А на столбе ворот был наклеен листок Собрания Узаконений и Распоряжений Правительства, в котором был напечатан Высочайший Указ о роспуске Государственной Думы.

К собиравшимся у ворот любезно подошел полицейский и предложил не останавливаться и проходить дальше.

Возвращаясь домой, — а тогда я жил на Суворовской улице, — я встретил нескольких депутатов к.-д. Помню среди них А.А. Свечина, Д.Д.Протопопова. У конца решетки Таврического сада нас собралось человек 10–12. Взволнованно обсуждали происшествие. Не стеснялись в выражениях по поводу Высочайшего Указа и особенно тех, кто его инспирировал. В это время к нашей кучке как-то подкрался какой-то очень тощий, извивающийся человек, который прямо-таки втирался в нашу среду.

— Прочь, гадина, отсюда! — возопил один из нашей группы.

Извивающийся и подслушивающий человек исчез, как гад, на которого замахнулись палкой. Это был филер.

В к.-д. клубе было пусто. Шепотом говорили, что депутаты уехали в Финляндию, что там Дума будет продолжать насильственно прерванную работу, что Муромцев уже выехал, что туда же поехали Милюков и некоторые к.-д., не входившие в состав Государственной Думы.

Поколебавшись, как мне поступить, я признал для себя обязательным оставаться в Петербурге и ждать дальнейших событий. К тому времени фактическое управление делами Канцелярии Государственной Думы почти целиком было в моих руках. Я.В.Глинка формально еще выполнял поручение Государственного Секретаря, но в дела управления почти не вмешивался. Таким образом я уже был ответственен и за дела, и за служащих. Это заставило меня остаться.

В тот же день мне был доставлен на квартиру пропуск для свободного входа в Таврический Дворец «по делам службы».

На следующий день рано утром я уже был в Таврическом Дворце. Повсюду стояла стража. Таврический Дворец был пуст и мертв. Душа его отлетела и он снова погрузился в сон.

В зале заседаний пристава Думы, под наблюдением чиновников Государственной Канцелярии, выбирали из пюпитров членов Думы оставшиеся там бумаги, записки, вещи, тщательно завертывая все это в особые пакеты, на которых надписывалось имя депутата, из пюпитра которого вещи взяты.

В канцелярии собрались служащие из всех отделений. Снова два элемента служащих, резко разъединенных. Чиновники обособились и снова приобрели самоуверенность. «Вольнонаемные» снова приобрели смущенный вид людей, потерявших почву из-под ног.

Положение было неопределенное. Что такое случилось? Почему Дума распущена? Что делается в Финляндии, в Выборге? Как на роспуск Думы будет реагировать страна? Так вот что обозначало движение войск мимо Таврического Дворца в субботу! Что ожидает служащих, приглашенных нами?

Подают мне прокорректированные гранки стенографических отчетов двух последних заседаний Думы. Прокорректированный текст, подписанный к печати, находится в Государственной Типографии. Поручаю справиться, когда доставят отпечатанные отчеты. Управляющий типографией отвечает по телефону:

— Отчеты двух последних заседаний не могут быть отпечатаны.

— Почему? На каком основании?

— Знаете, случайно рассыпали набор...

Более точного ответа получить не удалось.

Оставшиеся у меня на столе два корректурных оттиска этих двух последних заседаний я взял в свой портфель. Впоследствии один экземпляр этих корректурных листов был переплетен в сафьяновый переплет и при соответствующей

надписи поднесен кн. Д.И.Шаховскому на память о Первой Государственной Думе и о ее трагическом конце.

Н.Ф.Дерюжинский передал мне, что Государственный Секретарь, бар. Икскуль-фон-Гильденбанд, желает меня видеть по делам Канцелярии Государственной Думы. Свидание было назначено через несколько дней.

Среди служащих Канцелярии Государств. Думы оказалось много очень хороших и интересных людей. Среди них отмечу князя С.А.Друцкого, с которым у меня сложились наилучшие отношения, поддержанные во все последующее время. Отношения эти еще более закрепились во время войны в работе Всероссийского Союза Городов. Особенно мне были близки три лица, которым я поручил составление систематического указателя к стенографическим записям о заседаниях Государственной Думы. Этот указатель алфавитный и предметный незаменим при пользовании стенографическими отчетами. Во главе этого небольшого отдела я поставил кн. Н.В.Голицына, второго сына нашего московского кн. Вл. Мих. Голицына, бывшего Московского Городского Головы. А ему в помощники дал Г.Л. Белостоцкого, талантливого молодого человека, и Г.А.Алексеева, взять которого в Канцелярию Государственной Думы меня просил А.С.Алексеев, мой бывший профессор государственного права по Московскому университету. Эти три лица прекрасно справились с работой и оставлены были в составе служащих Канцелярии Государственной Думы. За несколько дней до роспуска Думы в состав служащих принят был Д.М.Щепкин...